

ΦΛΑΟΥΙΟΥ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ



ΤΑ ΕΣ ΤΟΝ
ΤΥΑΝΕΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



ФЛАВИЙ ФИЛОСТРАТ

ЖИЗНЬ
АПОЛЛОНИЯ
ТИАНСКОГО



Издание подготовила
Е. Г. РАБИНОВИЧ

МОСКВА
«НАУКА»
1985

Флавий Филострат

Жизнь Аполлония Тианского

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

КНИГА ВТОРАЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

КНИГА ПЯТАЯ

КНИГА ШЕСТАЯ

КНИГА СЕДЬМАЯ

КНИГА ВОСЬМАЯ

ПИСЬМА

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

в начале коей изъясняется, сколь превосходна была мудрость Аполлония и сколь облыжны зложелательные о нем суждения, а также говорится об обретении императрицей Юлией Дамидовых записей и о желании ее переложить житие Аполлониево витийственным слогом, после чего зачинается повесть о преславном происхождении и предивном рождении Аполлония, о прилежании его к наукам и о том, как повстречался он в Эгах с Евксеном-пифагорейцем, и как стал он блюсти чистоту свою по уставу Пифагорову, и какие чудеса творил ради Асклепия, недужных исцеляя, бесчестных изгоняя и всех речами своими наставляя, и о том, как отверг он наследственное свое имение, а старшего брата воротил к добронравию, и как молчанием себя испытывал, и как в Аспенде бунт усмирал, в Антиохии благочестие направлял и слог свой премудростью изощрял, и как вознамерился он посетить Индию, и как возлюбил его Дамидниевиец, и как вместе миновали они рубеж владений Римских и шли по дикому краю, и как окоротил Аполлоний спесивого наместника, и какое пророчество изрек над убитою львицею, и как было ему во сне знаменье о полоненных еретриях, и каковы сии еретрияне, и как помог он им в их утесненности, и как после пришел в Вавилон, и каков Вавилон, и о диковинах Вавилонских, а также о магах, и какой разговор был у Аполлония со стражами Вавилонскими, и

какое знамение об Аполлонии было Вардану, царю Вавилонскому, и как спознались Аполлоний с Варданом и о чем беседовали, и как отвращал Аполлоний Дамида от сребролюбия, а после просил Вардана за еретриян, а после домочадцев царских рассудил, царя с римлянами примирил и царские сокровища презрел, и как, наконец, простясь с Варданом отправился в Индию

КНИГА ВТОРАЯ

в коей повествуется о Кавказе и о Тавре, и каковы в тех краях диковины, и о том, как повстречался Аполлоний с эмпусою, и о чем поучал он Дамида, когда шли они по горной возвышенности, и каковое было им угощение от кочевников на берегу Кофена, и о святой горе Нисе, и о Бесптичьей скале, а также о слонах, и далее о том, как переправились путники через Инд и каковы там места и нравы, и какова память об Александре в Таксиле, и сколь премудро рассуждал Аполлоний о правилах живописательного искусства, и какова Таксила, и какой храм воздвигли индусы Солнцу, и как спознался Аполлоний с благородным царем Фраотом, и о чем они беседовали и как пировали, и что поведал Фраот Аполлонию об индийских любомудрах и о себе самом, и какую колыбельною баюкают индусы государя своего, и каково вышло прение у Фраота с Аполлонием о трезвости и о прозорливости, и как помогал Аполлоний Фраоту тяжбу рассудить и праведных от неправедных отделить, и как, наконец, распростился Аполлоний с добрым Фраотом и отправился далее до рубежа, от коего древле Александр поворотил войско свое к закату

КНИГА ТРЕТЬЯ

в коей повествуется о реке Гифасе и об обитающих в ней тварях, а также об однорогих ослах и о предивных свойствах носимого ими рога, и о пестрой женщине, и о произрастающих в Индии деревьях, и еще об обезьянах, как помогают они индусам собирать перец, и какова долина Ганга, и об индийских змеях, каковы они и как изощрились индусы на них охотиться и о городе Параке, в коем обитают названные змееловы, и о том, как достиг Аполлоний обиталища премудрых брахманов, и как явился к нему от них посланец, и о холме, на коем обитают мудрецы, каков он и какие там святыни и диковины и каким чином славят индусы Солнце, и далее, о том, как явился Аполлоний в собрание мудрецов и о чем говорил с божественным Иархом, и как молились они все вместе, а после беседовали о многих и сокровенных предметах, и как Иарх поведал о прежнем своем теле и об изгнании эфиопов из Индии и показал Аполлонию Паламеда, в новой плоти явленного, и как поведал Аполлоний Иарху о прежнем своем теле и похвалялся своею праведностью, и как посмеялся Иарх над таковым заблуждением и восславил честного Тантала, и о спесивом царе, как пришел он к мудрецам за советом и как спорил с Аполлонием о пользе мудрости, и как Аполлоний окоротил спесь его, а еще о том, что сказал божественный Иарх о числе, и снова о спесивом царе, как препирался он с Аполлонием о доблести эллинской и звал его в гости, а также о том, что изрек Иарх о единстве сущего и сколь ласков был с Дамидом, и как учил о земле и о море, и как исцелял бесноватых и недужных, и еще об индийской науке и о простосердечии Дамида, и о том, что поведал Аполлонию Иарх об индийских чудесах, а именно о звере-мартихоре, о камне-пантарбе и о прочих подобных диковинах, и о том, как простился Аполлоний с брахманами, и как по реке Гифасу доплыл до Ерифрейского моря, а также о племенах и народах, населяющих берега помянутого моря, и, наконец, о том, как свидевшись напоследок с царем Варданом, воротился Аполлоний от варов и прибыл в Ионию

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

в коей повествуется о том, сколь великими почестями почтили Аполлония жители поселений Ионийских и какие были о нем божественные глаголы, и как наставил он ефесян, да будут согласны, и как предрек он им мор, и об иных его изречениях и поучениях, особливо в Смирне, и как ефесян он исцелил и злодейства демонские прекратил, а после отправился в Илион и там с Ахиллом говорил, и как по велению Ахиллову прогнал он от себя Антисфена Паросского, и как, прибывши на Лесбос, устроил Паламедово капище, а также о святынях Орфеевых, кои на Лесбосе,

и далее о том, как поведал Аполлоний ученикам своим об Ахилле, каков тот явился и что говорил, и как повстречался Аполлоний в Пирее с любомудрами афинскими, и как афинян наставлял, чары демонские исцелял, нравы исправлял и благочестие умножал, и как ходил он послом от Ахилла в Фессалию, а еще как предрек он, что вознамерится Нерон прорыть насквозь Истм и как сие исполнилось, и сколь предивно избавил он Мениппа от нежити, из-за коей тот по неведению своему едва не погибнул, а каков был Басскоринфянин, и как звали Аполлония в Спарту, и что он ответил, и как в Олимпии о Зевсе рассуждал, и о многих иных его мнениях, суждениях и поучениях, особливо в Спарте, а также о том, как посетил он Крит и отправился в Рим, не убоясь Неронова злодейства, и как повстречал он близ Ариции Филолая, и какой вышел у них спор, и как иные ученики Аполлония поддались страхам Филолаевым, а иные остались тверды и вместе с учителем своим явились в Рим, и как беседовал Аполлоний с честным Телесином, а после римлян наставлял, и как Деметрий-пес обляял бани Нероновы и как озлился Тигеллин на Аполлония за речи и пророчества его и призвал его к допросу, однако же отпустил, трепеща гнева божьего, и как воскресил Аполлоний прежде свадьбы опочившую деву, и какими посланиями бодрил премудрого Мусония и каковы были ответы Мусония, и как, наконец, когда изгнал Нерон из столицы своей всех любомудров, отправился Аполлоний вместе с учениками в закатную Гадиру

КНИГА ПЯТАЯ

в коей повествуется о Геракловых Столпах, и каковы в Гадире приливы и отливы, восходы и закаты, а также о тамошних нравах и святынях, и еще о письменах, и о реке Бетисе, и какой вышел разговор у Аполлония с Дамидом и Мениппом о Нероне, когда чванился тот на эллинских ристаниях, и еще о том, как прослышали на Западе о Нероиовых победах, и как напугал заезжий лицедей местных обывателей, и как беседовал Аполлоний с правителем Беотийской земли и предрек мятеж Виндекса и как сие сбылось, и как отправился Аполлоний с учениками своими на Сицилию и там после гибели Нероновою предрек смуту, но свершил названные чудеса не колдовским искусством, а единственно божественною своею мудростью, и как рассуждал он об огнедышащих горах и восхвалял басни Эзоповы, а после отправился в Элладу и предивным образом избегнул гибели, и что поведал ему Деметрий о Мусонии, и как проучил Аполлоний нечестивого корабельщика, и как наставлял славного флейтиста Кана и об иных его изречениях и поучениях, особливо на Родосе, а также о том, как прибыл он в Египет и как в Египте безвинных спасал, жрецов просвещал и нравы улучшал, и как явился в Александрию Веспасиан, и о чем беседовал с Аполлонием, а также с Дионом и с Евфратом, и сколь сильно возлюбил Веспасиан Аполлония, и о подлости Евфратовой, и о Дионовом сладкоречии, и о том, почему отлучил Аполлоний Веспасиана от приязни своей, и о предивном льве, в коем воплотилась душа благородного Амасиса, и наконец, о том, как отправился Аполлоний с учениками своими в Эфиопию

КНИГА ШЕСТАЯ

в коей повествуется об Эфиопии, сколь она пространна в сравнении с Индией, и много ли сходства меж названными странами, а далее о том, как пришел Аполлоний на торговое место Сикамин и каков там торговый обычай, и еще о Тимасионе, как повстречал он Аполлония и что рассказал ему о себе, и как сделался проводником его, и об изваянии Мемпона, царя эфиопского, и о Филиске, как постигнул Аполлоний судьбу его, и какова обитель Нагих эфиопов, а также о злоумышлении Евфратовом, как оговорил он Аполлония перед эфиопами, а те наветам его поверили, и о прении Аполлония с Феспесионом, как спорили они об индусах и о премудрости индийской, и о многих иных наиважнейших предметах, и как возлюбил Аполлония юный Нил и соделался учеником его, и о чем они беседовали, и какая вышла распря у Аполлония с Феспесионом из-за зверовидных египетских богов, и как примирились они, заведя беседу о праведности истинной и мнимой, так что простились по-хорошему, и как пошел Аполлоний далее, дабы взглянуть на Нильские родники, и каковы в тех местах звери и каковы люди, и о Нильских порогах, и еще о том, как усмирил Аполлоний озорного сатира, а после воротился в Александрию,

и о послании его к Титу, и как встретились они с Титом, и о чем говорили, и какое было меж ними сердечное согласие, и как вверил Аполлоний Тита другу своему Деметрию, и о многих иных речениях и поучениях Аполлония, и сколь милостив он был к неимущему кладокопателю, и сколь строг к предерзкому искателю, возмечтавшему о союзе с богинею, и как помог городам Геллеспонтским, избавив их от землетрясения и пущего разорения, а ионян избавил от Домицианова утеснения, и, наконец, о том, как признал он в Тарсе воплощенного Телефа и назначил ему должное целение, а еще излечил бешеного пса

КНИГА СЕДЬМАЯ

в начале коей изъясняется, насколько превосходнее стойкость Аполлония пред тираном таковой же стойкости преславных любомудров прошедшего времени, а именно Зенона и Платона, и Фитона, и Гераклида с Пифоном, и Каллисфена, и Диогена, и Кратета-пса, и насколько лютость Домицианова превзошла лютость Неронову, а далее повествуется о том, как противустал Аполлоний тиранству Домицианову и сколь часто являл свое свободолюбие в словах и делах, и как замыслил Домициан погубить Аполлония, а тот, упредив намерения тирановы, явился в Италию, и какой разговор вышел у него с Деметрием в Цицероновом саду, и как Дамид сначала преисполнился опасения, а после премудрого Аполлониева поучения духом окреп, но отринул философское облачение, дабы сокрыть истинное свое назначение, и отправился с Аполлонием в Рим, а еще о честном Элиане, как с превеликим хитроумием помогал он Аполлонию, а также о нечестивом зложелателе, и как не сумел он смутить бесстрашия Аполлониева, и далее об узниках в темнице Домициановой, каковы они были и какой был на каждого извет, и как утешал их всех Аполлоний мудрым словом, а после прогнал от себя лазутчика Домицианова и приветил гонца Элианова, и как был он призван к Домициану для тайного допроса и сколь бестрепетно говорил с ним, заступаясь за опальных вельмож, и как надругался Домициан над Аполлонием, повелев остричь его и обрить, и в железа заключить, и что точно так оно и было, хотя иные сочинители облыжно винят Аполлония в малодушии, и далее о том, как подослал Домициан к Аполлонию нового лазутчика, и как Аполлоний не поддавался соблазнам его, и как явил он Дамиду божественное свое могущество, не колдовством укрепленное, но единственно святою мудростью, и еще о ничтожестве чародейной ворожбы, и как назначен был суд, и как велел Аполлоний Дамиду идти в Дикеархию, а еще о прекрасном отроке, из Мессены явившемся, пригожеством провинившемся и пред тираном не склонившемся

КНИГА ВОСЬМАЯ

в коей повествуется о приготовлениях к суду, как тиран во гневе своем бесился, а Аполлоний шутил и веселился, и как еще прежде дознания поспорил он с обвинителем своим, и о судебном дознании, как допрашивал Домициан Аполлония, и как тот отвечал и был оправдан, и как, наконец, уличивши тирана в злодействе, предивным образом исчез, и какую речь намеревался произнести Аполлоний в защиту свою, и вся эта речь от слова до слова, и еще о Домициане, как утрашен он был пропажею Аполлония, и сколь мудро сделал тот, заранее отослав Дамида, а далее о Дамиде и о Деметрии, как дожидались они Аполлония в Дикеархии и как плакали о нем, и как предстал пред ними Аполлоний, и что он им рассказал, и о чем они беседовали, и как отправился Аполлоний с Дамидом в Элладу и прибыл в Олимпию, и о многих его изречениях и поучениях, и еще о том, как посетил он прорицалище Трофония, и каков был ему от бога ответ, и о том, как жил он в Элладе вместе с учениками своими, и как предрек погибель Домицианову, а после отправился в Ионию, и как был Домициан убит во дворце своем, и как прозрел сие Аполлоний из Ефеса и сказал ефесянам, и как отвечал он Нерве, когда тот звал его в советники, и как обманым способом отослал он Дамида, дабы не был тот самовидцем кончины его, и какие можно услышать рассказы о кончине Аполлония, и, наконец, о том, как уже после кончины своей поучал блаженный тианиец о бессмертии души и сколь великих почестей удостоился он от семейства кесарева

КНИГА ПЕРВАЯ

1. Почитатели Пифагора Самосского рассказывают о нем вот что.

Вовсе-де не был он ионянином, но обитал некогда в Трое, звался Евфорбом и умер, как описано у Гомера, однако после смерти вновь ожил и, радея о чистоте, перестал одеваться в кожи животных и употреблять в пищу убоину, отвергая даже и жертвенное мясо, ибо не хотел сквернить алтаря кровью, а предпочитал, говорят, уважить богов медовой лепешкой, ладаном или песнопением, полагая, что подобные дары им милее сотен белых быков и ножа в жертвенной корзине. Поистине, был он в близкой общности с богами и знал, чем могут люди их порадовать и чем прогневить; от богов было и то, что говорил он о природе, ибо, по его словам, другие способны лишь гадать о божественном, да препираться в суетных мудрствованиях, а к нему-де явился сам Аполлон, свидетельством подтвердив неложность своего явления, нисходили к нему — хотя и не свидетельствуя — также и Афина и Музы, и иные боги, чьи образы и имена людям пока неведомы. Все, явленное Пифагору, его последователи полагали законом, его самого чтили как посланца от Зевса, а на себя, благоговая перед божественным, накладывали обет молчания, ибо внимали многим священным тайнам, кои трудно воспринять тем, кто не научен прежде, что и молчание есть род речи. Говорят также, что и Эмпедокл Акрагантский именно этим путем достиг мудрости, о чем можно судить по его стиху:

Радуйтесь — бог среди Вас! Из смертного стал я бессмертным.

И еще:

Отроковицею быть и отроком мне доводилось.

Да и рассказ о том, как он в Олимпии сотворил быка из теста и принес его в жертву, свидетельствует о его приверженности к учению Пифагора. И многое еще передают о любомудрах Пифагорова толка, однако мне недосуг входить в подробности подобных историй, ибо я спешу приступить, наконец, к своему собственному повествованию.

2. Аполлоний, чьи правила были весьма сходны с описанными, превосходною своею мудростью и презрением ко всякому тиранству был божественнее Пифагора. Жил он хотя и не в нынешнее время, но и не слишком давно, однако людям неведома его истинная мудрость, основан

ная па философии и здравом смысле, так что одни суесловят о нем так, другие этак. Например, из-за того, что ему довелось встречаться и с вавилонскими магами, и с индийскими брахманами, и с египетскими нагими отшельниками, иные и его самого называют магом, а то и хулят по незнанию как злого колдуна. Между тем и Эмпедокл, и Демокрит, и даже Пифагор беседовали с магами о многих божественных предметах, но чародейством не прельстились. Платон также побывал в Египте и ввел в свои сочинения многое из того, что узнал от тамошних пророков и жрецов, однако, подобно живописцу, расцветил их рисунок собственными красками и отнюдь не склонился к колдовству, но, напротив, мудростью своею внушил зависть всему роду человеческому. Поистине, хотя Аполлоний так часто видел и ведал будущее, не следует объяснять это колдовским искусством, ибо тогда пришлось бы порицать и Сократа, восприявшего от своего демона пророческий дар, и Анаксагора, который также обладал этим даром. Кто же не знает о том, как Анаксагор в Олимпии погожим днем явился на стадион в кожаном плаще, потому что предвидел небывалый для этого времени года дождь? Кто не знает, как он предсказал, что дом обрушится, и оказался прав — дом действительно обрушился? А когда он предрек, что день обратится в ночь и камни посыплются с неба на берега Эгоспотама, разве все не исполнилось в точности по слову его? Однако те же самые люди, которые

объясняют описанное мудростью Анаксагора, отрицают мудрую прозорливость Аполлония и утверждают, будто он угадывал будущее посредством чародейства. Невежество черни недостойно внимания; но все-таки, по-моему, пора подробнее рассказать об этом человеке, а именно когда и что он говорил или делал и в чем заключалась его мудрость, благодаря коей он может быть назван мужем предивным и божественным. Потому-то я и собрал предания об Аполлонии частью в городах, где его почитали, частью в святилищах, где он возродил забытые древние обряды, частью из того, что рассказали о нем другие, и, наконец, из его собственных писем, ибо писал он царям, софистам, философам, элидянам, дельфийцам, индусам и египтянам, писал о богах, нравах, обычаях и законах, дабы посланиями своими направить на верный путь всякого заблуждающегося. Таким вот образом я и собрал о нем по возможности точные сведения.

3. Жил в древнем городе Ниневии человек по имени Дамид, умом не обделенный, который, по его собственным словам, любомудрия ради сделался учеником Аполлония, сопровождал его в скитаниях и записывал его суждения и речи, а также многочисленные предсказания. Кто-то из родичей Дамида обратил внимание императрицы Юлии на его дневники, до той поры никому неизвестные. А как я принадлежу к приближенному кругу императрицы, ибо она — усердная почитательница всех родов изящной словесности, то я был призван ею, дабы обработать эти заметки, позаботившись об улучшении их слога, потому что слог ниневийца был хотя и ясен, но неуклюж. Мне посчастливилось, кроме того, прочитать сочинение Максима Эгийского, подробно описывающего пребывание Аполлония в Эгах, а также завещание самого Аполлония, помогающее понять всю богодухновенность его мудрости. А вот свидетельства Мой-рагена доверия не заслуживают: хоть он и написал об Аполлонии сочинение в четырех книгах, но слишком многого о нем не знал. Таким-то вот образом я собрал все эти разрозненные сведения и постарался их соединить, как сумел, дабы мой труд послужил для славы мужа, коему посвящен, и для пользы любознательных читателей: да узнают они то, чего не знали прежде.

4. Отечеством Аполлония была Тиана, эллинский город в области каппадокийцев. Отец его был ему тезкою, принадлежал к древнему роду, происходящему от первых поселенцев, и был богаче прочих горожан, притом что народ в этих краях вообще зажиточный. Когда мать еще носила Аполлония во чреве, ей явился египетский бог Протей, чей изменчивый облик воспет Гомером, и, ничуть не испугавшись, она спросила, кого ей предстоит родить. «Меня», — ответил тот. — «Но кто ты?». — «Я — Протей, египетский бог». Стоит ли объяснять знатокам словесности, какова мудрость Протея, как многообразны его обличья, как он неуловим, как славен ведением прошедшего и будущего? Следует запомнить все это о Протее, ибо далее в повествовании своем я покажу, что Аполлоний превзошел его и прозорливостью, и способностью выходить из затруднительных, а то и безвыходных положений в миг наибольшей опасности.

5. Говорят, он родился на лугу, близ того места, где теперь стоит посвященный ему храм. Не умолчу и об обстоятельствах его рождения. Незадолго до времени родов его мать увидела во сне, будто гуляет по лугу, срывая цветы. Когда она наяву пришла на этот самый луг, служанки разбежались в поисках цветов, а она задремала на траве, и туг нежданно слетелись кормившиеся на лугу лебеди, окружили спящую хороводом, захлопали крыльями, как у них в обычае, и все вместе согласно запели — словно зефир повеял над лугом. Она проснулась, разбуженная пением, и разрешилась от бремени, — ведь преждевременное разрешение от бремени зачастую бывает вызвано внезапным испугом. А местные жители передают, что именно в этот миг молния, уже устремившаяся, как казалось, к земле, вновь вознеслась и исчезла в эфире — этим способом, я полагаю, боги явили и предвестили будущую близость к ним Аполлония и будущее его превосходство надо всем земным и все, чего суждено было ему достигнуть.

6. Близ Тианы есть источник, посвященный, как говорят, Зевсу Клятвоблюстителю и называемый Асбамеем: вода его хоть прохладна, но бурлит, словно в кипящем котле, и для клятвоблюстителей сладка и полезна, а клятвопреступников карает на месте, кидаясь им в глаза, руки и ноги и вызывая водянку и чахотку, так что злодеи уже не в силах отойти от источника — и тут-то, рыдая, они поневоле признаются водам в лжесвидетельстве. Окрестные жители утверждают, что Аполлоний — сын этого Зевса, хотя сам он называл себя просто сыном Аполлония.

7. Подросши и приступив к учению, Аполлоний обнаружил превосходную память и отменное прилежание. Он изъяснялся на аттическом наречии, и чистота его произношения не была испорчена местным говором, а к тому же он привлекал все взоры своею миловидною пригожестью. Когда ему минуло четырнадцать лет, отец послал его в Таре к финикиянину Евфидему. Этот Евфидем, хороший ритор, начал было образовывать отрока, однако тот хотя и почитал учителя, но находил, что городские нравы легкомысленны и мешают ученью, ибо в Тарсе, как нигде, все жители привержены к роскоши, насмешливы, дерзки и о нарядах заботятся больше, чем афиняне о мудрости, так что сидят на берегах своего Кидна, словно изнеженные водяные птицы. Потому-то в послании к ним Аполлония сказано: «Перестаньте опьяняться водой». Итак он, с согласия отца, переселился вместе с учителем в соседние Эги: там и жизнь спокойная, способствующая философским занятиям, там и рвение к наукам больше, там и храм Асклепия, в котором сам Асклепий является людям. В Эгах в ту пору учительствовали платоники, перипатетики и последователи Хрисиппа; доводилось Аполлонию слушать также эпикурейцев, ибо и этим учением он не пренебрегал, но несказанно восхищался умом, лишь внимая пифагорейцам. Однако тот, кто учил его пифагорейской мудрости, был не слишком усерден и не применял свою философию на деле, более заботясь о радостях желудка и уладах любви и устраивая свою жизнь на эпикурейский лад. Звали его Евксеном, происходил он из Гераклеи Понтийской, а основы Пифагорова учения вы зубрил так же, как птицы порой перенимают слова людей, приветственно выкликая «Здравствуй!», или «Удачи тебе!», или «Зевс в помощь!», но нимало не понимая произносимого и вовсе не в порыве доброжелательства, а благодаря лишь изощренности языка. Между тем Аполлоний был подобен орленку, который, пока крылья не окрепли, постигает близ родителей искусство парения, но, набравшись сил для полета, обгоняет старших, а особенно ежели поймет, что те держатся земли из корысти, ради жирного куска. Вот так и Аполлоний, пока был отроком, оставался при Евксене ради словесной науки, но в шестнадцать лет, окрыленный некоей возвышенной страстью, дал волю своему стремлению жить по образцу Пифагорову. Впрочем, он не утратил расположения к Евксену и даже выпросил у отца для него пригородное именье с родником и свежей зеленью, после чего сказал ему: «Ты живи по-своему, а что до меня — я буду жить по-пифагорейски!».

8. Тут Евксен понял, что ученик его замышляет великое дело, и спросил, с чего же он собирается начать. «С того же, с чего и врачеватели, — ответил Аполлоний, — ибо они, очищая желудок, одним не дают заболеть, а других исцеляют». И сказавши так, он отказался от убоины, ибо пища эта нечиста и отягчает разум, но утолял голод овощами да сушеными плодами, утверждая, что чисто лишь рожденное самою землею; что же касается до вина, то, хотя напиток этот добыт из взлелеянной людьми лозы и чист, однако нарушает умственное равновесие, помрачая духовный эфир. Таким образом, очистив себя изнутри, Аполлоний отказался также от обуви и шерстяной одежды из-за их животного происхождения, облачился в льняные ткани, отпустил волосы и поселился в святилище. Поелику все окрестные жители восхищались Аполлонием, и сам Асклепий возвестил однажды жрецу, что приветствует в Аполлонии свидетеля своего попечения о болящих, то народ, привлеченный слухами, стекался в Эги и из самой Киликии, и из ближних областей — потому-то и появилось киликийское присловье, ставшее затем поговоркой: «Куда торопишься? Собрался к молодцу?»

9. Не умолчу и о том, что происходило в храме, ибо повествуя о муже, коему даже у богов почет. Так, некий юный ассириянин, явившись к Асклепию за исцелением, продолжал изнурять себя пьянством и развратом, словно поспешая к смерти: страдая водянкой, он не пытался избавиться от отеков, ища наслаждения в вине. Поэтому он не удостоился попечения Асклепия — тот даже не явился ему во сне. Он уже начал роптать, но тут бог, представ перед ним, возвестил: «Побеседуй с Аполлоном, и тебе полегчает». Придя к Аполлонию, юноша спросил его: «Не облегчит ли твоя мудрость мои страдания? Ибо сам Асклепий послал меня к тебе за советом». — «Да, — отвечал тот, — нечто весьма для тебя полезное я знаю. Хочешь ли ты исцелиться?». — «Зевс свидетель, хочу! Но Асклепий лишь обещает мне здоровье, а дать — не дает!» — «Придержи язык! Бог дает здоровье тому, кто воистину желает этого, а ты, напротив, стараешься поощрить свою болезнь: роскошествуешь, острою пищею язвишь гнилое и отечное нутро, так что к воде добавляешь еще и грязь». Этот ответ Аполлония, по-моему, куда яснее Гераклитова изречения: тот, страдая такою же болезнью, сказал, что ему-де нужно средство, превращающее слякоть в засуху, — слова туманные, неведомо на что намекающие, — меж тем как Аполлоний воротил юноше здоровье давши ему свой мудрый совет попросту.

10. Однажды Аполлоний увидел, что весь алтарь залит кровью от заклания бесчисленных жертв — тут были и египетские быки, и огромные кабаны, частью освежеванные, частью разрубленные, и в довершение всего стояли две золотые чаши, полные редкостных индийских самоцветов. Обратясь к жрецу, Аполлоний спросил: «Что это значит? Кто-то очень уж старается уважить бога». — «Ты удивишься гораздо более, — отвечал жрец, — когда узнаешь, что даритель этот ни о чем еще и попросить-то не успел и даже не провел здесь и нескольких дней ради исцеления или исполнения иной просьбы, как делают люди. Он вроде бы и явился-то только вчера — а вот приносит столь щедрые жертвы и обещает пожертвовать еще больше, лишь бы Асклепий внял ему. Человек он богатейший: в Киликии у него добра больше, чем у всех остальных киликиян вместе взятых. Бога же он просит вернуть ему вытекший глаз». Тогда Аполлоний, потупив взор, — с годами это обратилось у него в привычку, — спросил: «Как звать его?» И, услышав имя богача, промолвил: «По-моему, жрец, этого человека и в храм-то пускать нельзя, ибо он нечист и дары приносит не только для исцеления. Ежели, ничего не получив от бога, он жертвует столь обильно, то значит жертвует неспроста, но старается замолить некий тяжкий грех». Так сказал Аполлоний. А ночью сам Асклепий явился жрецу и возвестил: «Пусть имярек уходит отсюда и уносит свое добро — ему и одного глаза много». Полюбопытствовав, жрец сумел узнать, что у жены киликиянина была дочь от первого брака, которую он пожелал, а затем совратил, нимало не позаботившись о сокрытии блуда, так что мать застала их в постели и выколола ей булавкой оба глаза, а ему — один.

11. Вот как рассуждал Аполлоний о том, что не следует чрезмерно усердствовать в жертвоприношениях и посвящениях. Однажды, вскоре после изгнания помянутого киликиянина, когда особенно много людей собралось в святилище, он спросил жреца: «Правосудны ли боги?» — «Без сомнения, — отвечал тот, — очень даже правосудны». «Ну, а прозорливы ли они?» — «Чья же прозорливость сравнится с божественной?» — «В таком случае известны ли им человеческие дела? Может быть в этом они несведущи?» — «Напротив, тут-то их превосходство над людьми более всего очевидно, ибо люди даже в собственных своих делах неспособны разобраться, богам же ведомо и божеское, и человеческое». — «Ты говоришь, о жрец, на редкость благоразумно и верно, — возразил Аполлоний, — однако же отсюда, я полагаю, следует, что раз уж богам все известно, явившийся во храм должен по совести возносить одну единственную молитву: «Боги, воздайте мне по заслугам». Поистине, о жрец, праведники заслуживают хорошего, негодяи же, напротив, худого — так что милостивые боги того, кто чист и чужд зла, отпускают, увенчав не золотым венком, но всяческой благодатью, а ежели увидят они пред собой развратного злодея, то вручают его правосудию, ибо он лишь

усугубляет их гнев, оскверняя своим мерзостным присутствием святость храма». Затем оборотясь к кумиру Асклепия, он воззвал так: «Ты мудр, Асклепий, мудростью неизреченной и сокровенной, ибо не допускаешь до себя злодеев, хоть бы и несли они тебе все богатства Индии и Сард, ибо не от благочестия эти жертвы, но от желания подкупить правосудие, коим вы не торгуете, о правосудные боги!». И множество таких премудростей изрекал Аполлоний в святилище, будучи еще юношей.

12. Вот и другой случай, происшедший с ним в Эгах. Киликиянами в ту пору правил некий человек, наглый и развратный. Когда до него дошел слух о красоте Аполлония, он тут же бросил все дела — а он в это время вершил суд в Тарсе — и поспешил в Эги под предлогом болезни, якобы нуждаясь в помощи Асклепия. Там, подойдя к Аполлонию, который прогуливался в одиночестве, он попросил: «Заступись за меня перед богом». — «Зачем тебе заступник, — возразил тот, — ежели совесть у тебя чиста? Благочестивым боги рады и без поручительства». — «Клянусь Зевсом, Аполлоний, для тебя бог уже стал гостеприимцем, а для меня еще нет». — «Так ведь и за меня поручилась лишь моя добродетель, которую я блюду, насколько это возможно в юности, — она и помогла мне сделаться служителем и другом Асклепия. Ежели и ты печешься о добродетели, смело обращай к богу и проси, чего хочешь». — «Все же я хотел бы, клянусь Зевсом, прежде кой о чем попросить тебя». — «О чем же?» — «О том, о чем положено просить красавцев — поделиться красотой и не отказывать в прелестях». Все это он говорил томным голосом, строя глазки, с обычными у подобных развратников ужимками. Аполлоний, насупившись, прервал его: «Да ты с ума сошел, мерзавец!» Услыхав такое, тот не просто разгневался, а еще и начал угрожать, что голову-де тебе снесу, однако юноша в ответ только усмехнулся и воскликнул: «О третий день!» И действительно, как раз на третий день негодяй был убит на дороге стражниками, ибо вместе с каппадокийским царем Архелаем затеял заговор против римлян. Этот рассказ и многие другие, ему подобные, записаны Максимом Эгийским, который благодаря своему прославленному красноречию удостоился войти в число императорских письмоводителей.

13. Когда Аполлоний узнал о смерти отца, то, поспешив в Тиану, своеручно похоронил его рядом с матерью, опочившей незадолго перед тем, а унаследованное богатство разделил с братом, который был неводержан и пристрастен к пьянству, однако достиг уже двадцатитрехлетнего возраста и, стало быть, не подлежал опеке, между тем как Аполлонию минуло лишь двадцать, так что по закону ему требовался опекун. Поэтому он опять поселился в Эгах, уподобив святилище Асклепия Ликейю и Академии, ибо своды его оглашались эхом ученых бесед, а в Тиану воротился, лишь достигнув совершеннолетия и сделавшись хозяином самому себе. Тут его стали убеждать образумить брата, чтобы тот переменял образ жизни. «Мне это представляется дерзостью, — отвечал Аполлоний, — ибо возможно ли младшему поучать старшего? Однако ежели достанет у меня сил, я попробую исцелить его от пагубных страстей». Затем, отдав брату половину своей доли наследства, потому что тому-де нужно побольше, а ему — самая малость, он мудрым обхождением стал склонять того прислушаться к голосу благоразумия. «Умер батюшка, — говорил он, — который воспитывал и наставлял нас, так что теперь только ты у меня остался, а у тебя — только я. Поэтому, ежели я собьюсь с пути, ты уж посоветуй мне, как исправиться, а ежели ты в чем ошибешься, то не отвергай и моего совета». И вот, подобно тому, как лаской укрощают необъезженных и строптивых коней, Аполлонию удалось вразумить брата и направить его на путь истинный, отвратив от многих пороков, ибо тот и в кости играл, и пьянствовал, и путался с девками, да к тому же еще красил и завивал волосы — словом, вел себя как самый наглый распутник. Устроив дела брата, Аполлоний позаботился и о прочих родственниках, выделив нуждающимся долю из остатков своего наследства. Себе он оставил совсем немного и говорил по этому поводу, что ежели Анаксагор Клазоменский, превративший все свои земли в пастбища, тратил свою мудрость более на

скотов, чем на людей, то уж от Кратета Фиванского, утопившего свои богатства в море, не было проку ни людям, ни скотам. А касательно пресловутого Пифагорова изречения о том, что не следует сходиться с другой женщиной, кроме как со своей женой, он говорил, что Пифагор сказал это для прочих, но не для него, ибо он-то никогда не вступит в брак или в иную любовную связь. Тут он превзошел самого Софокла, говорившего о себе, что лишь в старости избавился от жестокого и лютого хозяина. Между тем Аполлоний, обороненный добродетелью и смиренномудрием, даже в юности не порабощался этому хозяину, ибо, хотя и был молод и телом крепок, но умел подавлять неистовство страсти. Тем не менее находятся клеветники, которые лгут о его любовных приключениях и рассказывают, что-де именно любовные утешения удерживали его целый год у скифов — а на самом деле он не только не поддавался подобным влечениям, но и у скифов-то никогда не бывал! Поистине, даже Евфрат не измыслил такой клеветы, хотя ж сочинил на Аполлония облыжный донос, о коем еще пойдет речь. Этот Евфрат повздорил с Аполлонием, когда тот попрекнул его, что он на все готов корысти ради, и попробовал отвратить его от алчности и торговли мудростью. Впрочем, об этом мне надобно рассказывать позднее, подчиняясь порядку повествования.

14. Однажды Евксен спросил Аполлония, почему он, обладая возвышенным строем мыслей и силой изящного слога, не напишет книгу. «Я еще не намолчался», — отвечал Аполлоний. Сразу после этого он положил необходимым блюсти молчание, однако же, хотя не произносил он ни звука, но продолжал воспринимать сущее очами и разумом, так что многое запечатлелось в его памяти, а памятью своей даже в столетнем возрасте он превосходил Симонида и часто повторял хвалебную песнь Мнемосине, где говорилось, что все стирается временем, но само время пребывает благодаря памяти нестареющим и неуничтожимым. Притом в пору молчания Аполлоний сохранял свойства обаятельного собеседника, ибо на обращенные к нему слова он умел отвечать взглядом, или кивком, или мановением руки, оставаясь по-прежнему дружелюбным и благожелательным и отнюдь не обращаясь в угрюмого бирюка. По его собственным словам, эти обетные пять лет оказались самыми трудными годами его жизни, ибо многое хотелось ему сказать, а говорить было нельзя, да к тому же и слушать нельзя было ничего, что могло бы вызвать гнев. Порой, раздраженный и уже готовый возразить обидчику, он говорил себе: «Укроти сердце и придержи язык!» — и так успокоив себя, откладывал ответ до истечения назначенного срока.

15. Годы молчания Аполлоний провел частью в Памфилии, частью в Киликии, однако, странствуя среди племен столь изнеженных, он не проронил ни слова — даже невольного возгласа не исторгли его уста. Когда ему случалось оказаться в городе, раздираемом распрей, — а в ту пору много было раздоров из-за непотребных зрелищ, — он просто выступал вперед так, чтобы его заметили, и затем мановением руки или только выражением лица прекращал беспорядок, так что толпа умолкала, словно при свершении таинств. Впрочем, не слишком трудно утихомирить тех, кто спорит из-за плясунов или скаковых лошадей, ибо такие спорщики, стоит им увидеть человека, который выше подобного легкомыслия, стараются сдержаться и сразу берутся за ум, а вот если горожане измучены голодом, то нелегко обуздать их гнев даже утешительною и проникновенною речью. Однако и при названных обстоятельствах Аполлоний одним лишь молчанием добился успеха, а было это вот как. Он явился в Аспенд, стоящий на берегу Евримедонта, — из Памфилийских городов это третий по величине, — в пору, когда местным жителям приходилось в голоде довольствоваться лишь горохом, ибо богатые хлеботорговцы придерживали зерно, чтобы повыгоднее сбывать его в других городах. Поэтому люди всех возрастов в злобном отчаянии окружили градоначальника и, запалив огонь, намеревались сжечь его заживо, хотя он и укрылся подле кумиров кесаря, которые в то время казались страшнее и святее кумира Олимпийского Зевса, потому что кесарем этим был Тиберий, а в его правление, говорят, какой-то человек был обвинен в святотатстве лишь за то, что

поколотил своего раба, когда у того при себе была серебряная монета с изображением Тиберия. Итак, Аполлоний, подойдя к градоначальнику, движением руки попросил объяснить, в чем дело. Тот отвечал, что не только не повинен в беззаконии, но, напротив, сам вместе с народом сделался жертвою беззакония и потому, ежели не позволят ему говорить, то погибнет не он один, а все горожане. Тогда Аполлоний, оборотясь к надвигавшейся толпе, знаками попросил выслушать градоначальника. Аспендийцы, изумленные его поведением, не только приутихли, но и сложили горящие факелы на ближние алтари, а приободрившийся градоначальник сказал: «В нынешнем голоде повинны такие-то и такие-то (и он перечислил имена), ибо они, собрав хлеб, припрятали его в своих загородных поместьях». Горожане стали сговариваться тотчас же обыскать окрестности, однако Аполлоний, покачив головою, знаками посоветовал не делать этого, а лучше призвать виновных сюда, чтобы они отдали зерно добровольно. Вскоре хлеботорговцы явились, и тут он с трудом сдержал вопль сострадания при виде рыдающей толпы, — кругом теснились стенающие женщины и дети, а старики причитали, словно вот-вот умрут с голоду. Однако он сумел соблюсти зарок молчания и, написав на табличке свой приговор, дал его градоначальнику для оглашения. Приговор этот был таков: «Аспендийским хлеботорговцам от Аполлония. Земля — мать всех людей, ибо она праведна, вы же злонравно желаете сделать ее матерью лишь для себя; а потому, ежели не образумитесь, я не позволю вам оставаться на ней». Испуганные этой угрозой, хлеботорговцы доставили на рынок хлеба в изобилии, и город возродился к жизни.

16. Когда завершился срок молчания, Аполлоний пришел в великую Антиохию и там явился в храм Аполлона Дафнийского, к коему ассирияне относят аркадское предание, утверждая, будто именно здесь преобразилась в дерево Дафна, дочь Ладона. Действительно, в тех краях протекает речка Ладон и почитается священный лавр, некогда бывший девой. Храм окружен кипарисами необычной высоты, а местность изобилует полноводными и тихими родниками, в коих, говорят, омывался сам Аполлон. Там же, по рассказам, вознесся из земли росток дерева, прозванного по Кипарису, ассирийскому юноше, — и поистине, красота дерева делает такое превращение достоверным. Пожалуй может показаться, будто из-за подобных сказок мое повествование становится отчасти ребяческим, но я-то передаю их не ради развлечения. Зачем же мне понадобилась сказка? А затем, что Аполлоний, разглядев не только красу храма, но и нерадивое о нем попечение и невежество полуварварского народа, воскликнул: «О Аполлон! обрати этих бессловесных тварей в деревья, чтобы они хоть шелестели вместе с кипарисами!» Затем, заметив, как тихо струятся родники, он добавил: «Всеобщая немота даже у источников отняла голос». Наконец, взглянув на Ладон, он сказал: «Не только дочь твоя преобразилась, но и ты, похоже, из эллина и аркадянина обратился в дикаря». Намереваясь побеседовать, Аполлоний избегал многолюдства и сутолоки, говоря, что не просто люди нужны ему, но истинные мужи, — поэтому он искал уединенных мест и селиться предпочитал в незапертых храмах.

На восходе солнца совершал он некие священнодействия, смысл коих открывал лишь тем, кто соблюдал молчание не менее четырех лет, а затем — ежели город был эллинский и обряды знакомые — проводил время в кругу жрецов, рассуждая с ними о богах, а то и наставляя, когда замечал уклонение от установленного чина. Ежели обряды были варварские и своеобразные, он старался разузнать, кто и почему установил их, а разузнав чин священнодействия, порою давал совет, мудрым добавлением улучшая уже существующее. Далее шел он к своим споспешникам и приглашал их спрашивать, что пожелают, ибо, по его словам, любомудрствуя по Пифагорову образцу, подобает на рассвете беседовать с богами, днем — о богах, на закате же — с людьми о делах человеческих. Итак, давши ответ на все, хоть и многочисленные, вопросы товарищей и вполне насладившись их обществом, остаток дня он посвящал беседе со всеми прочими — бывало это обыкновенно не прежде полудня, однако еще засветло. Пресытившись беседами, он

умазался и растирался, а затем купался в холодной воде, ибо горячие ванны называл старостью человечества — поэтому, когда антиохийские бани были закрыты из-за царившего там разврата, он сказал антиохийцам: «Хоть вы и дурные люди, император продлил вам жизнь»; а когда жители Ефеса едва не побили камнями своего градоначальника, не топившего тамошние бани, он заметил: «Вы вините правителя в том, что паритесь плохо, а я вас — в том, что паритесь».

17. Слог Аполлония не был ни выпранным, ни витиеватым, избегал он и заумной высокопарности, и чрезмерного аттицизма, ибо находил нелепым мерить слова одною аттической мерою; равным образом не растягивал он своих речей мелочными подробностями. Никто не слышал, чтобы он предавался шутовскому суесловию или вел праздные беседы во время прогулок, — напротив, он словно вещал с треножника, говоря: «Знаю», или «Полагаю», или «К чему вы клоните?», или «Да будет ведомо». Суждения его были краткими и непреложными, слова он употреблял в прямом значении и в соответствии с предметом разговора, так что громкозвучная его речь уподоблялась царственному приговору. Поэтому когда какой-то пустозвон спросил его, почему сам-то он ни о чем не полюбопытствует, он отвечал: «В отрочестве я задавал вопросы, а ныне не расспрашивать мне подобает, но учить тому, что уже познал». — «В таком случае, о Аполлоний, — возразил тот, — как же будет мудрец беседовать?». — «Как законодатель, — отвечал Аполлоний, — ибо законодателю приличествует быть для многих наставником истины, ему самому вполне открывшейся». Столь усердная добродетель в бытность Аполлония в Антиохии снискала ему приверженцев даже среди невежд.

18. По прошествии некоторого времени он стал подумывать о более длительном странствии, имея в виду посетить индусов и их мудрецов, называемых брахманами и гирканами, ибо, как он говорил, молодому человеку полезно знакомиться с чужими землями. Однако тут ему пришли на ум маги, обитающие в Вавилоне и Сузах, и, стремясь изведать их учение, он избрал прежде эту дорогу, о каковом решении и сообщил всем семерым своим сотоварищам;. Когда же те принялись всячески уговаривать его, отвращая от подобного замысла, он отвечал: «Я уже совещался с богами и уже получил от них напутствие, так что с вами говорил лишь для того, чтобы испытать, найдутся ли у вас силы разделить мое намерение. Но вы слишком для этого малодушны, а потому философствуйте тут на здоровье — я же поспешу туда, куда влекут меня мудрость и божество». Сказавши так, он покинул Антиохию вместе с двумя слугами, доставшимися ему по наследству от отца: один из них имел навык в стенографии, а другой был отменным переписчиком.

19. Итак, явился он в древнюю Ниневию, где воздвигнут варварского обличья кумир, якобы изображающий Ио, дочь Инаха: на висках у нее торчат маленькие, будто недавно прорезавшиеся рожки. Вот тут-то, пока он, задержавшись близ этого изваяния, рассуждал о нем глубокомысленнее любого жреца или провидца, пристал к нему ниневиец Дамид, о коем я уже писал, что он сделался Аполлонию и спутником в скитаниях, и сотоварищем в мудрости, сохранив для нас многие о нем сведения. Итак, Дамид, восхищаясь Аполлонием и взыскав странствий, обратился к нему с такими словами: «Пойдем вместе, Аполлоний: тебе бог будет вожатым, а мне — ты! Ты увидишь, что и от меня будет польза, ибо если чего другого я не знаю, зато все знаю касательно Вавилона и тамошних городов, сколько их ни есть, знаю и деревни, богатые припасами, потому что и сам недавно побывал в тех краях. Притом я умею говорить на всех варварских наречиях, а их ведь множество: свой язык у армян, свой у мидийцев, свой у персов, свой у кадусиев — и все я понимаю». — «Ну а я, друг мой, — отвечал Аполлоний, — хоть никогда никаким языкам не учился, понимаю все». И заметив удивление ниневийца, добавил: «Не дивись, что ведомы мне все людские наречия, ибо мне внятно также и человеческое молчание». Услышав, такое, Дамид преклонился перед Аполлонием, видя в нем бога, и остался с ним ради преумножения мудрости, запечатлевая в памяти все, что узнавал.

Слог ассириянина был посредственным — воспитанный среди варваров, он не обладал даром красноречия, однако был вполне способен записывать словопрение или беседу, а также то, что довелось ему услышать или узнать. Все это и составило его дневник, который он вел наилучшим образом, делая свои памятные заметки — как сам объяснял — с таким намерением, дабы ничто касательно Аполлония не было забыто, и ежели тот проронил хоть слово по случайности или мимоходом — пусть и это будет записано. Достопамятен его ответ одному из хулителей такого способа записей, нерадивому завистнику, который съязвил, что Дамид-де очень прилежно и во множестве записывает всякие мнения и суждения своего учителя, да только собирание подобных мелочей приводит на память собак, грызущих объедки с хозяйского стола. «Что ж, — возразил Дамид, — если пируют боги и трапезуют божественной пищу, то конечно находятся и слуги, которые позаботятся, чтобы и крупица амброзии, упавши, не пропала».

20. Вот каков был товарищ и почитатель Аполлония, сопутствовавший ему большую часть жизни. Итак, когда они добрались до границы Двуречья, мытарь, надзиравший за Мостом, привел их в таможенную и спросил, что у них с собой. «Со мною, — отвечал Аполлоний, — Рассудительность, Справедливость, Добродетель, Выдержка, Храбрость, Воздержанность», — и так он перечислил множество имен женского рода. Мытарь, радея о своей корысти, сказал: «Этих рабынь следует записать в таможенное объявление». — «Никак невозможно, — возразил Аполлоний, — ибо не рабынями они при мне, но госпожами».

Двуречье представляет собою область между Тигром и Евфратом, которые текут с Армянского нагорья и с отрогов Тавра и опоясывают землю, где строены по большей части деревни, но имеются и города, обитают же армяне и арабы, почти все кочевые. Замкнутые меж двумя реками, они почитают себя островитянами и поэтому, идя к реке, говорят, что спускаются к морю, полагая границу своей земли водный круг, — ибо реки эти, обтекая названную область, вливаются в море единым устьем. Впрочем, иные утверждают, будто многие русла Евфрата теряются в болотах, и река, стало быть, исчезает под землей, а иные даже дерзают полагать, будто Евфрат течет под землей вплоть до самого Египта и там выходит на поверхность, сливаясь с Нилом.

Право, я и хотел бы точности ради не упускать ничего из записанного Дамидом о подвигах Аполлония среди дикарей, однако повествование мое устремляется вперед к событиям еще более великим и необычным. Все же два обстоятельства я не могу обойти молчанием: во-первых, мужество, с которым Аполлоний держал путь через этот дикий и разбойничий край, в ту пору еще не подвластный римлянам, а во-вторых, мудрость, посредством коей он вослед арабам постиг язык зверей и птиц. Научился он этому, странствуя среди арабов, которые превосходно знают и используют звериные наречия, ибо у них в обычае внимать вещим птицам, словно оракулам, а вняты им эти вещания якобы потому, что они едят то ли змеиное сердце, то ли змеиную печень.

21. Оставив позади Ктесифон, Аполлоний подошел к границе Вавилонии, охраняемой царскими стражниками, которых нельзя было миновать, не сказавши, кто ты, из какого города и зачем явился. Начальствовал над этой стражей наместник — как я полагаю, нечто вроде «царева ока», ибо Мидянин лишь недавно пришел к власти и, не привыкнув еще к безбоязненности, изводил себя всяческими страхами, опасаясь и сущего и мнимого. Итак, Аполлония вместе со спутниками привели к наместнику, который как раз отправлялся куда-то в уже приготовленной кибитке, но, увидев покрытого пылью странника, взвизгнул, словно пугливая женщина, прикрыв лицо и, едва взглянув на пришельца, спросил, будто обращаясь к некоему божееству: «Чьим посланцем ты явился к нам?» — «Своим собственным, — отвечал тот, — чтобы сделать вас мужчинами, хотите вы того или нет». Наместник вновь спросил, кто он и зачем прибыл во владения царя, но Аполлоний возразил: «Мне принадлежит все пространство земли, и по всей земле я волен бродить». Когда же наместник пригрозил: «Не скажешь — пойдешь под пытку»,

— он отвечал: «Только пытай своеручно! Для тебя самого будет пыткой прикоснуться к мужчине!» Тут евнух, дивясь, что чужестранец не нуждается в толмаче и безо всякого труда понимает чужой язык, переменил обращение и учтиво спросил: «Во имя богов, кто ты?» — «Вот теперь ты задал этот вопрос спокойно и по-людски, — отвечал Аполлоний, — а потому слушай, кто я таков. Я Аполлоний из Тианы, а путь держу к индийскому царю, любопытствуя о тамошних делах. Впрочем, и с твоим царем я желал бы познакомиться — знающие люди говорят, что человек он неплохой, ежели только это тот самый Вардан, который некогда лишился власти, а ныне воротил ее себе». — «Это тот самый Вардан, о божественный Аполлоний! — воскликнул наместник. — Мы давно уже наслышаны о тебе! Ради столь мудрого мужа царь снизойдет со золотого трона, дабы отправить вас к индусам, давши каждому по верблюду. А пока — ты мой гость и потому бери из этих денег (тут он показал ларец, полный золота) сколько хочешь, да не единожды, а десятикратно!» Однако Аполлоний от денег отказался. «Тогда возьми вавилонского вина, — предложил евнух, — такое вино пьет сам царь за наше здоровье, за здоровье десяти своих наместников. Бери весь кувшин! И свинины возьми, и жареной оленины, и муки, и хлеба — бери что хочешь! Дорога-то у вас впереди долгая, а деревни припасами небогаты». Тут он спохватился: «Боги, да что ж это я! Ведь знаю, что этот муж не ест убоины и вина не пьет, а сам-то, невежа, угощаю его так грубо!» — «Ты можешь, впрочем, — промолвил Аполлоний, — снабдить меня легкою пищею — хлебом и сушеными плодами». — «Я дам тебе, — сказал евнух, — и квашеного хлеба, и фиников — крупных и цветом подобных янтарию. Дам и овощей, всех, какие вспоены Тигром». — «Дикие плоды, зреющие сами по себе, слаще тех, что выращены изощренным принуждением», — отвечал Аполлоний. «Слаще-то они слаще, — возразил наместник, — да только окрестности Вавилона заросли полынью, а потому и плоды здесь рождаются горькими и неприятными на вкус». Наконец Аполлоний принял предложенное, однако на прощание сказал: «А ты, любезный, в другой раз будь умницей не только напоследок», — так он вразумлял того за «пойдешь под пытку» и прочие грубости, услышанные в начале.

22. Пройдя двадцать стадиев, они наткнулись на убитую охотниками львицу, огромностью своею превосходившую всех зверей, виденных ими прежде. Кругом с криками теснился сбежавшийся из ближней деревни народ, да и сами охотники, свидетель Зевс, кричали, словно узрели некое дивное диво, ибо когда львице вспороли брюхо, то нашли там восемь детенышей. Обычно львицы производят потомство иначе — носят плод во чреве шесть лун, а родят лишь трижды: сначала троих детенышей, затем двоих и, наконец, ежели зачнут снова, то дарят жизнь лишь одному львенку, — и уж, конечно, этот последний и телом особенно крепок, и нравом особенно свиреп. Так что не следует доверять рассказам о том, будто львята выходят на свет, разрывая когтями материнскую утробу, ибо по закону естества и ради спасения рода любой младенец нуждается в материнском попечении. И вот Аполлоний долго пребывал в задумчивости, взирая на зверя, а затем обратился к Дамиду с такими словами: «Знай, Дамид: мы будем оставаться у царя в продолжение года и восьми месяцев, ибо ранее ни он нас не отпустит, ни нам не к чему уходить. Каждого детеныша следует считать за месяц, а львицу за год, сопоставляя, таким образом, целое с целым». «А как же тогда с воробьями у Гомера?» — возразил Дамид. — «В Авлиде змей пожрал восемь птенцов, а девятого схватил их мать, и Калхант объяснил, что это означает девять лет и что именно столько времени придется осаждать Трою. Берегись, как бы наше пребывание у царя не затянулось на девять лет, — по слову Гомера и пророчеству Калханта». — «Нет, Дамид, — отвечал Аполлоний, — Гомер справедливо считает птенцов за годы, ибо они уже рождены и пребывают в мире, я же никак не соглашусь считать за годы этих неразвитых и нерожденных детенышей, которые, быть может, и вовсе не родились бы на свет. Навряд ли сумеет появиться на свет то, что противно естеству, а ежели и появится — скоро погибнет, ты уж поверь моему слову. А теперь пойдем, помолимся богам, пославшим нам это знамение».

23. Когда Аполлоний достиг Киссии, находясь таким образом уже вблизи Вавилона, ему было видение во сне, и ниспославший его бог явил вот что: рыбы, выброшенные из моря, бились на берегу, стоная человеческими голосами, жалуясь на разлуку с родной стихией и умоляя плывшего вдоль берега дельфина помочь им в этой беде — словно люди плакали на чужбине. Аполлоний ничуть не испугался видения и принялся размышлять, каковы его смысл и цель, однако, желая смутить Дамида, боязливость коего была ему хорошо известна, он рассказал тому сон и прикинулся, будто утрачен дурным знаменем. Дамид всполошился, как если бы сам все это видел, и принялся уговаривать Аполлония не ходить дальше: «А иначе, — говорил он, — как бы и нам не пропасть без родимой стихии, подобно этим рыбам! Как бы и нам не довелось лить слезы на чужбине! Как бы и нам, несчастным и беспомощным, не пришлось умолять какого-нибудь вельможу или самого царя — а он пренебрежет нами, словно дельфин рыбами!» Аполлоний с улыбкою возразил: «Видно, ты еще не философ, коли боишься подобных вещей, так что я объясню тебе истинный смысл видения. Здесь, в Киссийском крае, живут еретрияне, переселенные Дарием с Евбеи лет пятьсот назад. Говорят, в пору своего пленения они испытали те же муки, что и рыбы, явившиеся мне в видении, ибо все до единого были они связаны и пленены. А ныне без сомнения боги велят мне отправиться к ним и, как сумею, о них позаботиться. Равно возможно, что это души эллинов, коих настиг здесь злой жребий, побуждают меня помочь землякам. Поэтому давай свернем с дороги и пойдем к ним, только спросим прежде о колодеце, близ которого они обитают». А колодец этот, говорят, содержит смесь смолы, масла и воды, и когда зачерпнутое выливают, то жидкости эти разделяются и струятся порознь. Аполлоний в послании к Клазоменскому софисту и сам подтверждает, что побывал в Киссии, ибо был он столь честен и праведен, что, увидев еретриян, вспомнил об этом софисте и написал ему как о виденном, так и о сделанном для них, прося и призывая на протяжении всего письма пожалеть об изгнанниках и всякий раз, как доведется помянуть о них в речи, пробуждать сострадание к их участи.

24. С вышеизложенным согласуется и то, что записал об еретриянах Дамид, а именно, что обитают они в области мидян, недалеко от Вавилона, от коего их отделяет только дневной пеший переход, однако край их совершенно деревенский, ибо вся Киссия населена земледельцами, да некоторым числом кочевников, лишь изредка покидающих седло. Еретрияне живут среди этих кочевников, окружив свое поселение глубокой рекой, русло которой, по преданию, вырыли сами для защиты от киссийских дикарей. Почва в этих местах пропитана смолой и малопригодна для возделывания, да и люди тут живут недолго, ибо питьевая вода разъедает нутро смоляным осадком. Кормит поселян лишь один возвышенный участок земли близ их деревни, приподнятый над зараженной округой, — вот и вся пашня, которую они засевают. По рассказам обитателей, в плен было взято семьсот восемьдесят еретриян, и, разумеется, не все были воинами, но были среди них и женщины, и старики, да и дети, наверно, были, ибо большая часть еретриян бежала в Каферей и в Евбейские горы. Пригнали же в Киссию около четырехсот мужчин и не более десяти женщин — прочие, выйдя из Ионии и Лидии, погибли в пути. Один склон холма они употребили под каменоломню и, поскольку среди них нашлись искусные каменотесы, устроили эллинские святилища и подходящего размера площадь, а также воздвигли алтари: Дарию — два, Ксерксу — один, Даридею — множество. Вплоть до времени Даридея, то есть восемьдесят восемь лет после пленения, они продолжали писать на эллинский лад, так что на могилах их начертано «имярек сын имярека» эллинскими письменами, однако ныне, по их словам, они уже не понимают этих начертаний. Также и разнообразные корабли высечены на надгробиях в зависимости от того, кто чем промышлял на Евбее: кто торговлей, кто добычей пурпура, кто мореходством, кто красильным делом; и па усыпальнице корабельщиков и кормчих, говорят, можно прочесть такую надпись в элегических двуступициях:

Некогда путь наш лежал над Эгейскою бурной пучиной, — Ныне покоит наш прах сушь экбатанских равнин, Шлем Еретрии привет, отчизне древле преславной, — Ближним Афинам привет, милому морю привет Дамид рассказывает, что Аполлоний привел эти надгробия в порядок, закрыл разоренные могилы и свершил над ними положенные возлияния и жертвоприношения, кроме кровавых и огненных, а затем, тронутый скорбью, прослезился и, стоя посреди кладбища, возгласил: «О еретрияне! Зброшенные сюда игроу Случая, вы, хотя и вдали от отечества, все же погребены, — а те, кто пригнал вас сюда, сгнули близ вашего острова непогребенные, пережив вас лишь десятью годами, ибо у берегов вашей Евбеи ниспослали им боги кару!» А в конце своего послания софисту Аполлоний пишет так: «О Скопелиан, будучи еще юношей, я позаботился как умел о твоих еретриянах — и о живых, и об умерших». Какое же попечение проявил он о живых? А вот какое. Стоило еретриянам посеять хлеб, как обитавшие близ холма дикари с наступлением лета разбойным набегом разоряли нивы, обрекая земледельцев на голод, ибо плоды их трудов доставались другим. Аполлоний же, посетив царя, добился для еретриян права безраздельного владения холмом.

25. О пребывании Аполлония в Вавилоне и о том, что достоверно о самом Вавилоне, я выяснил нижеследующее. Вавилон огорожен стеною, образующей круг, общей протяженностью в четыреста восемьдесят стадиев; высота этой стены — три полуплефра, толщина — менее плефра. Река Евфрат разделяет город на две приблизительно равные части, сообщающиеся через тайную переправу сокрытым под землю ходом, соединяющим царские дворцы на обоих берегах. Рассказывают, будто обуздала реку этим способом, нигде и никогда более не применявшимся, мидийская царица, в старину владевшая Вавилоном. Она собрала на берегу камень, медь, смолу и все прочее, что применяется для строительства подводных сооружений, а затем запрудила стремнину, обратив реку в озеро, после чего русло пересохло, и тогда она вырыла ров глубиною в две сажени, так что получилась как бы щель между берегами от дворца до дворца. Этот ров она покрыла крышей, сравнив ее с дном; опоры и стены рва вышли прочными, ибо смола от соприкосновения с водою становится твердой, как камень, а поверх еще мягкой смоляной крыши воротились в свое течение воды Евфрата — вот так и устроилась переправа. Дворцы крыты медью, так что кровли их излучают сияние, а палаты, теремы и дворы блистают серебром и золотой парчой, зачастую украшенной шитьем чистого золота, причем предметы изображений явились из эллинских преданий, ибо часто встречаются там и Андромеда, и Амимона, и Орфей. Впрочем к Орфею они испытывают расположение более за его тиару и шальвары, нежели за игру на кифаре и пение, обладавшее столь чарующею силою. Кое-где бывает у них выткан и Датид, нисторгающий Наксос в море, кое-где Артаферн, осаждающий Еретрию, кое-где сражения Ксеркса, будто бы им выигранные — в том числе и Афины, и Фермопилы, а иные изображения еще более проникнуты мидийским духом — тут и реки, стираемые с лица земли, и мост, перекинутый через море, и перекопанный Афон. Говорят еще, что есть там чертог, потолок которого изогнут куполом, создавая видимость небесного свода, и к тому же выложен лазуритом, ибо самоцвет этот синевую своей напоминает очам небо, так что вознесенные ввысь золотые кумиры богов, почитаемых персами, словно сияют в горнем эфире. В этом чертоге царь вершит суд: поэтому к потолку подвешены четыре золотые вертишейки, напоминая ему об Адрастее, дабы не заносился он перед людьми. Говорят, будто маги, имеющие доступ во дворец, и подвесили здесь этих птиц, прозываемых «языками богов».

26. О магах достаточно рассказал сам Аполлоний: о том, как сошелся с ними, и о том, как кое-чему научился у них, а кое-что и сам преподавал им при расставании. Дамид не знал, о чем беседовал Аполлоний с магами, ибо ему запрещено было сопровождать того во время упомянутых посещений. Впрочем, Дамид сообщает, что Аполлоний ходил к магам в полдень или около полуночи и что, когда он, Дамид, спросил однажды: «Ну, как там маги?», — тот отвечал: «Мудры, да не во всем».

27. Однако об этом позже. Итак, когда Аполлоний явился в Вавилон, то надзиравший за Великими Вратами наместник, разузнав, что цель путешественника есть изучение страны, вытащил золотое изваяние царя, перед коим каждому надлежало преклониться, ибо иначе нельзя войти в город. Только посланцев Римскою императора к этому не принуждают, зато уж всякий, пришедший из диких стран или путешествующий просто из любопытства, непременно будет схвачен и опозорен, ежели не почтит этот кумир — таким вот вздором заняты у варваров наместники! Увидев изваяние, Аполлоний спросил: «А это кто?» — и, услышав, что это царь, сказал: «Если тот, перед кем вы простираетесь во прахе, заслужит от меня похвалу за доброту и лепоту, будет ему великая удача». С этими словами он вошел в ворота. Пораженный наместник бросился за ним, схватив за руку и допытываясь через толмача об имени, отечестве, занятиях и намерениях пришельца — все сведения он отметил на дощечке, — добавил к этому описание обличья и одежды Аполлония и, наконец, велел ему обождать.

28. А сам поспешил к так называемым «царевым ушам», дабы донести им об Аполлонии и о том, что он не пожелал преклониться перед кумиром, да и вообще не походит на обычного человека. Те велели привести путника, но сделать это со всем почтением и без грубостей. Затем старший из них спросил, что побудило его столь пренебрежительно отнестись к царю. «Никакого пренебрежения я ему пока не оказал», — отвечал Аполлоний. — «Значит ты все-таки мог бы ему оказать пренебрежение?» — переспросил старший. — «Без сомнения, Зевс — свидетель! мог бы, если бы при знакомстве не обнаружил бы в нем ни доброты, ни лепоты». — «А принес ли ты ему какие-нибудь дары?» Аполлоний отвечал, что принес храбрость, справедливость и прочее. «Уж не думаешь ли ты, — спросил перс, — что царю всего этого недостает?» — «Отнюдь, — отвечал Аполлоний, — но ежели он обладает этими качествами, то я научу его применять их». — «Да разве он уже не применил их? Он воротил себе потерянное царство — то, которое ты ныне видишь, — и вернул права своему дому, а это дело не простое и не легкое». — «А сколько лет миновало с тех пор, как он восстановил свою державу?» — «Уже два месяца, как пошел третий год». Тут Аполлоний, по обыкновению поразмыслив, промолвил: «О телохранитель, или как там тебя положено именовать! Дарий, отец Кира и Артаксеркса, владел царством лет шестьдесят и, говорят, предчувствуя скорую кончину, свершил жертвоприношение Справедливости, воззвав к ней так: «О владычица, кто бы ни была ты!» — словно, издавна взыскуя справедливости, он все еще не познал ее и не возомнил, будто обладает ею. И верно, он столь неразумно воспитал своих сыновей, что они подняли друг на друга оружие и один был ранен, а другой убит рукою брата! А тут речь идет о царе, который еще не слишком тверд на престоле — и ты хочешь уверить меня, будто твой господин вместилище всех добродетелей, тем поощряя его надменность? Между тем не мне, а тебе на руку, ежели он сделается еще лучше». Тут варвар, переглянувшись со своим соседом, воскликнул: «Что за нечаянный подарок! Поистине, некий бог привел сюда этого мужа, ибо добрый от доброго станет добрее, и у царя нашего прибавится благородства, рассудительности и снисходительности, явленных пришельцем». Тут стражники понесли всем благую весть, что стоит-де у царских дверей эллинг мудрый советчик.

29. Когда весть дошла до царя, он как раз совершал жертвоприношение вместе с магами, надзирающими у персов за всеми священнодействиями, и промолвил, обратясь к одному из них: «Вот и сбился сон, о коем я говорил тебе давеча, когда ты посетил меня в опочивальне». А сновидение у царя было такое: чудилось ему будто он — Артаксеркс, сын Ксеркса, и будто обличив его также переменилось, и стал он вылитый Артаксеркс, чем был весьма напуган, опасаясь, как бы и в делах его не наступила перемена, ибо так истолковал он изменение облика. Однако, услышав, что явился в Вавилон эллинский мудрец, он тут же вспомнил афинянина Фемистокла, бежавшего некогда от эллинов к Артаксерксу и много тому послужившего, да и

себе стяжавшего честь. Итак, царь простер десницу и повелел: «Зови его, и да будет достойным началом нашего содружества совместная жертва и совместная молитва».

30. Явился Аполлоний, окруженный толпою, — таковым способом полагали царедворцы уважить царя, ибо успели уже разузнать, что он обрадовался гостю, который, впрочем, проходя по царским палатам, отнюдь не глазел ни на какие диковины, но словно продолжал шагать привычной дорогой и даже подозвал Дамида, заведя с ним такую беседу: «Ты давеча спрашивал меня об имени той самой уроженки Памфилии, которая якобы была в дружбе с Сафо и в песнопениях во славу Артемиды Пергейской сумела совместить эолийский лад с памфилийским». — «Спрашивать-то я спрашивал, — отвечал Дамид, — но ты мне ее имени не назвал». — «Верно, дружок, зато я растолковал тебе ключи и названия этих песнопений, а также способ, посредством коего эолийский лад видоизменяется, достигая высоты, присущей памфилийскому ладу, — но затем у беседы возник какой-то иной предмет, так что и ты уже не спрашивал меня более об имени сочинительницы. Так вот звали эту премудрую жену Дамофилой, и рассказывают, будто она, подобно Сафо, имела сношения с девицами и слагала любовные стихи, а также и храмовые песнопения, из коих одно, а именно посвященное Артемиде, переделано ею для пения на сапфический лад». Насколько мало был смущен Аполлоний близостью царя и великолепием царских покоев, явствует из того, что он не почитал все это достойным даже и мимолетного взгляда, но продолжал беседовать о вещах посторонних, глазом не поведя на окружающую его роскошь.

31. Преддверие храмового чертога было обширно, так что царь уже издали приметил вошедшего Аполлония и тут же, обратясь к свите, сказал, что узнал его, а когда тот наконец приблизился, громогласно воскликнул: «Вот он, тот самый Аполлоний, о коем Мегабат, брат мой, говорит, что видел его в Антиохии, где был он предметом восхищения и преклонения для всех, взыскиующих добродетели, — точно таким изобразил его тогда Мегабат, каковым вижу я его ныне!». Когда Аполлоний подошел к царю с приветствием, тот, обратившись к нему по-гречески пригласил его вместе свершить жертвоприношение, а намеревался он принести в жертву Солнцу чистопородного белого нисейского жеребца, увешанного побрякушками, словно для триумфального шествия. «Ты, государь, жертвуй по-своему, — возразил Аполлоний, — а мне позволь сделать это по-моему». И затем, зачерпнув горсть ладана, он воззвал: «О Гелиос, пошли меня в дальние края, любезные тебе и мне, — да повстречаю я мужей добрых, да не узнаю злых, и они меня да не узнают!» Промолвивши так, он бросил ладан в огонь и пристально следил, высоко ли вздымается дым, сильно ли чадит пламя и на сколько разделяется языков. Наконец узрев в чистоте огня доброе знамение, он обратился к царю: «Свершай жертву, государь, как велят тебе отеческие обычаи, а мои обычаи ты узрел».

32. Затем он удалился, дабы не приобщаться к кровавому жертвоприношению, но по окончании оногo воротился и вновь заговорил с царем: «Вполне ли ты, государь, владеешь греческим языком, или знаешь его лишь настолько, чтобы уметь объясняться и не показаться неучтивым, ежели явится к тебе в гости эллин?» «Я вполне владею греческим языком, равно как и местным, — ответил царь, — а потому говори, что хочешь — по всей видимости, именно ради этого ты и задал такой вопрос». — «Да, ради этого, а стало быть слушай. Главная цель моего путешествия — посещение индусов, однако и вашу страну не хотел я обходить, ибо был наслышан о тебе, а ныне вижу, что ты и вправду таков вплоть до ногтей. Притом надобно мне познать премудрость, изощренную в этих краях попечением магов, ежели они и впрямь столь сведущи в божественных предметах, как о них рассказывают. Для меня же вся мудрость — от Пифагора Самосского, ибо от него научился я почитать богов, как видел ты давеча, от него же научился я знанию о божествах видимых и невидимых, от него и мой дар беседовать с богами, от него и эта моя одежда, сотканная из земной шерсти, не состриженной с овцы, но чистой и невиннорожденной, ибо она — дар земли и воды, а имя ей — лен. И волосы я не стрижу по

завету Пифагорову, и от животной пищи воздерживаюсь, наставленный его мудростью. Поэтому в пирах, праздности или роскошестве не сумел бы я сделаться товарищем ни тебе, ни кому другому, однако сумел бы помочь в разрешении неразрешимых вопросов и тягостных сомнений, ибо ведомо мне не только должное, но и грядущее». Вот так, по словам Дамида, говорил Аполлоний, который изложил это же самое в собственноручном послании, — да и многое другое, высказанное прежде в беседах, впоследствии запечатлел он в письмах.

33. Царь отвечал, что рад и счастлив приходу Аполлония больше, чем если бы присоединил к своим владениям Индию и Персию, а затем, назвав Аполлония своим гостем, пригласил его поселиться во дворце. Однако тот возразил: «А если бы ты, государь, явился ко мне на родину в Тиану, и я пригласил бы тебя поселиться в моем доме, охотно ли ты последовал бы моему приглашению?» — «Зевс — свидетель, нет! — воскликнул царь, — Разве что дом этот был бы достаточно велик, дабы по должному чину вместить стражу, телохранителей и, наконец, меня самого». — «Ну вот и я отвечу точно так же, ибо получить жилье не по чину было бы для меня тягостно, а чрезмерность печалит мудрецов более, чем царей скудость. Пусть же будет моим гостеприимцем человек частный, состоянием равный мне, а с тобой я буду видаться, сколько пожелаешь». Царь согласился, избегая хоть в чем-то не угодить Аполлонию, и таким образом тот нашел приют в доме некоего вавилонянина, мужа именитого, да и в прочих отношениях благородного, с коим не успел он и отобедать, как уже явился евнух, используемый для устных поручений, и обратился к нему с такими словами: «Царь дарит тебе десять даров и предоставляет право самому назвать их, однако же не следует тебе просить о какой-либо малости, ибо царь желает и тебе и нам явить великодушную щедрость». Поблагодарив за известие, Аполлоний спросил: «Когда же должен я обратиться со своею просьбой?» — «Завтра», — отвечал посланец и без промедления отправился ко всем друзьям и родичам царя, призывая их присутствовать при одаривании гостя, когда тот совершит свой выбор. А Дамид, по его собственному утверждению, и не ожидал поначалу, что Аполлоний выскажет какую-нибудь просьбу, ибо успел изучить его нрав и знал обычную его молитву к богам: «Боги, дайте мне владеть малым и не испытывать необходимости ни в чем». Однако затем, заметив, что Аполлоний погружен в глубокое раздумье, и предположив, что он все же решил о чем-то просить, Дамид принялся выпытывать, какую просьбу намерен он высказать. Лишь к вечеру тот ответил, наконец, следующее: «А я, Дамид, рассуждаю сейчас сам с собою, почему у варваров евнухи почитаются скромниками и допускаются в женские покои». «Ну, Аполлоний, это ведь и ребенку ясно! — воскликнул Дамид. — Оскопление отняло у них способность к любострастию, вот их и допускают в терема, даже если в действительности они непрочь переспать с женщиной». — «А как ты полагаешь, — спросил Аполлоний, — отняло у них оскопление способность влюбляться или способность сходиться?» — «И то, и другое, — отвечал Дамид, — ибо ежели уничтожен член, вселяющий в тело похоть, то тело это уже не будет охвачено любовною страстью». Немного помолчав, Аполлоний промолвил: «Завтра ты узнаешь, Дамид, что и евнухи могут влюбляться и что страсть, порожденная очами, в них не угасает, но остается жаркой и пылкой, — долженствует случиться нечто, опровергающее твои слова. Впрочем, если бы даже человеческая изощренность обладала такую власть и могуществом, чтобы напрочь искоренить упомянутые выше помыслы, то я все же полагаю, что не следует приписывать евнухам особое целомудрие, ибо они просто вынуждены к оному, будучи насильственно лишены способности любить. Целомудрие состоит в том, чтобы желание и стремление не распалась в любострастие, но обуздав себя, возвыситься над этим бешенством». Дамид возразил: «Об этом предмете мы еще поразмыслим, Аполлоний, а сейчас надобно подумать, как тебе завтра ответить на великодушное послание царя. Ты можешь, разумеется, вообще ни о чем не просить, однако, ежели покажется, будто ты отвергаешь царские дары из гордости, то, говорят, придется тебе быть настороже и глядеть в оба, потому что, как ты сам видишь, не только вся страна, но также и мы сами всецело в царской власти. Надобно опасаться, как бы

тебя не попрекнули надменностью, и надобно понять, что, хотя нынешних припасов нам хватит до Индии, но на обратный путь их хватить не может, а новых ждать неоткуда».

34. Такими ухищрениями Дамид старался убедить Аполлония не отвергать будущих даров, а Аполлоний, словно намереваясь поддержать эти уговоры, промолвил: «Почему же ты, Дамид, пренебрегаешь достойными упоминания образцами? Вот, например, Эсхин, сын «Писания, отправился за деньгами на Сицилию к Дионисию. А Платон, говорят, трижды миновал Харибду ради сицилийских богатств. Да и Аристипп Киренский, и Геликон Кизикийский, и изгнанный Фитон Регийский так зарылись в кубышку Дионисия, что еле вылезли оттуда. Да и о Евдоксе Книдском рассказывают, как он некогда явился в Египет, самолично объявив, что явился именно ради денег, и успев побеседовать на этот предмет с самим царем. Не стоит умножать примеров, но скажу все-таки и о Спевсиппе Афинском: этот якобы был столь сребролюбив, что скоморошничал в Македонии на свадьбе Кассандра, сочиняя бездарные вирши и принародно распевая их — опять же ради денег. Что до меня, то, по-моему, Дамид, мудрец встречает опасностей больше, чем мореплаватель или воин, ибо зависть сопутствует ему, когда говорит он и когда безмолвствует, когда он деятелей и когда покоен, когда идет мимо дома и когда входит в дом, когда вступает в беседу и когда уклоняется от беседы. А стало быть надлежит накрепко запомнить, что ежели мудрец предается праздности или гневу, или любострастию, или пьянству, или иному случайному порыву, то он еще достоин сочувствия, но ежели он старается ради денег, то не только сочувствия не достоин, а заслуживает ненависти, будучи вместилищем всех пороков, ибо не был бы он рабом денег, когда бы еще прежде не сделался рабом желудка и тряпья, и вина, и девок. Ты, быть может, полагаешь, будто согрешить в Вавилоне простительнее, чем в Афинах или в Олимпии, или на Пифийских играх, но тебе и невдомек, что мудрецу весь мир — Эллада, и что ни в мысли, ни в слове нет для мудреца пустыни или диких краев, ибо живет он пред взором Добродетели и, хоть мало видит людей, но его-то видят тысячи и тысячи. Ежели ты, Дамид, вспомнишь какого-нибудь ристателя из тех, что сильны в борьбе или кулачном бое, и вообразишь, что он стремится в Олимпию и уже прибыл в Аркадию, ты ведь будешь ожидать от него и честности и благородства? А ежели свершаются Пифийские или Немейские игры, то будешь ты ожидать от него и попечения о теле, ибо игры эти знамениты своими превосходными ристаниями по всей Элладе. Ну, а ежели олимпийский обряд свершает после победы над городами Филипп? А ежели сын его Александр учреждает игры во славу своих побед? Ужели позволено будет ристателю оставить телесные упражнения и не стремиться к победе лишь потому, что состязается он в Олинфе или в Македонии, или в Египте, а не на эллинских ристалищах?» Дамид, по его собственным словам, был столь поражен этой отповедью, что от стыда за свои необдуманые речи чуть сквозь землю не провалился и стал умолять Аполлония о прощении за то, что, не будучи довольно с ним знаком, донимал его советами и доводами. «Оставь, — прервал эти извинения Аполлоний, — я говорил не для того, чтобы упрекнуть тебя, но для того, чтобы изъяснить тебе свое мнение».

35. Пришел евнух звать Аполлония к царю, но тот ответил: «Я приду, когда исполню свой долг пред богами», — и он действительно покинул дом не прежде, чем совершил жертвоприношение и помолился. По дороге встречный народ дивился его обличью, а когда он явился во дворец, царь обратился к нему с такими словами: «Вот, я даю тебе десять даров, ибо по моему разумению люди, подобные тебе, никогда до сей поры не приходили к нам из Эллады». Аполлоний же в ответ промолвил: «Я не отвергну, государь, всех твоих даров, но выберу из них один, который для меня дороже многих десятков». И вслед за этим он поведал о еретриянах, начав свое повествование со времени Датида. «Итак, я прошу, — сказал он, наконец, — чтобы этих несчастных не изгоняли из их пределов и не лишали холма, но да будет им отмерен надел, как постановил еще Дарий, ибо тяжело было бы им лишиться земли, полученной взамен прежней, с коей были они угнаны». Поразмыслив, царь ответил: «До

вчерашнего дня еретрияне были моими врагами и врагами моих предков, ибо некогда подняли против нас оружие — для того мы все и пренебрегали этим племенем, чтобы оно вымерло. Однако впредь будут они в числе моих друзей и наместником у них будет муж добрый, который станет справедливым судьей их края». Затем он добавил: «Что же ты не берешь остальные девять даров?» «Потому, государь, — возразил Аполлоний, — что я не приобрел еще друзей в этой стране». — «А сам ты ни в чем не нуждаешься?» — удивился царь. — «Ни в чем, ибо пища моя — лишь хлеб да сушеные плоды, и нет для меня ничего слаще и роскошнее».

36. Пока они беседовали таким образом, во внутренних покоях раздались крики сразу евнухов и женщин: какой-то евнух был застигнут прелюбодейно возлежащим с одной из царских наложниц, и сейчас стражи волокли его за волосы, ибо именно таков способ обращения с царскими рабами. Главный евнух донес, что он-де давно уже приметил страсть, питаемую виновным к этой именно женщине и запретил ему говорить с ней, трогать ее руки или шею и помогать ей наряжаться, причем из всех наложниц запрет относился лишь к этой одной — и все-таки сегодня его застали возлежащего с нею как мужчина. Тут Аполлоний взглянул на Дамида, словно напоминая ему о давешней беседе, когда они рассуждали о способности евнухов влюбляться, а царь обратился к присутствующим: «Стыдно было бы нам, о мужи, провозгласить свой суд пред лицом Аполлония, не давши ему первому высказаться. Итак, Аполлоний, какое наказание ты назначаешь этому преступнику?» «Какое же, как не жизни!» — отвечал Аполлоний ко всеобщему удивлению. Вспыхнув, царь воскликнул: «Ужели он, осквернивший мое ложе, не достоин множества смертей?» «Не о прощении говорил я, государь, — возразил Аполлоний, — но о мучительной казни! Ежели будет он жить, скованный болезнью и немощью, ежели не в радость будет ему ни еда, ни питье, ни зрелища, услаждающие тебя и твоих приближенных, ежели частое биение сердца лишит его сна, что якобы чаще всего и случается с влюбленными, — найдется ли мученье более губительное? найдется ли голод более изнурительный для утробы? Поистине, государь, если он не слишком цепляется за жизнь, то вскоре начнет просить тебя о смерти или сам наложит на себя руки, премного скорбя лишь о том, что не умер сегодня и сразу». Таков был ответ Аполлония, столь мудрый и уместный, что царь немедля помиловал евнуха.

37. Как-то царь собрался поохотиться в одном из тех заповедников, где варвары содержат львов, медведей и барсов, и пригласил Аполлония участвовать в ловле, однако тот отказался: «Разве ты позабыл, государь, что я не участвую даже в твоих жертвоприношениях? Тем более не в радость мне будет мучить зверей, поработая их вопреки природе». Когда же царь спросил его, как укрепить и обезопасить свою власть, он отвечал: «Уважай многих, а доверяй немногим». Однажды правитель Сирии прислал посольство касательно деревень — насколько я понимаю тех двух, что находятся неподалеку от Моста, — сообщая, что прежде они подчинялись Антиоху и Селевку, а ныне подчинены римлянам и управляются римским наместником, а потому арабам и армянам да будет неповадно тревожить эти деревни, даже если царь и пересек столь обширные пространства ради дани, словно упомянутые поселения принадлежат ему, а не римлянам. Выслушав и отпустив послов, царь обратился к Аполлонию: «Деревни эти, Аполлоний, были отданы моим пращурам названными сирийскими царями ради содержания зверей, выловленных в наших краях и отправляемых к ним за Евфрат. Между тем послы, будто обо всем позабыв, затевают новое и бесчестное препирательство. Каковы по-твоему подлинные притязания этого посольства?» «Притязания их, государь, умеренны и разумны, — отвечал Аполлоний, — ибо то, чем они могли бы обладать и без твоего согласия, они предпочитают приобрести, заручившись таковым». Он присовокупил также, что не стоит спорить с римлянами из-за деревень, которые едва ли не меньше многих, находящихся в частном владении, — да будь они и больше, все равно не должны делаться поводом для войны. В другой раз, когда царь занемог, Аполлоний посетил его и беседовал с ним о душе столь

подробно и столь вдохновенно, что, оправившись от недуга, царь сказал приближенным: «Аполлоний внушил мне пренебрежение не только к собственному царству, но и к самой смерти».

38. Однажды, показывая Аполлонию описанный выше проход под Евфратом, царь спросил: «Каково тебе это диво?» Но Аполлоний, пренебрегая диковиной, возразил: «Когда бы ты, государь, перешел как посуху реку столь же глубокую и столь же бурную — вот это было бы дивом!» В другой раз, когда царь показывал ему Экбатанские стены, утверждая, будто их воздвигли боги, он сказал: «Вовсе не боги укрепили этот город, да вряд ли укрепили его и истинные мужи, ибо город лакедемонян, о государь, укреплен не стенами!». А когда царь рассуживал тяжбу между деревнями и похвастался Аполлонию, что слушание дела заняло лишь два дня, тот отвечал: «Долго же пришлось тебе искать справедливого решения!» Как-то раз, собравши разом обильные подати, царь открыл казну, чтобы показать Аполлонию свои сокровища и склонить его к любостыжанию, однако тот ничему из увиденного не удивился, промолвив: «Для тебя, государь, это богатство, а для меня — плевелы». — «В таком случае скажи, — попросил царь, — как я могу употребить все это наилучшим образом? — «Трать — ведь ты царь!» — отвечал Аполлоний.

39. И еще многое в этом роде говорил Аполлоний царю, находя его усердным в исполнении советов. Наконец, пресытившись обществом магов, он обратился к Дамиду: «В путь, Дамид — поспешим к индусам! Тех, кто приплыл некогда к пожирателям лотоса, позабыть о домашних привязанностях заставило лакомство, а мы, хотя и не отведав здешних яств, остаемся тут долее, чем это разумно и полезно». — «Я думаю точно так же, — отвечал Дамид, — однако, памятуя о сроке, который ты исчислил по львице, я ожидал, пока срок этот истечет — между тем он истек еще не полностью, ибо мы гостим тут лишь год и четыре месяца. Хорошо ли будет, ежели мы тотчас уйдем?» — «Нет, Дамид, — возразил Аполлоний, — ибо царь все равно не отпустит нас прежде восьмого месяца — ведь ты, я полагаю, и сам видишь, что он слишком благороден и добр, чтобы управлять варварами».

40. Когда, наконец, царь примирился с их уходом, и им позволено было отправиться в путь, Аполлоний вспомнил о дарах, кои медлил принимать до той поры, пока не обзаведется друзьями, и попросил: «О милосердный государь! Я не отблагодарил магов за гостеприимство и должен вознаградить их — итак, из благосклонности ко мне прояви попечение об этих всецело тебе преданных и премудрых мужах». Возрадовшись, царь отвечал: «Ради тебя я завтра же осчастливию их и удостою многих милостей! А ежели сам ты не нуждаешься ни в чем из моего, то позволь хотя бы вот им взять у меня денег и всего, чего пожелают», — тут он указал на Дамида и его товарищей. Когда же и они отвергли посулы царя, то Аполлоний заметил: «Видишь, государь, сколько у меня рук и как они между собою схожи?» «Возьми хотя бы проводника, — промолвил царь, — да и верховых верблюдов, ибо путь ваш слишком долог, чтобы идти только пешком». «Быть по слову твоему, государь! — отвечал Аполлоний. — По слухам дорога эта и впрямь неодолима иначе, как на верблюдах, ибо они неприхотливы и легко отыскивают себе пропитание даже там, где нет пастбищ. А еще, я думаю, нам надобно запастись водою, наполнив ею, словно вином, мехи». — «На три дневных перехода страна будет безводна, — сказал царь, — а затем встретятся вам во множестве ручьи и реки. Путь вы должны держать через Кавказ — там и припасы в изобилии, и народ дружелюбен». Затем он спросил Аполлония, какой гостинец получит от него по возвращении, и тот отвечал: «Благодатный дар, государь, ибо беседы с мудрецами и меня сделают мудрее, так что я вернусь к тебе лучшим, нежели ныне». Тут царь обнял его и воскликнул: «Возвращайся — это наилучший подарок!»

КНИГА ВТОРАЯ

1. Итак, с наступлением лета путешественники выехали из Вавилона, имея при себе проводника, а также погонщика верблюдов и все необходимые припасы, коими в изобилии снабдил их царь. Путь их лежал через плодородные края, и в деревнях их привечали со всяческой учтивостью, ибо золотые удила головного верблюда оповещали всех встречных, что царь снарядил в дорогу кого-то из своих друзей. Наконец, когда достигли они Кавказа, то почуяли, как сами о том рассказывают, все возрастающее благоухание.

2. Кавказский хребет мы можем почитать началом Тавра, который пересекает Армению и Киликию вплоть до Памфилии и Микалы и до побережья, где обитают карияне — это и есть конечный предел Кавказа, а вовсе не начало его, как порой утверждают, ибо Микала невысока, а вершины Кавказа столь неимоверны, что едва не вонзаются в солнце. Вместе с прочими горами Тавра Кавказ окружает всю сопредельную с Индией Скифию, достигая Меотиды и левобережного Понта и простираясь на двадцать тысяч стадиев, ибо именно такова общая протяженность Кавказского хребта. Что же до сказанного о нашей части Тавра, будто она-де тянется за Армению, то долгое время этому никто не хотел верить, однако ныне подтверждением упомянутых домыслов оказались барсы, коих, насколько я знаю, ловят в душистых лесах Памфилии. Благовония для барсов усладительны, а потому, издавек влекомые чутьем, лишь только донесут к ним ветры дух источаемой стираксом смолы, они бегут из Армении через горные хребты в поисках этих благоуханных слез. А еще рассказывают, что некогда в Памфилии была поймана самка барса с золотым обручем на шее, и на обруче этом было начертано армянскими письменами: «Царь Аршак Нисейскому богу». Действительно, в ту пору царем Армении был Аршак, который, как я полагаю, увидев огромность зверя, посвятил его Дионису и отпустил, — Нисейским богом индусы и все прочие восточные племена именуют Диониса по индийской Нисе. Некоторое время зверь повиновался людям, позволяя гладить и ласкать себя, но весною, когда даже барсы распалются любострастием, самка пришла в исступление и, томясь по самцу, умчалась в горы как была с ошейником — а поймали ее, завлеченную благоуханием, у отрогов Тавра. Итак, Кавказ огибает Индию и Мидию, а другой излучиной своего хребта спускается к Красному морю.

3. У варваров сохраняется предание, нашедшее отзвук также и в сказаниях эллинов, будто Прометей за свое человеколюбие был прикован к Кавказу, а Геракл — какой-то другой Геракл, ибо не о фиванце тут речь — не пожелал терпеть подобной несправедливости и застрелил птицу, пожиравшую нутро Прометея. Узилицем Прометея была якобы пещера, которую показывают у подножия горы, и Дамид сообщает, что и ныне со скал там свисают путы, непонятно из чего сделанные. Однако кое-кто утверждает, будто Прометей был прикован к двуглавой вершине горы, так что руки его, распяты между двумя утесами, были распростерты не менее чем на стадий — столь огромен он был. Орла обитатели Кавказа считают врагом и потому выжигают огненными стрелами орлиные гнезда на скалах и расставляют на орлов капканы, говоря, что это-де им за Прометея — такова власть предания!

4. Проезжая по Кавказу, Аполлоний и его спутники видели, по их же рассказам, людей ростом в четыре локтя и к тому же черных, а когда переправились они через Инд, то увидели других — ростом уже в пять локтей. На пути к этой реке случились с ними нижеследующие достойные упоминания происшествия. Светлою лунною ночью явилась им на дороге нежить эмпуса, постоянно меняющая свое обличье, а порой исчезающая совсем. Однако Аполлоний сразу узнал эмпусу и принялся бранить ее, приказав спутникам делать то же самое, ибо именно таким

образом нужно изгонять это чудище. Действительно, эмпуса бросилась наутек, визжа, как визжит лишь нежить.

5. В другой раз, на вершине горы, когда из-за крутизны перевала шли они пешком, Аполлоний спросил Дамид: «Скажи, где были мы вчера?» — «На равнине», — отвечал тот. — «А где же мы сегодня, Дамид?» — «В Кавказских горах, ежели только я не лишился памяти». — «Когда же ты был выше, а когда ниже?» — продолжал допытываться Аполлоний. — «Об этом и спрашивать не стоит!» — воскликнул Дамид. — Вчера мы двигались по углубленной в земле лощине, а сегодня едва не касаемся неба». — «Ты, стало быть, полагаешь, Дамид, будто вчера мы шли по низу, а сегодня по верху?» — «Клянусь Зевсом, это так, или я сошел с ума!» — «А чем, по-твоему, различаются эти дороги и чем сегодняшняя для тебя предпочтительнее вчерашней?» — «Вчера мы шли по многолюдной дороге, — отвечал Дамид, — а здесь людей мало». — «Что же, Дамид, — возразил Аполлоний, — разве не можешь ты и в городе свернуть с шумной улицы в безлюдный переулок?» — «Я этого не говорил, а хотел сказать, что вчера наш путь лежал мимо деревень, и кругом были люди, а сегодня мы идем путем священным и заповедным, ибо ты сам слышал от проводника, что варвары называют этот край обителью богов». С этими словами Дамид устремил взор на горные вершины, Аполлоний же вновь обратился к начальному предмету беседы: «Можешь ли ты выразить, о Дамид, какие тайны ты постиг, странствуя у края небес?» — «Не могу», — отвечал тот. — «А должен, — возразил Аполлоний, — ибо если уж вознесли тебя стопы на сию богозданную башню, то ныне тебе надобно куда разумнее рассуждать о небе, солнце, луне — ведь по-твоему, стоя здесь, рядом с небом, в него можно хоть посохом ткнуть!» — «Сколько я вчера знал о божественном, столько знаю сегодня, — отвечал Дамид, — и ничего нового по сему поводу мне на ум не пришло». — «А ежели так, Дамид, то ты все еще внизу и ничего не приобрел, пребывая на вершинах, ибо к небу ты не ближе, чем вчера! Мои расспросы с самого начала преследовали разумную цель, хотя ты и решил, что я только шулки ради выпрашиваю от яйца». «Однако же я и вправду полагал, что спущусь вниз поумневшим, Аполлоний, — возразил Дамид, — ибо приходилось мне слышать и об Анаксагоре Клазомелском, как наблюдал он небо с вершины ионийского Миманта, и о Фалесе Милетском, как созерцал он звезды с соседней Микалы. Говорят, что иным такой наблюдательной вышкой служит Пангей, иным — Афон, а я вот взобрался на куда как высочайшую высоту, и все-таки спущусь ничуть не мудрее, чем прежде». — «Так ведь и они не стали мудрее, — сказал Аполлоний, — ибо хотя с подобных возвышенностей небеса кажутся синее, звезды больше, и видно, как солнце восходит из ночной тьмы, но ведь все это и раньше было известно овчарам и козопасам. Ни Афон, ни прославленный песнопевцами Олимп не явят восходящему, сколь печется бог о роде человеческом или сколь угоден богу почет от людей, или что есть добродетель или что есть справедливость, или что есть смиренномудрие. Прозреть можно лишь душою, ибо ежели чистою и беспорочною устремится она к святости, то воспарит куда выше вершин Кавказа — вот это и хотел я тебе разъяснить».

6. Перевалив через горы, путники вскоре повстречались с людьми, едущими на слонах, — то были обитатели равнин между Кавказом и рекой Кофеном, дикие хозяева слоновых стад, хотя порой передвигаются они и на верблюдах, ибо для скорого путешествия индусы используют верблюдов, способных пробежать за день тысячу стадиев, ни разу не склонивши колен. Итак, один из индусов, скакавший на таком вот верблюде, приблизясь, спросил проводника, куда направляются чужеземцы, а узнав об их намерениях, тут же известил обо всем остальных кочевников, которые с радостными криками стали зазывать путников подойти поближе, а когда те подошли, угостили их пальмовым вином, пальмовым же медом, и, наконец, мясом только что освежеванных львов и барсов. Приняв все, кроме убоины, Аполлоний с товарищами повернули на восток, держа путь в страну индусов. Когда они полдничали около родника, Дамид протянул Аполлонию чашу упомянутого индийского вина и сказал: «Вот тебе услада, Аполлоний, от Зевса

Спасителя, ибо давно ты не пил». Помянув Зевса, он совершил возлияние и добавил: «Надеюсь, ты не отвергнешь этот напиток, как отвергаешь сок лозы». Рассмеявшись, Аполлоний спросил: «Я ведь и от денег отказываюсь, не так ли, Дамид?» — «Клянусь Зев сом, — отвечал тот, — ты не раз уже это доказывал!» — «Стало быть, — продолжал Аполлоний, — мы не прельщаемся монетами, отвергая золото и серебро, хотя и видим, как охочи до денег не только обычные люди, но даже и цари. Ну, а ежели кто-нибудь даст нам вместо серебряной медную, или позолоченную, или фальшивую монету? Уж не принять ли нам ее потому лишь, что прочие в нее не вцепились? Вот у индусов, например, в ходу монеты из самородной и черной меди — и, разумеется, попавши в Индию, всякий должен за все расплачиваться именно такими деньгами. Так что с того? А когда бы давешние добрые кочевники предложили нам еще и денег, разве ты, Дамид, видя, как я отказываюсь, стал бы меня наставлять и поучать, объясняя, что деньги — это монеты, отчеканенные римлянами или мидийским царем, а тут-де нам дают нечто совершенно иное, изобретенное индусами? Да что ты сам бы обо мне подумал, если бы убедил меня подобными речами? Разве ты не решил бы, что я лицемер и бросил философию, как трусливый воин бросает щит? К тому же ежели кто и бросит щит, то, по слову Архилохову, добудет себе новый, ничуть не хуже брошенного, а как воротить себе опозоренную и покинутую философию? Отказ от всякого вина мне Дионис еще простит, но ежели предпочту я вино пальмовое вину виноградному, то такой выбор наверняка опечалит бога, и скажет он, что дар его поруган, а между тем Дионис совсем близко от нас, ибо ты слышал слова проводника, что отсюда недалеко до горы Нисы, где бог этот совершает множество чудес. Притом не только виноград пьянит людей, о Дамид, но точно так же хмелеют они и от пальмовой браги, — право же, нам уже не раз случалось видеть индусов, одурманенных этим напитком: одни плясали до упаду, а другие что-то напевали, кляня носом, совсем как наши пьяницы, в неурочный час бредущие с ночной попойки. Да и сам ты, без сомнения, считаешь этот напиток настоящим вином — ведь им ты совершил возлияние Зевсу, молясь, как молятся над вином. Все сказанное, Дамид, я говорю в свою защиту, ибо не намерен отвращать от питья ни тебя, ни наших спутников, более того, я даже готов позволить вам есть убоину, потому что вижу, что пост не идет вам на пользу, хотя и пошел некогда на пользу любомудрию, коему был я предан с малых лет». Товарищи Дамида обрадовались этим словам и в особенности разрешению от поста, полагая, что сытнейшая пища скрасит тяготы пути.

8. Наконец, Аполлоний и его спутники переправились через Кофен — сами на лодках, а верблюды вброд, ибо река еще не достигла берегов — и оказались в местности, подвластной царю, где возвышается Ниса, вплоть до самой вершины покрытая посевами, словно лидийский Тмол, и доступная восхождению, ибо землепашцы проложили на склонах тропинки. По собственным рассказам путешественников, взобравшись на гору, они обнаружили там святилище Диониса, которое якобы сам Дионис устроил себе во славу, окружив кольцом лавровых деревьев такой участок земли, какой требуется для соразмерного храма. Стволы лавров увиты виноградом и плющом, а посреди капища воздвигнут кумир бога, ибо он предусмотрел, что со временем деревья разрастутся, и ветви их образуют свод, а ныне это сбылось, так что ни дождевая влага, ни порывы ветра не достигают святилища, в коем находятся еще и серпы, и корзины, и точила, и прочие принадлежности Диониса-виноградаря — все из золота и серебра. Кумир изваян из белого камня и являет образ молодого индуса. Когда бог веселится, сотрясая Нису, то города в долине слышат его и радуются вместе с ним.

9. Касательно Диониса эллины несогласны с индусами, да и сами индусы расходятся во мнениях. По-нашему, он из Фив пошел на Индию военным и вакхическим походом, о чем свидетельствует, в числе прочего, и пожертвование его в Пифийское святилище, хранящееся в тамошней сокровищнице, — это индийское серебряное блюдо с надписью: «Дионис, сын Семелы и Зевса, от индусов — Аполлону Дельфийскому». А вот индусы, живущие в окрестностях

Кавказа и на берегах Кофена, утверждают, будто Дионис явился к ним ассирийским гостем, хотя и знавшим фиванские обряды. Однако индусы, населяющие междуречье Инда и Гидраота, а также обитающие на пространствах вплоть до Ганга, говорят, что Дионис — сын реки Инда, а уж к нему-де явился фиванец, позаимствовал у него тирс и перенял тайные священнодействия — он-то и назвал себя сыном Зевса, объявляя, будто до самого рождения жил в отцовском бедре и по этой причине получил от него гору Мер (Бедро), что по соседству с Нисой, а на Нисе якобы он во славу индийского Диониса взрастил виноградные лозы от побегов, принесенных из Фив. По их словам, на Нисе свершал дионисийские священнодействия также и Александр, однако обитатели Нисы говорят, что Александр вообще не поднимался на гору, ибо хотя и желал этого по своему честолюбию и пристрастию к старине, но опасался, как бы его македоняне, давным-давно не выдавшие винограда и очутившиеся в винограднике, не начали бы томиться по дому, — или, приобвыкнув уже к воде, не захотели бы вновь отведать вина — поэтому, помолясь Дионису и принеся жертвы у подножья горы, он обошел Нису стороной. Я знаю, что кое-кому вышесказанное не внушит доверие, ибо соратники Александра так и не написали правды об этом происшествии, но тем более надлежит мне держаться правды, к коей они не стремились, потому что в противном случае не лишили бы Александра заслуженной хвалы — ведь куда достославнее ради стойкости войска не взойти на гору, нежели, как утверждают иные повествователи, взобраться на вершину веселия ради.

10. Дамид говорит, что не видал Бесптичьей скалы, находящейся по соседству с Нисой, но в стороне от прямого пути, с коего их проводник боялся свернуть. Впрочем, он передает, что ему довелось слышать, будто скала эта была покорена Александром, а Бесптичьей зовется не потому, что имеет в высоту пятнадцать стадиев, ибо священные птицы летают и выше, но потому, что на вершине ее якобы имеется расселина, затягивающая парящих над нею птиц, — такое можно увидеть и в Афинах, в преддверии Парфенона, и во многих местах Фригии и Лидии. Вот почему скала эта именуется Бесптичьей.

11. По дороге к Инду повстречался им отрок лет тринадцати, едущий на слоне, да еще и погоняющий его стрекалом. Пока остальные дивились этому зрелищу, Аполлоний спросил Дамида: «Что, по-твоему, требуется от хорошего наездника?» — «Что же еще, — отвечал Дамид, — как не сидеть верхом и править лошадь, да поворачивать ее уздой, да наказывать за непокорность, да еще следить, чтобы не свалилась она в яму, в канаву или в пропасть, в особенности ежели путь лежит через болота и трясины?» — «Неужто больше ничего мы не потребуем с тобой, о Дамид, от хорошего наездника? — продолжал расспрашивать Аполлоний. — «А еще, клянусь Зевсом, когда лошадь скачет вверх по крутому склону, он должен ослабить удила, а когда она спускается вниз, то он должен натянуть удила и не давать ей воли, а еще ему следует заботиться о ее ушах и гриве, да к тому же, по-моему, искусный наездник не станет злоупотреблять хлыстом — во всяком случае я думаю, что только такую езду стоит полагать достохвальной». — «Ну, а всаднику, отправляющемуся в поход, что требуется?» — «Все то же самое, Аполлоний, — отвечал Дамид, — а вдобавок он должен уметь нападать и защищаться, наступать и отступать и теснить врагов, да так, чтобы лошадь не понесла, испугавшись звона щитов, сверканья шлемов, боевых кличей и яростных воплей — все это, по-моему, также относится к искусству верховой езды». — «Что же ты скажешь, коли так, об этом отроке на слоне?» — спросил Аполлоний. «Он достоин особенного восхищения, Аполлоний, ибо, будучи столь мал, управляет столь великим животным, погоняя его стрекалом, — ты и сам видишь, как он цепляет слона стрекалом, словно якорем, не утрущаясь ни обличем исполинской твари, ни огромностью, ни силой. Все это я нахожу сверхъестественным и, клянусь Афиною! — никогда бы такому не поверил, когда бы услышал от кого другого». — «Ну, а если бы кто-нибудь пожелал продать нам этого мальчишку, ты купил бы его, Дамид?» — «Зевс — свидетель, я отдал бы за него все, что имею! По-моему, способность властвовать величайшим из вскормленных землей

созданий словно полоненную крепостью, доступна лишь тому, кто по самой сути своей могуч и свободен». — «А что же ты будешь делать с погонщиком, — вновь спросил Аполлоний, — если не купишь вместе с ним еще и слона?» — «Я поставлю его домоправителем, — отвечал Дамид, — и он будет начальствовать над моею челядью куда лучше, чем я сам». — «Разве ты не способен сам управиться со своими домочадцами?» — «Как ты управляешься, так и я управляюсь, Аполлоний, ибо как и ты, я покинул дом и пустился странствовать, любопытства ради изучая чужие края». — «Однако, когда бы ты и вправду купил мальчишку и было бы у тебя две лошади, одна для скачек, а другая для войны, то скажи-ка, Дамид, на которую ты бы его посадил?» — «Пожалуй на скаковую — я видел, что так поступают другие, ибо удержится ли он на боевом коне, привыкшем носить вооруженного всадника? Да мальчик и не сумеет, как положено воину, носить латы, шлем и щит! Разве по силам копье тому, кто и стрелы-то в руках не держал? В военном деле он вроде как заика». — «В таком случае, — возразил Аполлоний, — нечто иное, Дамид, погоняет и направляет слона, а вовсе не погонщик, пред коим ты от восхищения едва не простираешься ниц». — «Что же это такое, Аполлоний? — удивился Дамид. — Я не вижу на слоне никого и ничего, кроме отрока». На это Аполлоний ответил вот что: «Слон лучше всех прочих животных поддается приручению и, будучи хоть раз приневолен служить человеку, затем все готов от него снести, выказывая ему всяческое повиновение и ревностную любовь, так что с радостью, подобно малому щенку, берет пищу из человеческих рук, а подошедшего хозяина ласкает хоботом и позволяет ему даже класть голову себе в глотку, держа рот открытым, сколько потребуется — все это мы видели у кочевников. А еще — Зевс свидетель! — рассказывают, будто по ночам слоны оплакивают свою неволю, уже не трубя, как обычно, но горестно и жалостно стеная, однако ежели окажется человек близ скорбящего слона, тот, словно устыдившись, прерывает плач. Сам собою управляет слон, о Дамид, а потому и погоняет его не столько стрекало погонщика, сколько природное послушание».

12. Когда путники подошли к Инду, то увидели, как стадо слонов переходит реку, и услышали об этих животных следующее. Слоны бывают болотные, бывают горные, имеется также и равнинная порода. Ловят их для военных надобностей, ибо они идут в бои, неся на себе башню, в коей могут вместиться разом десять или пятнадцать индусов, которые стреляют из луков и мечут копья, словно из крепости. Да и сам слон владеет хоботом как рукой, пользуясь им для метания копий. Насколько ливийский слон больше нисейского жеребца, настолько же индийские слоны больше ливийских. О сроке жизни слонов и как они долговечны уже сказано другими, а наши путешественники встретили якобы близ Таксилы, величайшего города индусов, слона, коего местные жители умащали елеем и украшали лентами, ибо то был один из боевых слонов, сражавшихся в войске Пора против Александра, и сражался он столь храбро, что Александр посвятил его Солнцу. На этих его то ли бивнях, то ли рогах, надеты, говорят, золотые кольца, на коих вычеканено эллинскими письменами следующее: «Александр, сын Зевса, посвящает Аянта Солнцу» — Аянтом Александр назвал слона, полагая, что великое достойно великого. По расчетам местных жителей со времени битвы минуло целых триста пятьдесят лет, не говоря уже о годах, прожитых слонем до битвы. Юба, некогда правивший ливийскими племенами, рассказывает, будто в древности ливийцы бились на слонах, причем у одних слонов на бивнях тавром была крепость, а у других никакого тавра не было. Далее он повествует, что, когда ночь прервала сражение, то меченые слоны, обессилев, бежали в Атласские горы, и он сам четыреста лет спустя якобы поймал одного из беглецов, у которого на бивне оказалось глубокое тавро, нимало не стертное временем. Упомянутый Юба называл слоньими бивни рогами, потому что растут они от висков, не стачиваются один о другой и остаются как выросли, а не падают и не обновляются, подобно зубам. Однако я с такими доводами согласиться не могу, ибо рога, хотя и не всякие, но по крайней мере у оленей, также падают и обновляются, что же до зубов, то у людей все они, действительно, падают и обновляются, а вот среди животных нет ни одного, чей клык или резец выпал бы сам по себе, или, выпавши, вырос бы заново —

ведь природа оснащает звериные челюсти зубами, дабы снарядить их для боя. Опять же рога, начиная от самого корня, каждый год наращивают годовое кольцо, чему доказательством козлы, быки и бараны, между тем как зубы вырастают однородными и — если только не повредить их — навсегда таковыми остаются, ибо вещество зуба крепостью подобно камню. К тому же рогами обладают лишь парнокопытные животные, а у слонов на ногах пять ногтей и много пальцев, которые не сливаются в копыто, так что подошва у слона мягкая. И еще: всех рогатых тварей природа снабдила полыми костями, из коих и прорастают полые же рога, а между тем слоновьи бивни сплошь костяные, и ежели расщепить эту сплошную кость, то посередине обнаружится лишь узкий желобок, точно как в зубе. У болотных слонов бивни сизые, рыхлые и для рукоделий негодные, ибо слишком часто в них попадаются трещины или бугры, мешающие резчику; бивни горных слонов, хотя и меньше размером, однако белы достаточно, да и в работе хороши; но наилучшие бивни у слонов с равнины — превосходные огромностью и белизной, а резцу столь послушные, что любой желаемый вид обретают в человеческих руках. Касательно же нравов слонов надлежит мне отметить следующее: слонов, выловленных на болотах, индусы считают скудоумными и слабосильными, горных — злонравными, коварными и недоступными приручению, кроме как по собственной их воле; а вот слоны с равнины якобы и добродушны, и покорны, и к подражанию склонны — они и пашут, и пляшут, и бьют ногами оземь в лад со свирелью.

14. Итак Аполлоний увидел слонов, переправлявшихся через Инд: в стаде было голов тридцать и среди всех меньший — вожак; а те, что покрупнее, перетаскивали детенышей на бивнях, обвинив их для надежности хоботом. При этом зрелище Аполлоний обратился к Дамиду с такими словами: «Глянь, никто не учил их всему этому, но поступают они, сообразуясь с природной смекалкой и здравым смыслом. Ну разве не тащат они своих отпрысков точно как настоящие носильщики увязанную поклажу?» — «Я вижу, Аполлоний, сколь благоразумно и мудро их поведение, — отвечал Дамид, — но почему же в таком случае ведется между пустозвонами нелепое прение, врождена или не врождена привязанность к детям? Пример вот этих слонов вопиет, что привязанность к детям врождена, ибо они не могли, подобно прочему, научиться ей от людей, потому что и с людьми-то никогда не жили; лишь природное чадолюбие побуждает их к попечению и заботе о потомстве». — «О слонах и говорить не приходится, Дамид, — возразил Аполлоний, — ибо слон разумом и здравым смыслом уступает, пожалуй, только человеку; куда убедительнее для меня пример медведей: дикостью своей они превосходят всех зверей, а тем не менее на все готовы ради медвежат. Да и у волков, столь приверженных к хищности, волчица охраняет щенков, а супруг доставляет ей пропитание, дабы отпрыски его были целы. Равным образом вспоминаются мне самки барсов, со всю пылкостью своего нрава радующиеся материнству, ибо в эту пору дозволено им повелевать самцами и властвовать в семье, а самцы все от них сносят ради потомства. Также и о львицах иногда рассказывают, будто питают они страсть к барсам и привечают их в львиных логовах в долине, однако лишь приблизится время родов, бегут они в горы и следуют повадкам барсов, ибо чада их появляются на свет пятнистыми. Потому-то львицы и прячут своих детенышей, вскармливая их в чаще лесов, и прикидываясь, словно пропадают там целыми днями ради охоты, — стоит проведать обо всем этом львам, они тут же разрывают детенышей на части, избавляясь от незаконного потомства. Ты, конечно, встречал у Гомера рассказ о том, как лев впадает в ярость и напрягает всю силу для битвы за своих львят. А о грозной тигрице рассказывают и в этих краях, и на берегах Красного моря, будто она подходит к самому кораблю, умоляя вернуть пойманных тигрят, и ежели ей их воротят, то удаляется она в радости, а ежели уплывает корабль, то ревом оглашает она море, а порой и умирает на берегу. А кто не знает обычая птиц? Так, например, орлы и аисты не достроят гнезда, прежде чем не приладят к постройке одни — орлиный щипец, другие — светозарный самоцвет, дабы отведать змей и воспрепятствовать покраже яиц. Да и наблюдая морских обитателей, пусть и не дивимся мы чадолюбию добросердечных дельфинов,

однако можем ли не дивиться китам, тюленям и прочим живородящим? Я самолично видел в Эгах содержащуюся в зверинце тюлениху, которая столь сильно скорбела о детеныше, рожденном и умершем в неволе, что три дня не принимала пищи, хотя вообще тюлени — чрезвычайно прожорливые создания. А разве кит не прячет своих отпрысков в пещере собственного горла всякий раз, как спасается бегством от кого-то или чего-то, еще более огромного, чем он сам? Да и ехидна, увидев порожденных ею змей, высовывает язык, дабы облизать и приласкать их, ибо никак нельзя нам принимать на веру, Дамид, дурацкие рассказы, будто-де ехидны рождаются без матери — подобное мнение не согласуется ни с природою, ни с опытом». «Итак, ты готов, — сказал Дамид, — восславить Еврипида за ямбический стих, вложенный им в уста Андромахи: Ужель душа людская Не в детях?

«Я согласен, — отвечал Аполлоний, — что в словах этих заключена божественная мудрость, но было бы куда мудрее и правдивее, когда бы стих относился ко всем живым тварям». — «Тогда тебе пристало, Аполлоний, изменить этот ямб, дабы звучал он так: Душа всего живого В детенышах. И я согласен с тобой — это гораздо лучше!»

15. «Однако скажи мне: разве в начале нашей беседы не сошлись мы па том, что слоны мудры и в делах смекалисты?» — «По справедливости рассудили мы так, Дамид, — отвечал Аполлоний, — ибо если бы не руководил этим животным разум, то не удалось бы выжить ни ему самому ни племенам, среди коих оно обитает». — «Но тогда почему же, — продолжал Дамид, — стадо переправляется через реку таким бестолковым и несообразным способом? Ты же видишь: впереди идет самый маленький слон, за ним чуть больший, потом другой — еще побольше, а все великаны тащатся в хвосте. Между тем им следовало бы идти в обратном порядке, дабы наибольшие слоны были для остальных защитой и оплотом». — «Напротив, — возразил Аполлоний, — ибо, во-первых, они сейчас, по-видимому, стараются бежать от людей, с коими мы вскоре повстречаемся, потому что они идут по слоновому следу, а в подобном случае, действительно, надлежит сильнейших ставить замыкающими — точно так делается и на войне, а посему тебе нельзя не признать, что слоны искусны в строе. А, во-вторых, если бы при переправе впереди шли самые большие животные, то остальные не могли бы судить, высока ли вода, и можно ли им идти вброд, ибо там, где для великанов брод неглубок и удобен, всем прочим он может быть тяжел и опасен, окажись их рост ниже уровня воды, — ну, а ежели самый маленький слон сумеет пройти, то и для остального стада это знак, что препятствий к переправе нет. Притом, когда бы более рослые слоны м переправились первыми, то для менее рослых река оказалась бы еще глубже, ибо первые тяжестью тела и грузной поступью непременно примяли бы донный ил, между тем как маленькие слоны и этим не могут повредить большим, потому что те глубоко в воду не погружаются.

16. Я самолично отыскал в сочинении Юбы главу о том, как слоны помогают друг другу, спасаясь от охотников, и как они вступаются за обессилевшего, а ежели выручат его, то обступают словно лекари и смазывают ему раны соком алоэ». И часто вели они столь же ученые беседы, едва находилась для этого достойный повод.

17. Об Акесине Неарху и Пифагору говорили, что река эта впадает в Инд и что в ней водятся змеи длиною до семидесяти локтей — и все это, по словам наших путешественников, точно так и есть, а у меня имеется про запас еще и рассказ о драконах, ловлю коих описывает Дамид. Приблизясь к Инду и желая переправиться на другой берег, путешественники стали расспрашивать вавилонянина, знает ли он что-нибудь о реке и о переправе, но тот отвечал, что никогда реку не переплывал и не имеет понятия, как это делается, а на вопрос: «Почему же ты не нанял проводника?» — возразил: «Есть кому проводить нас!» — и показал им нарочно предназначенное для такого случая послание, заставившее их вновь подивиться человеколюбию и дальновидности Вардана. Послание это было к наместнику прибрежной области Инда: хотя он и не подчинялся Вардану, однако тот напоминал об услугах, ему

оказанных, и, не требуя за них воздаяния — ибо не в его-де обычае торговаться о благодарности, — писал, что будет весьма признателен, ежели наместник окажет Аполлонию гостеприимство и поможет продолжить путешествие. Кроме того, царь снабдил проводника золотом, дабы передать Аполлонию в случае нужды — да не доведется тому ожидать благоденний от кого другого. Индус, получив послание, объявил себя чрезвычайно польщенным и окружил Аполлония столь великим почтением, словно тот был поручен ему индийским царем: он предоставил гостям свой собственный роскошный корабль, плоты для верблюдов и проводника по всей области в пределах Гидраота, а также написал к своему царю, дабы тот не уступал Вардану в попечении о божественном эллине.

18. Итак, они переправились через Инд в судоходной его части — ширина русла там около сорока стадиев. Об Инде пишут, что течет он с Кавказа и уже в истоке своем полноводнее всех судоходных азиатских рек, из коих многие к тому же в него впадают, так что подобно Нилу Инд питает землю индусов, насыщая ее илом — поэтому индусы и засевают свои поля на египетский лад. Этим утверждениям я не решусь противопоставить сведения о снегах на вершинах Эфиопских и Катадупских гор, а равно не решусь и спорить с ними в рассуждении того, что Инд не может вполне уподобиться Нилу, коль скоро в истоках его нет тающих снегов. Более того, мне известно, что бог поселил эфиопов и индусов на противоположных краях земли, сделав их равно черными — как тех, кто обитает у заката солнца, так и тех, кто обитает у восхода, — но разве было бы возможно подобное совпадение, когда бы и тут и там зимою не стояла бы летняя жара? А если солнце припекает землю круглый год, откуда возьмется снег, да притом столь обильный, чтобы питать водою реки и заставлять их разливаться? А если даже в этих солнечных краях и бывают снегопады, то произойдет ли от таяния снегов такое море воды, чтобы напитать реку, затопляющую весь Египет?

19. При переправе через Инд путешественникам случилось видеть множество бегемотов и крокодилов, подобных нильским; также и цветы Инда якобы совершенно сходны с нильскими. Что же до времен года, то зима в Индии солнечная и теплая, а летом стоит удушающая жара, однако по благодати божественного промысла в эту пору по всей стране часто льют дожди. И еще передают со слов индусов, будто когда наступает время разлива Инда, царь является к реке и приносит ей в жертву быков и жеребцов — только черных, ибо черный цвет для индусов предпочтительнее белого, как я думаю, потому, что и сами они черные, — а принеся жертву, царь якобы бросает в воду еще и золотую меру, отлитую по образцу хлебной меры. Зачем царь все это делает, индусы не имеют понятия, но, по предположению Аполлония и его спутников, топят он меру то ли ради изобильного урожая, который именно такую мерой меряют земледельцы, то ли ради усмирения вод, дабы разливом своим не погубили они страну.

20. После того как путешественники переправились через реку, назначенный наместником проводник повел их прямым путем к Таксиле, где пребывает царь индусов. Обитатели этого края носят одежду из местного льна, плетеные из волокон папируса башмаки, а в случае дождя — также и шапку, а знать наряжается в виссон, и произрастает этот виссон якобы на дереве со стволом, как у белого тополя и с листьями, как у ивы. Аполлонию, по его собственным словам, виссон был приятен своим сходством с привычным ему небеленым холстом. Виссон вывозится из Индии в Египет для многих священных надобностей. Таксила по размеру едва ли уступает Ниневии и превосходно укреплена по образцу греческих городов; именно там и пребывал царь, правивший в то время державою Пора. Перед городской стеной путешественники увидели храм, сложенный из порфира и высотой не менее ста футов, а близ храма — святилище, то ли небольшое само по себе, то ли кажущееся таковым рядом с храмом, но притом окруженное колоннадой и заслуживающее восхищения, ибо стены его были обиты листовою медью и украшены картинами подвигов Пора и Александра: из самородной и черной меди, золота и серебра были изваяны слоны, кони, воины, шлемы и щиты, а копья, стрелы и мечи — целиком

из железа. Изображения эти были сходны со знаменитыми работами Зевксида или Полигнота, или Евфранора, столь изощренных в передаче светотени, протяженности, объема и сходства — не хуже, говорят, вышло и тут, притом что сочетание цветов было заменено сочетанием металлов. Да и сама по себе нравственная природа изображений была усадительна, ибо Пор воздвиг святилище после кончины Македонянина, который представлен на картинах побеждающим и спасающим раненого Пору и дарующим ему завоеванную Индию. Рассказывают, что Пор сильно скорбел после смерти Александра, оплакивая его как царя благородного и милосердного, и что при жизни Александра, когда тот уже покинул Индию, Пор хоть и был царем по праву, однако не повелевал индусами самодержавно и не издавал царских указов, но, как положено добронравному наместнику, все, что делал, делал именем Александра.

21. Не могу я в своем повествовании обойти также и нижеследующие рассказы об упомянутом Поре. Когда Александр готовился к переправе через Инд, и многие советовали Пору заключить военный союз с царями, правящими за Гифасом и Гангом, ибо Македонянин-де не станет тягаться с объединенными силами всей Индии, Пор отвечал так: «Ежели моим подданным не устоять без союзника, то лучше и мне не царствовать». А когда ему донесли, что Дарий взят в плен, он заметил: «Царь, но не человек». А когда погонщик, разукрасив слона, на коем Пор намеревался сражаться, сказал: «Вот этот слон и понесет тебя, государь», — то Пор возразил: «Ежели я останусь, каким был, то сам его понесу». А когда его уговаривали принести жертву реке, дабы не принимала она македонских плотов и сделалась непереходимой для Александра, он отказался, промолвив: «Негоже носящим оружие заниматься ворожбой». После битвы, когда даже Александру он показался божественным мужем сверхчеловеческой природы, один из родичей сказал ему: «Когда бы ты преклонился перед Македонянином тотчас, как только он переправился на наш берег, то ни сам ты, о Пор, не был бы побежден в битве и ранен, ни индусы не погибли бы в таком множестве». На это Пор отвечал: «Я слышал о честолюбии Александра и знал, что ежели преклонюсь перед ним, он будет видеть во мне раба, а ежели буду сражаться — царя. Я предпочел уважение жалости и не ошибся, ибо, явившись пред Александром таким, каким он меня узрел, я в один день все потерял и все приобрел». Вот каков был этот царь, судя по рассказам. И еще говорят, что красотой он превосходил всех индусов и что ростом он был выше всех людей, живших после троянского поколения, и что когда воевал он с Александром, то был совсем молод.

22. Проводя в храме долгое время ожидания, пока царю возвещали о приходе чужеземцев, Аполлоний спросил: «Скажи, Дамид, существует ли живопись?» — «Разумеется существует», — отвечал тот. — «Что же творится сим искусством?» — «Оно смешивает все, какие ни есть цвета: голубой с зеленым, белый с черным и красный с желтым». — «Но зачем? Не только же для раскрашивания восковых цветов!» — «Ради подражания — дабы изобразить собаку и коня, и человека, и корабль, и все, на что взирает солнце. Более того, и само солнце становится предметом изображения, порой влекомое четырьмя конями — в этом образе, говорят, оно является здесь, — а порой озаряющее факелом небеса — это когда живописуешь эфир и обитель богов». — «Стало быть, Дамид, живопись есть подражание?» — «А что же еще? Если не подражание, тогда получается, будто живописать — это глупо забавляться красками и только». — «В таком случае, что ты скажешь о небесных зрелищах, когда ветер разносит облака, и мы видим кентавров, козерогов и даже — клянусь Зевсом! — лошадей и волков? Неужели это тоже подражание?» — «Пожалуй». — «Тогда, о Дамид, не бог ли живописец? Не он ли, покинув свою крылатую колесницу, на коей свершает путь, правя дела божеские и человеческие, порой присаживается отдохнуть и забавляется рисованием, как дети, рисующие на песке?» Дамид покраснел, ибо этот нелепый вывод основывался на его же словах, однако Аполлоний, не желая унижать друга и не питая пристрастия к язвительным словопрениям, продолжал: «Впрочем, Дамид, ты ведь имел в виду вовсе не это, а скорее то, что подобные картины возникают на

небесах по случайному произволению божества, меж тем как мы, по природе склонные к подражанию, творим картины в соответствии с замыслом. Не правда ли?» — «Пожалуй, Аполлоний,— отвечал Дамид, — я предпочту такое решение, ибо оно более убедительно и здраво». — «Стало быть, Дамид, имеется два рода подражания: первый род мы могли бы определить как подражание посредством ума и рук — это и есть живопись, а второй род есть изображение посредством одного лишь ума». — «Отнюдь, — возразил Дамид, — ибо тогда надобно почитать живопись более совершенной, коль скоро доступно ей изображение посредством и ума и рук, а другой род есть в этом случае только часть живописи: ежели кто-нибудь, не будучи живописцем, примется познавать и подражать одним лишь умом, то и картины из рук его не выйдут». — «То есть ежели рука у него поражена недугом или поранена?» — «Да нет же, клянусь Зевсом! Если он не держал в руках ни грифеля, ни кистей, ни красок и ничего не смыслит в рисовании». — «В таком случае, Дамид,— промолвил Аполлоний, — мы оба сошлись на том, что подражание у людей от природы, а рисование от искусства — равно как и ваяние. По-моему, тебе не стоит настаивать, будто живописное изображение создается лишь сочетанием цветов, ибо древним живописцам хватало одной краски, и только по мере развития искусства использовать стали четыре краски, а затем и более. Живописью надлежит называть даже и нераскрашенный рисунок, сополагающий свет и тень, ибо и в таких изображениях видны сходство, облик, мысль, кротость, дерзость, хотя и при отсутствии красок, по каковой причине не переданы там ни кровь, ни цвет волос или бороды, а также одинаково выглядят и бледный и смуглый. Тем не менее, когда бы мы таким образом нарисовали какого-нибудь индуса, он непременно казался бы черным: приплюснутый нос, курчавые волосы, выдвинутый подбородок и блестящие глаза сделали бы очевидным для всякого разумного зрителя, что перед ним изображение черного индуса. Стало быть, я могу утверждать, что созерцающий живопись должен быть причастен подражанию: никто не похвалил бы коня или быка на картине, когда бы не располагал представлением об изображаемом животном, и никто не восхищался бы Тимомаховым безумным Аянтом, когда бы не держал в голове мысленного образа Аянта и привычного воспоминания о том, как Аянт под Троей перерезал стадо овец, а затем сидел, обессиленный и сломленный, замышляя самоубийство. Что же до этих искусных созданий Пора, то мы, Дамид, не должны объявлять их ни только кузнечным ремеслом, ибо они изображают картины, ни только живописью, ибо они выкованы кузнецом, но надлежит нам почитать их изощренным художеством единого мужа, живописца и кузнеца вместе — таков был и сработанный Гефестом Ахиллов щит у Гомера. Картины эти полны убивающих и убитых — всяк скажет, что земля хоть и медная, а кровотоцит».

23. Пока Аполлоний рассуждал таким образом, явились к нему царские гонцы с толмачом, дабы пригласить его быть гостем у царя в течение трех дней, ибо далее запрещено было чужестранцам оставаться в столице. Итак, его повели во дворец. Я уже описывал выше городские укрепления, однако рассказывают также, что сам город наподобие Афин застроен тесно и беспорядочно, а дома поставлены таким образом, что ежели смотреть снаружи, то видно лишь одно жилье, а ежели зайти вовнутрь, то обнаруживаются еще и подземные помещения, углубленные в землю настолько же, насколько возвышается надземная часть постройки.

24. Путешественники увидели также храм Солнца, где содержится слои Аянт и стоят золотые изваяния Александра и изваяния Пора, отлитые из черной меди. Стены храма были отделаны алым камнем, и золото сверкало, испуская лучистое — словно рассветное — сияние. На самом алтаре были выложены из жемчуга иносказательные узоры? как это принято во всех варварских святилищах.

25. Вокруг дворца не увидели они никакой пышности, не было там ни телохранителей, ни стражников, но обретались лишь немногие слуги, как это обычно в состоятельных домах, да три

или четыре посетителя, желавших, видимо, побеседовать с царем. Такой порядок понравился путешественникам куда больше, чем вавилонская роскошь, и удовольствие это усугубилось, когда вошли они во внутренние чертоги, ибо покои, дворы и весь вообще дворец отличались весьма скромным убранством.

26. Тут Аполлоний решил, что царь индусов привержен к мудрости, а потому обратился к нему через толмача со следующими словами: «Я радуюсь, государь, взирая на твое любомудрие». — «А я сверх меры рад, что ты так обо мне думаешь», — отвечал царь. — «Обычай у вас таков или сам ты поставил своей власти столь скромные пределы?» — «К узаконенной умеренности я добавляю собственную, так что, имея больше других, нуждаюсь в немногом, ибо многое полагаю принадлежащим моим друзьям». — «Блажен ты в сокровищах, ежели серебру и золоту предпочитаешь друзей, от коих приумножается для тебя всяческая благодать!» — «Я делю свое богатство также и с врагами, — возразил царь, — ибо варвары, обитающие на рубежах моей страны, постоянно затевают раздоры и совершают разбойные набеги на мои земли, однако же я усмиряю их все теми же деньгами, так что эти дикари еще и несут у меня пограничную службу, не только не вторгаясь к нам, но, напротив, сдерживая свирепость сопредельных варваров». Тут Аполлоний спросил, давал ли варварам отступного также и Пор. «Пор любил войну, а я люблю мир», — отвечал царь, и этими словами он еще пуще порадовал Аполлония, совершенно его обаяв, так что впоследствии тот, отчитывая Евфрата за измену философии, говорил: «Будем уважать хотя бы индуса Фраота» — такое имя носил царь индусов. Когда один наместник, щедро награжденный царем, хотел увенчать его золотою митрой, разукрашенной самоцветами, Фраот сказал: «Если бы я и был охоч до подобных вещей, то все-таки отверг бы их ныне и обнажил бы голову, встретясь с Аполлонием. Но поелику я и прежде не видел толку во всех этих увенчиваниях, то зачем сейчас стану наряжаться, пренебрегая гостем и забывая собственные правила?» Затем Аполлоний спросил царя, чем он трапезует. «Вина я пью столько же, сколько возливаю Гелиосу, — отвечал тот, — а то, что добываю на охоте, едят другие, меж тем как сам я довольствуюсь самой потехой. Пища моя — овощи, финики и пальмовая мякоть, а также все, что вспоено рекой. Многие плоды приносят мне и те деревья, которые взрастил я вот этими руками». Аполлоний слушал с превеликим удовольствием и поглядывал на Дамида.

27. обстоятельно потолковав о пути к брахманам, царь велел оказать вавилонскому проводнику гостеприимство, полагавшееся всем, кто являлся из Вавилона, а проводника, посланного наместником, отпустил, дав ему на дорогу припасов. Затем он отослал толмача и, взяв Аполлония за руку, спросил его: «Не пригласишь ли ты меня отобедать?» Вопрос этот он задал по-гречески. «Почему же ты не говорил со мной так с самого начала?» — удивился Аполлоний. «Я боялся показаться дерзким и не сознающим своего случаем сужденного варварства, — отвечал царь, — однако, очарованный тобою и заметив твою доброжелательность, я не мог таиться долее. Что же до греческого языка, то я владею им вполне и многократно докажу тебе это». — «Но почему же, — спросил Аполлоний, — ты сам не приглашаешь меня к обеду, а велишь мне тебя пригласить?» — «Потому что ты знатнее меня, ибо мудрость царственнее царственности» — и с этими словами царь повел Аполлония и его спутников туда, где обычно свершал омовения. Купальня представляла собой сад в стадий длиною, посреди коего был вырыт пруд, наполнявшийся прохладною питьевой водой, а на каждой стороне его находились ристалища, где царь на эллинский лад упражнялся в метании копья и диска, ибо телом был весьма крепок, отчасти благодаря молодым годам — ему минуло двадцать семь лет, — отчасти благодаря упомянутым упражнениям. Вдоволь натешившись ристалищем, нырнул он в воду и стал упражняться в плавании. Наконец, искупавшись, все отправились в трапезную, увенчанные, ибо таков обычай индусов, когда пируют они у царя.

28. Никак нельзя мне умолчать и о распорядке пиршества, столь подробно описанного Дамидом. Царь и его ближайшие родичи — человек пять — возлежали на подушках, все прочие

сидели на скамьях. Вокруг стола, подобного алтарю — высотой до колена взрослого мужчины, а местоположением посреди трапезной — кружком разместились тридцать пирующих. Стол был устлан ветвями лавра и другого дерева, весьма сходного с миртом и служащего индусам источником благовоний; кроме того на столе находились рыба и птица, а рядом с ними — поданные целиком львы, антилопы и кабаны, и еще седла тигров, ибо прочие части этого животного почитаются несъедобными, потому что новорожденный тигренок якобы сразу простирает передние лапы к восходящему Солнцу. Каждый участник трапезы, вставши, шел к столу, выбирал желаемое, отрезал себе кусок и, воротившись на место, насыщался, обычно заедая мясо хлебом. Когда все вдоволь поели, внесли серебряные и золотые чаши, из расчета по одной на десятерых пирующих: пили из них внаклонку, словно на водопое. Пока гости пили, были приведены им для забавы лихие скоморохи, изощренные в своем искусстве: так некоего отрока, похожего па плясуна, подбрасывали вверх и тотчас же метали в него стрелу, пока он был еще наверху и не успел опуститься на землю — отрок, перекувырнувшись, избегал стрелы, но если бы ошибся, наверняка был бы пронзен наповал, ибо лучник заранее обошел гостей, показывая им острие и давая проверить оружие. А еще стреляли сквозь кольцо, и стреляли в волос, и один лучник поставил своего сына около деревянной доски и очертил его стрелами — все это развлекало пирующих, и во время попойки головы их оставались ясными.

29. Товарищи Дамида дивились столь точному прицелу и восхищались меткостью стрелков, однако Аполлоний, евший вместе с царем, поелику оба они придерживались одинаковых правил, был не слишком увлечен забавой и спросил царя: «Скажи, государь, откуда ты научился греческому языку и откуда вокруг тебя столько любомудрия? Не думаю, что всем этим ты обязан учителям, ибо подходящих учителей в Индии нет». Улыбнувшись, царь отвечал: «В старину люди спрашивали чужестранцев, не разбойники ли они, ибо слишком часто те промышляли этим грозным ремеслом, — а вы, по-моему, склонны спрашивать чужаков, не занимаются ли они философией, ибо полагаете, будто всякому встречному доступно столь божественное призвание. Мне известно также, что между философией и разбоем у вас разницы нет: по рассказам, люди вроде тебя попадают редко, а в большинстве своем философы, словно как воры, рядятся не по мерке, да еще и чванятся, нацепив чужое тряпье. И роскошествуют они прямо-таки по-разбойничьи, зная, что пребывают на милости правосудия — потому-то они столь преданы чревоугодию, любострастию и щегольству. А причина тут, по моему разумению, в том, что есть у вас законы о смертной казни для фальшивомонетчиков и еще о какой-то там казни за приписывание детей, но за подлог и порчу философии не карает никакой закон и никакая власть этому не препятствует.

30. У нас, напротив, в любомудрие посвящены лишь немногие, а испытание им такое: юноша, достигший восемнадцати лет, — а этот возраст, насколько я знаю, и у вас служит мерой возмужалости, — должен переправиться через Гифас к мужам, коих намерен посетить и ты, по прежде ему надлежит заявить принародно, что хочет он предаться любомудрию, дабы всякий желающий мог ему воспрепятствовать, ежели он уходит нечистым. Под чистотой я разумею прежде всего происхождение по отцу и матери, да не будет никто из них уличен в чем-либо постыдном, затем деда и бабу, а также прадеда и прабабу — не был ли кто из них буяном или распутником, или бесчестным стяжателем. Если не обнаружится у предков никакого изъяна или позора, наступает пора проверить и испытать самого юношу: во-первых, довольно ли он памятлив, во-вторых, по природе ли скромнен или только прикидывается скромным, затем — не склонен ли к пьянству или к обжорству, или к бахвальству, или к насмешливости, или к чванству, или к сквернословию, слушается ли отца и мать, учителей и воспитателей, а главное — не злоупотребляет ли своей миловидностью. Сведения о родителях и о предках собирают по устным свидетельствам и по городским записям, ибо, когда умирает индус, то в дом его является чиновник, по закону обязанный описать, какую жизнь вел усопший, и ежели чиновник этот

допустит себя обмануть или сам допустит обман, то по закону в наказание никогда уже не сможет занимать какую-либо должность, потому что извратил он жизнь человеческую. Мнение о юношах составляют на основании их наружности, ибо многое о нраве человека говорят его глаза, и многое можно понять и заметить по очертанию бровей и щек — вот так-то мудрые и ученые мужи наблюдают людские умы, словно отражения в зеркале. Высоко ценят у нас философию — почет ей ото всех индусов, а стало быть, взыскующие науки непременно должны быть многократно испытаны и проверены. Ну вот, я довольно объяснил тебе, как постигаем мы философию от учителей и как получаем доступ к философии через испытание, а теперь расскажу о себе. Дед мой был царем и мне тезкою, отец же мой был частным человеком, ибо осиротел совсем юным и, по индийским законам, опекунами ему были назначены двое родичей. Однако, клянусь Солнцем, царские обязанности они исполняли недобросовестно и несообразно, так что подданные тяготились их властью, и шла о ней дурная молва. Наконец некоторые из вельмож составили заговор, напали на правителей во время праздника и убили их как раз, когда они приносили жертву Инду. Дорвавшись до власти, заговорщики стали управлять государством сообща, а отца моего, коему не минуло еще и шестнадцати лет, родня из страны отослала за Гифас к тамошнему царю — у того держава куда богаче и многолюднее моей, — и царь этот пожелал его усыновить, но отец мой от этого отказался, объяснив, что не следует противиться Случаю, лишившему его даже и собственного царства, а взамен попросил позволить ему любомудрия ради уйти к мудрецам, ибо тогда-де и собственные горести легче будет ему стерпеть. А когда царь захотел вернуть ему отеческий престол, он отвечал: «Если ты поймешь, что я стал истинным философом, верни мне царство, а если нет — позволь мне идти своим путем». После этого царь самолично отправился к мудрецам и объявил, что будет им премного признателен, ежели позаботятся они об отроке, столь благородном от природы, да и мудрецы, разглядев в отце моем некое величие, рады были приобщить его к своей мудрости и благосклонно наставляли ретивого ученика. На седьмой год после этого царь занемог и в смертный час, послав за моим отцом, назначил его сонаследником державы вместе со своим собственным сыном, а также обручил его со своей подросшей дочерью. Отец же, увидев, что царевич окружен льстецами и погряз в пьянстве и других пороках, а к нему самому относится с подозрением, обратился к своему соправителю с такими словами: «Владей всем один и сам кормись со своей державы, ибо нелепо будет, ежели тот, кто не сумел удержать собственного царства, обнаглеет настолько, чтобы править чужим. Только сестру мне отдай — больше мне от тебя ничего не надо». И женившись на царевне, поселился он возле мудрецов, имея в уделе семь зажиточных деревень, каковые деревни царь дал в приданое за своей сестрой. Я — плод этого союза, и отец, образовав меня прежде по-эллински, затем отправил меня к названным мудрецам еще до достижения принятого возраста — минуло мне тогда лишь двенадцать лет, — а мудрецы воспитали меня, словно свое чадо, ибо ко всякому, кто явит им знание греческого языка, питают они особую приязнь, потому что, по их мнению, такой человек отчасти уже уподобился им.

32. Когда родители мои опочили почти одновременно, мудрецы велели мне отправиться в свои деревни и позаботиться о собственном имении, ибо минуло мне в ту пору девятнадцать лет. Однако деревни эти успел уже оттягать любезный мой дядюшка — даже участка, приобретенного отцом, не оставил он мне, ибо принадлежат-де все эти земли к царским владениям, а мне-де и того много, что позволено мне жить. Тогда, собравши складчину с материнских отпущенников, нанял я себе четырех провожатых. Как-то раз, когда читал я «Действо о Гераклидах», предстал предо мною гонец из отчизны, доставивший послание от преданного моему отцу человека, призывавшего меня переправиться через Гидраот и соединиться с ним ради возвращения нынешнего моего царства, ибо много-де надежд у меня воротить себе державу, ежели только действовать без промедления. Наверно некое божество привело мне на ум помянутое «Действо»! Итак, я внял знаменью и, переправившись через реку,

услыхал, что один из незаконных правителей умер, а другой осажден в этом вот дворце. Тогда я поспешил вперед, объявляя жителям попутных деревень, что я — сын имярека и явился ради своей державы, — а поселяне, увидев сходство между мною и дедом, радостно приветствовали меня и шли вослед, захватив с собой ножи и луки, так что делались мы день ото дня многочисленнее. Когда я подошел к воротам столицы, горожан обуял такой восторг, что они похватили факелы с алтаря Солнца, бросились за ворота и ввели меня в город, восхваляя многими песнопениями моих отца и деда. Самозванца же они замуровали в стену, как я ни возражал против подобного рода казни».

33. Тут Аполлоний перебил царя: «Ты, стало быть, и впрямь сыграл Гераклидов! Хвала богам за то, что промыслом своим споспешествовали они благородному мужу исполнить свое назначение! Однако расскажи мне об этих мудрецах: не они ли некогда подчинились Александру и, приглашенные к нему, рассуждали о небесах». — «То были оксидраки, — отвечал царь, — всегда остававшиеся независимым и воинственным племенем, — они утверждают еще, будто владеют мудростью, но в действительности ничего путного не знают. Подлинные мудрецы обитают между Гифасом и Гангом, а до этих краев Александр не добрался — не из боязни, а, как я полагаю, из-за неблагоприятных знамений. Впрочем, когда бы даже он переправился через Гифас и покорил всю округу, то все-таки не мог бы взять крепость, где обитают мудрецы, будь с ним хоть десять тысяч Ахиллов и тридцать тысяч Аянтов, ибо мудрецы не бьются с пришельцами, но отражают их, посылая знамения и бедствия, — таковы их святость и богоизбранность. Рассказывают, будто Геракл-египтянин вместе с Дионисом, покорив оружием индусов, отправились походом на мудрецов: соорудили осадные машины и попробовали пойти па приступ, а мудрецы никак не оборонялись, по, как казалось наступавшим, пребывали в покое — однако, лишь только воины приблизились, тотчас низверглись на них громы и молнии, прогоняя их и выбивая из рук оружие. Тогда-то, говорят, и лишился Геракл своего золотого щита, который мудрецы принесли в дар богам, отчасти из-за славы Геракла, отчасти из-за чеканных изображений на щите, ибо там был представлен сам Геракл; как он устанавливает Гадиру пределом земли, воздвигает скалы вместо пограничных столбов и выпускает воды Океана во внутреннее море, — из всего этого ясно, что Геракл был не фиванцем, но египтянином, явившимся в Гадиру и установившим рубеж земле».

34. Пока они так беседовали, коснулись их слуха звуки песни, сопровождаемой свирелью, и Аполлоний спросил царя, к кому обращено славословие. «Индусы поют царю колыбельную, когда отправляется он почивать, — отвечал тот, — да будет его сон полон добрых сновидений и да пробудится он поутру милостивым и милосердным к своим подданным». — «Ну, а сам ты как смотришь на это, государь? Ведь свирель поет для тебя». — «Я не насмехаюсь, ибо все должно идти по закону, хотя сам я не нуждаюсь ни в каких колыбельных: по-моему, когда царь правит праведно и кротко, то ему самому от этого еще лучше, чем подданным».

35. Побеседовав таким образом, улеглись они спать, а едва занялся день, царь первым зашел в опочивальню, где разместился Аполлоний с товарищами, и, нащупав кровать, на которой лежал Аполлоний, окликнул его и спросил, о чем он задумался, добавив: «Ведь не можешь ты спать, ежели пил лишь воду, презирая вино». — «А по-твоему пьющие воду не спят?» — возразил Аполлоний. — «Спят, но сон их легок и, так сказать, смежает лишь ресницы, а не разум». — «Напротив, он смежает и то и другое, — отвечал Аполлоний, — а, возможно, разум даже более, ибо пока разум не нашел успокоения, то и очам не знать сна. Безумцы не способны уснуть именно из-за возбуждения рассудка, ибо мысли их мечутся взад-вперед — потому и взор у них яростный и свирепый, словно у вечнобдящих змеев. Стало быть, государь, чтобы обстоятельно изъяснить необходимость сна и значение его для людей, надобно нам разобраться, почему трезвенник нуждается в сне менее, чем пьяница». — «Не мудрствуй лукаво, — промолвил царь, — право, ежели примешься ты толковать о пьяницах, то обнаружится, что они и вовсе не спят,

ибо помраченный разум наполняет их смятением и тревогой: заметь, что всякий, кто попробует уснуть, захмелев, непременно свалится с крыши, а потом еще и докатится до подвала и свалится туда, как, говорят, случилось с Иксионом. Но я-то имел в виду не пьяницу, а лишь человека, хоть и выпившего вина, но оставшегося трезвым, — а такому спиться куда лучше, чем совершенному трезвеннику».

36. Тут Аполлоний окликнул Дамида: «Мой собеседник превосходен и весьма изощрен в словопрении!» — «Я уже заметил, — отвечал Дамид, — что это, так сказать, „встреча с чернозадым“». Меня очень убеждают высказанные им доводы, — а потому пора тебе пробудиться и расправиться с ним». Приподняв голову, Аполлоний обратился к царю: «Ну что ж, я изъясню на основании твоих собственных слов, насколько слаще спится нам, пьющим воду. Ты ясно сказал, что у пьяниц рассудок помрачен, а сами они подобны безумцам, ибо случается нам наблюдать, как, захмелев, воображают они, будто видят две луны или два солнца. Однако выпившие поменьше порой остаются совсем трезвы, ничего такого им не чудится, и полны они благожелательности и веселья, кои охватывают их зачастую безо всякого житейского повода — эти люди упражняются в приговорах, хотя в суде и рта не открывали, или говорят о своем богатстве, хотя за душой у них ни гроша. А все перечисленное, государь, есть именно умопомешательство, ибо хмельное веселье расшатывает рассудок, так что я сам знаю многих, столь твердо уверенных в своем процветании, что они уже и почивать спокойно не в силах, а мечутся они во сне, ибо, как говорится: «большое богатство — большие хлопоты». Людьями изобретены снотворные зелья: испивши их или умастившись ими, человек сваливается и засыпает, как убитый, но, пробудившись от такого сна, пребывает в изумлении и не может понять, на каком он свете. Подобные зелья не столько напоят душу и тело, сколько высасывают из них последние соки, ибо навевают не настоящий и здоровый сон, но лишь погружают в полумертвое забытие или в беспокойную дрему, полную видений. Это касается даже и добросовестно изготовленных лекарств, и тут ты сразу со мной согласишься, если только не склонен к пустому препирательству более, нежели к выяснению истины. Между тем трезвенники вроде меня наблюдают сущее таким, каково оно есть, не расписывая и не воображая того, чего не существует; никогда не проявят они безрассудства или скудоумия, не станут дурачиться или попусту веселиться, но всегда они в здравом уме и исполнены рассудительности, будь то в сумерки или в рыночные часы, и не клюют они носом, даже когда бодрствуют в трудах до глубокой ночи. Сои не погоняет их, словно хозяин, гнувший под ярмо шеи тех, кто поработился вину, но пребывают они вольными и с поднятой головой, а ложась почивать, приемлют сон незамутненного душой, не лепеча глупостей о своем благоденствии и никого не виня в своих неудачах, ибо и к тому и к другому трезвая и неподвластная страстям душа одинаково готова — потому-то, беспечальная, почиет она сладким и спокойным сном.

37. Более того, пророческие сны — а это наибожественнейший из даров человеческих — душа прозревает легче, когда не замутнена она вином, но в чистоте приемлет и созерцает видение; потому-то толкователи снов, коих стихотворцы именуют толмачами сновидений, не станут объяснять видение, не расспросив прежде, в каких обстоятельствах оно явилось, ибо если видение явилось на рассвете среди утреннего сна, то они соглашаются признать его истинным прозрением души, уже освободившейся от винного дурмана, а если сон был вечерним или полуночным, когда душа еще пропитана и затуманена хмелем, то они в мудрости своей отказываются от толкования. Я покажу со всею очевидностью, что подобного же мнения придерживаются и боги, наделяющие пророческим даром лишь трезвые души. Был у эллинов, государь, прорицатель, звавшийся Амфиараем ...» — «Знаю, — отвечал царь, — ибо ты, по всей вероятности, говоришь о сыне Оикла — том, которого живьем поглотила земля, когда возвращался он в Фивы». — «Он и иные прорицает в Аттике, государь, посылая сновидения вопрошающим, а жрецы, привечая паломника, запрещают ему вкушать пищу в течение одного

дня и пить вино в течение трех дней, дабы восприял он пророчество ясною душою. Однако если бы вино было столь превосходным снотворным, то премудрый Амфиарий повелел бы своим почитателям придерживаться противных правил и являться в святилище, налившись вином, словно двуручные кувшины! Я могу перечислить множество оракулов, славных меж эллинов и варваров, где жрец вещает с треножника, напившись воды, но не вина. Да и ты, государь, полагаешь богоносцами и меня, и всех, пьющих воду, ибо мы избранники нимф и вакханты трезвости». — «Тогда не примешь ли ты и меня, о Аполлоний, в священный круг своих собратьев?» — спросил царь. «Разумеется, но только ежели ты не выказываешь своим подданным грубости, ибо любомудрие с его умеренностью и умиротворенностью сочетает в царственном муже достойные восхищения свойства, как это и видно у тебя; зато, государь, мелочность и грубость кажутся еще низменнее на такой высоте, так что злые языки могут счесть их проявлением спеси».

38. Побеседовав таким образом, они покинули опочивальню, ибо уже рассвело. Понимая, что царю пора потолковать с послами и прочими подобными особами, Аполлоний сказал: «Ты, государь, займись государственными делами, а мне позволь посвятить этот час Гелиосу, ибо должен я вознести к нему обычаем предписанную молитву». — «Да услышит бог твою молитву, — отвечал царь, — ибо благодать его на всех, для кого благодатью стала твоя мудрость! Что до меня, то я подожду твоего возвращения, ибо надобно мне рассудить несколько дел, в коих твое присутствие будет весьма полезно».

39. Воротившись с наступлением дня, Аполлоний полюбопытствовал, какие дела царь успел рассудить, но тот отвечал: «Нынче я не судил, ибо знамения были неблагоприятны». — «Неужто и в подобных случаях ты руководишься знаменьями, словно в путешествии или в военном походе?» — спросил Аполлоний. «Клянусь Зевсом, так, — промолвил царь, — потому что и тут есть опасность, как бы судящий не уклонился с верного пути». Аполлонию эти слова понравились, и он снова спросил, по какому же делу намерен царь вынести приговор, добавив: «Я вижу, что ты погружен в раздумье и колеблешься, какое вынести решение». — «Я, действительно, колеблюсь и потому ожидаю твоего совета, — сказал царь, — а дело такое. Истец продал ответчику участок, где было зарыто никому не ведомое сокровище, и лишь позже при вспашке обнаружился клад, золота. Продавший землю говорит, что имеет-де на него преимущественные права, ибо не стал бы продавать надел, если бы хоть заподозрил, что там зарыто такое богатство, — а купивший заявляет, что вправе пользоваться найденным в земле, которая сделалась теперь его собственностью. Оба рассуждают справедливо, а я покажусь глупцом, ежели велю им поделить золото, ибо так решают дела только старые бабки». Аполлоний в ответ промолвил следующее: «Оба спорщика не философы — это ясно уже из того, что препираются они о золоте. По-моему, наилучший приговор ты вынесешь, ежели будешь держать в уме, что боги в первую очередь пекутся о тех, кто доблестно взыскует мудрости, и лишь во вторую очередь о тех, кто не совершает преступлений и не замечен в несправедливости. Философам боги дарят способность должным образом судить о делах божеских и человеческих, а людям добрым, хотя и простым, дают они средства к существованию, дабы не обратились те в преступников, ощущая недостаток в необходимом. По-моему, государь, следует как бы взвесить тяжущихся на весах, разобравшись в жизни каждого из них, ибо не верю я, что боги изгнали истца с его собственной земли, если не был он негодяем, и что отдали они ответчику даже хранившееся под землей, если не был он лучше бывшего владельца». Оба тяжущихся явились назавтра, и продавший землю был уличен в развороте и небрежении жертвами, которые надлежало ему приносить местным божествам, а ответчик оказался человеком добрых правил и усердным в благочестии. Итак, мнение Аполлония возобладало: добродетельный покинул судилище, владея своим имуществом по воле богов.

40. После того как суд завершился таким образом, Аполлоний обратился к индийскому царю и сказал: «Сегодня третий день, как я твой гость, государь, а, стало быть, по закону завтра на рассвете следует мне удалиться». — «Закон не торопит тебя этим предписанием, — возразил царь, — и ты можешь задержаться тут на все утро, потому что явился после полудня». — «Мне приятно твое гостеприимство, — отвечал Аполлоний, — но, поистине, мне кажется, что ты ради меня мудришь с законом». — «О, когда бы ради тебя я мог вовсе упразднить его! Однако скажи-ка мне, Аполлоний, вот что: верблюды, на которых, говорят, вы приехали, везли вас от самого Вавилона?» — «Оттуда, ибо дал мне их Вардан». — «А смогут ли они везти вас дальше, пройдя уже столько стадиев от Вавилона?» Тут Аполлоний промолчал, зато заговорил Дамид: «Сей муж, государь, ничего не смыслит в путешествиях и ничего не знает о племенах, среди коих мы вскоре окажемся. Для него побывать в Индии — детская игра, как будто всюду под рукой будешь или ты, или Вардан! Вот и касательно верблюдов он тебе ничего не объясняет, а между тем они так плохи, что скорее мы их понесем, чем они нас, и потому надобны нам другие. Ведь ежели эти околеют где-нибудь среди индийских пустынь, нам останется только сидеть рядом, отгоняя коршунов и волков, да только от нас их никто не отгонит, когда придет наш черед подышать». — «В этом я вам помогу, — отвечал царь, — и дам других верблюдов — я так мыслю, что четырех вам будет довольно, — а наместник Инда отошлет в Вавилон еще четырех. У меня на Инде стадо верблюдов, сплошь белых». — «А не дашь ли ты нам, государь, также и проводника?» — спросил Дамид. «Да, и проводнику тоже дам верблюда и припасов, и еще напишу Иарху, старейшине мудрецов, чтобы принял он Аполлония как стоящего не ниже себя, а вас — как философов и спутников божественного мужа». Затем индийский царь наделил их также золотом и самоцветами и полотном, и множеством прочих даров, но Аполлоний сказал, что золота у него и так довольно, потому что Вардан все же дал потихоньку денег проводнику, а вот полотно он возьмет, ибо оно напоминает одежды исконных старожилков Аттики. После этого, взявши один из самоцветов, он воскликнул: «О драгоценный, как вовремя я отыскал тебя не без вмешательства божественного промысла!» — видимо прозрев в камне некую тайную и чудодейственную силу. Спутники Дамида также не приняли золота, однако набрали довольно самоцветов, дабы по возвращении домой посвятить их богам.

41. Итак, они оставались там и на следующий день, ибо царь не отпустил их, а дал им послание к Иарху, в коем было написано нижеследующее: «Царь Фраот учителю своему Иарху и сотоварищам его: радуйтесь! Аполлоний, муж премудрый, полагает вас мудрее себя и явился, дабы поучиться у вас. Итак, отошлите его не прежде, чем узнает он все, ведомое вам, и не пропадет ничто из науки вашей, ибо превосходит он всех людей памятью и красноречием. Да узрит он также и престол, на коем я восседал, когда ты, отец мой Иарх, венчал меня на царство. Спутники его также достойны похвал за преданность свою столь великому мужу. Желаю тебе и товарищам твоим всего наилучшего».

42. Путешественники выехали из Таксилы и после двух дней пути достигли равнины, где, по преданию, Пор бился с Александром, и увидели там ворота, кои, говорят, ничего не затворяли, но воздвигнуты были в память победы, ибо на них изваян был Александр на колеснице, запряженной восьмеркой, — таким предстал он пред наместниками Дарий в битве при Иссе. Неподалеку друг от друга были воздвигнуты еще двое ворот: на одних был изваян Пор, на других — Александр, — как я полагаю, изображены они были встречающимися после битвы, ибо один преклонил колена, а другой его приветствовал.

43. Переправившись через Гидраот и миновав земли нескольких племен, достигли они Гифаса, а еще на тридцать стадиев дальше обнаружили алтари со следующими надписями: «Отцу Амону», и «Брату Гераклу», и «Афине-Провидице», и «Зевсу Олимпийскому», и «Кабирам Самофракийским», и «Гелиосу Индийскому», и «Аполлону Дельфийскому». Еще рассказывают, что рядом находился медный столб, на коем было начертано: «Александр остановился здесь».

Можно предположить, что алтари эти воздвиг Александр, дабы отметить таким образом предел своей державы; а вот столб, по-моему, поставили индусы, обитающие за Гифасом, теша свою гордость тем, что Александр не пошел дальше.

КНИГА ТРЕТЬЯ

1. Пришла пора узнать о Гифасе: о том, сколь далеко протекает он по Индии, и о том, что имеется в нем удивительного. Полноводные истоки этой реки струятся с равнины и с самого начала судоходны, однако далее становятся для плавания непригодны из-за скал, то тут, то там поднимающихся над водой, так что течение по необходимости образует вокруг них водовороты, делающие реку несудоходной. По ширине Гифас почти равен Истру, а это — величайшая из рек, протекающих в Европе. Прибрежные леса также напоминают леса на берегах Истра, и из деревьев тоже добывается смола, каковую смолу индусы употребляют для изготовления свадебных благовоний: и ежели гости на свадьбе не окропят новобрачных этим елеем, то брак не считается совершившимся и согласным с благостью Афродиты. Рассказывают, что в пойме реки названной богине посвящена роща; а еще ей посвящены павлиньи рыбы, которые водятся только в Гифасе и соименны вышеназванным птицам потому, что плавники у них голубые, чешуя пестрая, а хвосты золотистые и к тому же по желанию сворачиваются и распускаются. Еще в реке обитает тварь, видом подобная белому червяку: червяков этих варят и получают масло, горящее таким огнем, какой можно удержать разве что в стекле. Тварей этих ловят только для царя — ради взятия укрепленных городов, ибо когда зажженный жир соприкасается с крепостными стенами, то вызывает пожар, неподвластный никаким огнетушительным средствам, изобретенным людьми для борьбы с пламенем.

2. А еще, по рассказам путешественников, они видели на болотах диких ослов, у коих посреди лба рос рог и рогом этим они храбро сражались, бодаясь на бычий лад. Такие рога индусы употребляют вместо сосудов для питья: испив из подобного кубка, человек якобы в этот день уже не заболит, и никакая рана не нанесет ему ущерба, и из огня он выйдет невредим, и даже, отведав какого угодно яда, совершенно не пострадает — поэтому пьют из таких рогов цари, и лишь царям можно охотиться на вышеописанных тварей. Аполлоний говорит, что видел диких ослов и был восхищен их природными свойствами, однако же, когда Дамид спросил его, верит ли он рассказу о рогах, отвечал: «Поверю, когда узнаю, что царь здешних индусов бессмертен! Ежели он способен угостить меня и любого другого столь целительным и спасительным напитком, то разве не разумнее с его стороны налить заодно и себе самому, да и пить целыми днями из этого рога, пока не упьется вконец? Уж его-то, я полагаю, никто не осудил бы за такую склонность к винопитию».

3. В тех же краях они повстречали женщину, которая от головы до сосцов была совершенно черной, а от сосцов до пят совершенно белой. Путники бежали от нее как от чудища, но Аполлоний поймал ее за руку и узнал, кто она такая: индуска эта была посвящена Афродите, — рождаются там для богини пестрые женщины, вроде как Апис у египтян.

4. Затем они перевалили через ту часть Кавказа, которая простирается вплоть до Ерифрейского моря: отроги сего хребта осеяны густыми зарослями благовонных деревьев. На склонах произрастает киннамон; видом своим он напоминает молодые побеги винограда, а запах его можно испытать на козе, ибо ежели кто протянет козе щепоть киннамона, то она потянется за рукой, как собака, и погонится за уходящим, тычась носом ему в руку, а когда отгонит ее пастух, будет стонать, словно оторвали ее от лотоса. На крутых обрывах растет горный ладан, и множество иных деревьев, в том числе перечное дерево, которое обихаживают обезьяны, коим занятие это привычно, а как и почему — это я сейчас объясню. Перечное дерево вообще похоже на греческую иву, но плоды у него в виде ягод. Произрастает оно на недоступных человеку кручах, а все пещеры и расселины населяет там якобы обезьяний народ. Обезьяны у индусов в почете, ибо собирают для них урожай перца; потому-то индусы с помощью луков и

собак отгоняют от обезьян львов. А лев, когда занеможет, нападает на обезьяну ради лекарства, ибо обезьянье мясо врачует его болезнь; поэтому, состарившись для добычи пропитания и лишась способности гоняться за оленями и кабанами, львы из последних сил охотятся на обезьян. Однако люди этого не допускают, но, почитая упомянутых животных своими благодетелями, держат их сторону против львов. А обращение с перечными деревьями вот какое. Сперва индусы, добравшись до нижних деревьев и обобрав плоды, роют вокруг стволов небольшие округлые ямы и весь сорванный перец сносят туда, бросая его небрежно, словно нет в нем для людей никакой пользы. Затем, с наступлением ночи, обезьяны подглядевшие все это сверху со своих скал, принимаются подражать действиям людей и, обрывая с деревьев гроздь, тащат их и бросают в ямы. А на рассвете индусы уносят груды благовонных плодов, добыв их поистине во сне безо всяких трудов и забот.

5. Перевалив через горы, увидели путники плоскую равнину, пересеченную вдоль и поперек полными воды канавами: отводят их от реки Ганга и служат они границами участков, а во время засухи и для орошения. Говорят, что край этот и плодороднейший в Индии, и обширнейший среди тамошних стран и что простирается он вдоль Ганга на пятнадцать дневных переходов, а от моря до обезьяньих гор, также входящих в его пределы, на восемнадцать переходов. Долина эта — сплошной чернозем и превосходно родит любые плоды, так что можно там увидеть колосья высотой с камыш и можно увидеть бобы втрое больше египетских, а также кунжут и просо необычайных размеров. Там же якобы произрастают орехи, из коих многие сохраняются в наших святилищах как диковины. А вот виноград там мелкий, вроде лидийского и меонийского, однако для вина он пригоден и, едва снятый с лозы, уже благоухает. Там же, по рассказам путешественников, им встретилось дерево, видом сходное с лавром, и на нем набухали почки, видом и размером с преогромный гранат, а внутри этих почек находились яблоки — голубые, словно лепестки гиацинтов, и сладостью превосходящие все на свете плоды.

6. Уже после перевала случилось им видеть охоту на змей, о которой непременно следует рассказать, ибо слишком нелепо, если о зайцах — как их ловят, да как их надобно ловить — рассуждают все, кому есть до того дело, а мы обойдем в своем повествовании охоту предивную и благородную, запавшую в память также и тому мужу, о коем я тут говорю. Вся Индия кишит преогромными змеями: ими полны не только болота, по и горы, так что нет ни одного пригорка, где бы не было змеи. Болотные змеи нерасторопны, в длину достигают до тридцати локтей и не имеют кокуля, от чего самцы неотличимы от самок. Спины у них совершенно черные и не такие чешуйчатые, как у прочих пород. Гомер точнее большинства стихотворцев сумел описать этих змей, ибо сказал, что у змеи, обитавшей под источником в Авлиде, спина была цвета запекшейся крови, однако другие поэты утверждают, будто змея немейского святилища нравом была подобна авлидской змее и якобы имела кокуль, а вот у болотных змей кокуля, по нашим сведениям, нет.

7. Змеи, обитающие в предгорьях и на вершинах холмов, спускаются на охоту в долины и отбивают добычу у болотных змей, ибо превосходят их величиною, а движутся быстрее скоротечных потоков, так что никакой твари не убежать от них. У горных змей имеется и кокуль; у молодых он невелик и приплюснут, но вздувается по мере наступления зрелости и, наконец, достигает изрядной величины, окрашиваясь в алый цвет и приобретая очертания гребня. Указанная порода змей к тому же обрастает бородой, а шею держит поднятой. Чешуя их блистает серебром, а в зеницах очей заключены самоцветы, о коих рассказывают, будто они обладают чудодейственной силой во многих таинствах. Равнинная змея достается охотникам, когда она нападает на слона, ибо это причиняет гибель обоим. Добыча змееловов — змеиные глаза, шкура и зубы, которые во многом сходны с клыками самых больших кабанов, однако тоньше, круче изогнуты и острее на конце, словно зубы больших рыб.

8. Горные змеи еще длиннее равнинных, чешуя у них золотая, бороды кудрявые и тоже золотые, брови нависают над глазами ниже, чем у равнинных змей, а глаза глубоко посажены и сверкают грозно и беспощадно. Когда они извиваются по земле, то издают звук, подобный бряцанию меди, а багровые их кокули пылают огнем, ярче пламени светильника. Они нападают на слонов, а их самих индусы ловят вот каким способом. Они кладут перед змеиным логовом алый плащ, затканый золотыми письменами, чародейство коих нагоняет сон, и так побеждают змею с вечнобдящим взором, баюкая ее пением многих сокровенных заклинаний: под действием оных тварь высовывает шею из логова и засыпает прямо на письменах — тут-то индусы, набросившись на спящую, бьют ее топорами, а затем, отрубив голову, добывают находящиеся в ней самоцветы. Говорят, будто в головах у горных змей хранятся светловидные камни, переливающиеся всеми цветами радуги и обладающие сокровенною силой — вроде того, какой был якобы в перстне у Гига. Впрочем, часто случается и так, что, несмотря на топор и ворожбу, змея, схватив, индуса и увлекая его за собою, уползает в логово, едва не сотрясая горы. Змеи эти населяют также и горы в окрестностях Красного моря: по рассказам, там то слышно их устрашающее шипенье, то видно, как они сползают к воде и уплывают далеко в открытое море. О протяженности жизни этих созданий ничего толком неизвестно, и все разговоры тут недостоверны. Вот и все, что я знаю о змеях.

9. О городе у подножия гор рассказывают, что он преогромный и зовется Парака и что посреди него сложен курган из множества змеиных голов, ибо местные жители с юных лет упражняются в описанной охоте. Еще о них говорят, будто они понимают наречия и намерения зверей, потому что едят змеиное сердце и змеиную печень. Когда путники приблизились к городу, им послышались звуки дудочки — это пастух собирал свое стадо, а пас он белых оленей, коих индусы доят, почитая оленьё молоко полезным и сытным.

10. Отсюда еще четыре дня дорога вела их через богатую и цветущую местность, пока не достигли они крепости мудрецов — тут проводник велел верблюду пасть на колени и спрыгнул наземь, покрывшись от ужаса испариной. Аполлоний понял, куда они пришли, и, посмеиваясь над страхом индуса, сказал: «Думаю, что, будь он моряком, добравшись до гавани после долгого плавания, он боялся бы суши и шарахался бы от причала». С такими словами он опустил также и своего верблюда, ибо успел уже научиться этому; он догадался, что причиною испуга проводника была близость мудрецов, коих индусы боятся больше, чем собственного царя, — даже сам царь, владеющий этой страной, совещается с мудрецами обо всем, что надлежит ему говорить или делать, точно как те, кто обращается к божеству, и мудрецы указывают, как поступить лучше, а от негожего отговаривают и отвращают.

11. Путники уже намеревались сделать привал в ближайшей деревне, откуда до холма мудрецов было меньше стадия, но тут увидели, что к ним бегом приближается юноша, — то был чернейший из всех индусов, а промеж бровей у него лучилось месяцевидное сияние. Я слышал, будто впоследствии такое же сияние было на челе у эфиопа Менона, питомца софиста Герода, пока он был отроком, с наступлением же возмужалости блеск этот стал тускнеть и окончательно исчез по истечении юношеского возраста. Говорят, что при индусе был золотой якорь, который в Индии почитается посольским скипетром, ибо скрепляет все накрепко

12. Подбежав к Аполлонию, гонец обратился к нему по-гречески — само по себе это не показалось примечательным, ибо по-гречески говорили все жители деревни, — но когда тот назвал Аполлония по имени, все преисполнились удивлением, Аполлоний же удостоверился, что цель путешествия достигнута и, взглянув на Дамида, промолвил: «Пришли мы к истинно мудрым мужам, коим ведомо грядущее». Затем он принялся расспрашивать индуса, что следует ему предпринять, ибо жаждал скорее побеседовать с мудрецами. Индус отвечал: «Спутники твои пусть остаются здесь, а ты иди сразу — так велели сами».

13. Слово «сами» показалось Аполлонию совершенно пифагорейским, и он радостно последовал за гонцом. Холм, на коем обитают мудрецы, высотой примерно с афинский Акрополь, стоит посреди равнины и одинаково хорошо укреплен со всех сторон, будучи окружен скалистым обрывом. На скалах то тут, то там видны следы раздвоенных копыт, очертания бород и лиц, а кое-где и отпечатки спин, словно от скатившегося вниз тела. Говорят, что Дионис, намереваясь вместе с Гераклом захватить крепость, велел панам идти на приступ, полагая их способными устоять в случае землетрясения, однако они были поражены перунами мудрецов и покатались, кто куда, а на скалах запечатлелась картина этого тщетного нападения. А еще путешественники, по их собственным словам, видели облако вокруг холма, на котором обитают индусы, по желанию становясь то видимыми, то невидимыми. Есть ли у крепости ворота, узнать невозможно, ибо облако вокруг нее не позволяет увидеть, повсюду ли стена глухая, или где-то имеется просвет.

14. Сам Аполлоний рассказывает, что следом за индусом чаще всего поднимался в крепость с южной стороны и прежде прочего видел там колодец глубиною в четыре сажени, из полости коего исходило яркое синее сияние: в полдень, когда солнце стояло над колодцем, сияние это поднималось навстречу лучам и, возносясь, пламенело, подобно радуге. Впоследствии Аполлоний узнал относительно упомянутого колодца, что земля под ним красна от сандарака, а вода его почитается заповедной и потому не употребляется ни для питья, ни для орошения, но по всей Индии служит залогом клятвы. Вблизи колодца находится огнедышащий кратер, исторгающий свинцовое пламя, однако же ни дыма не испускающий, ни какого-либо запаха; лава из этого кратера никогда не извергается, но поднимается лишь настолько, чтобы не перехлестнуть за край жерла. Здесь индусы очищаются от невольных прегрешений — поэтому мудрецы именуют колодец «колодцем уличения», а огонь — «огнем прощения». По словам Аполлония, довелось ему увидеть также два каменных сосуда: сосуд дождей и сосуд ветров. Когда Индия страдает от засухи, то сосуд дождей, лишь откроют его, испускает дождевые тучи и увлажняет всю землю, а ежели дождь льет сверх меры, то сосуд закрывают, и ливень прекращается. Что же до сосуда ветров, то он, как я полагаю, действует подобно меху Эола: чуть приоткрыв этот сосуд, мудрецы выпускают один из ветров, дабы дул он в нужное время года, освежая землю. А еще оказались на холме кумиры богов, и не только индийских или египетских — тут ничего дивного нет — но и стародавние греческие: то были изваяния Афины Градодержицы и Аполлона Делосского и Диониса Лимнейского, а также и Амиклейского, и множество других, столь же древних, — все эти кумиры были воздвигнуты индийскими мудрецами и почитались на эллинский лад. Обитают мудрецы в самой середине Индии, и на холме у них устроено возвышение, изображающее пуп земли: здесь они возжигают священный огонь, который якобы получают от лучей солнца — и к Солнцу каждый полдень возносят они песнопения.

15. О том, каковы мудрецы и каков холм, где они обитают, довольно сказано самим Аполлоном, ибо в одном из своих посланий к египтянам он говорит: «Я видел индийских брахманов, обитающих на земле и не на земле, без стен обороненных и не владеющих ничем, кроме всего сущего». Так пишет Аполлоний в изощренной своей мудрости, а Дамид передает, что брахманы используют для сна травяные циновки, устилая землю той травой, какою им заблагорассудится, а еще он передает, что видел, как они возносятся на высоту двух локтей и отнюдь не ради потехи, ибо чужды такому тщеславию, но удаляясь от земли и устремляясь вослед Солнцу — так угождают они богу. Что же до огня, добытого от солнечных лучей, то, хотя облик его телесен, они не возжигают его на жертвеннике и не сохраняют в очагах, но, подобно тому, как исходящее от солнца сияние отражается в воде, так же и этот огонь виден парящим и вьющимся в воздухе. Они молятся Солнцу, правящему поворотами года, дабы во благовремени согрело оно землю ради процветания Индии, а по ночам молят солнечный луч не скорбеть о ночи, но

остаться с ними, ибо он у них в плену. Потому-то Аполлоний и пишет, что «брахманы обитают на земле и не па земле». А в словах «без стен обороненные» он понимает туман, под покровом коего они живут, ибо, обитая по видимости под открытым небом, в действительности они воздвигли над собою сень, так что не мокнут под дождем, а греются на солнце, когда сами того пожелают. Что же до слов «не владеющие ничем, кроме всего сущего», то Дамид толкует их следующим образом: все источники изобилия, исторгаемые из земли пляшущими вакхантами, когда сотрясает Дионис и вакхантов и землю, текут и для упомянутых индусов, ежели надобно им угоститься или угостить, — а стало быть, Аполлоний верно утверждает, что мудрецы, ни о чем не пекущиеся, по получающие все желаемое, имеют то, чего не имеют. Волосы они носят длинные, как носили в древности лакедемоняне и мелосцы, а также жители Тарента и Фурий, и вообще все, кто соблюдал спартанские обычаи. Голову они повязывают белой повязкой, ходят босиком, а одежду надевают так, чтобы одно плечо оставалось обнаженным. Соткана их одежда из самородной шерсти, которую производит земля: шерсть эта бела, как памфилийская, однако мягче и к тому же из нее отжимают жир, похожий на оливковое масло. Так делают они свое священное облачение, а ежели кто иной, помимо упомянутых индусов, захочет одеться в такую одежду, то земля не даст ему ту шерсть. А еще они носят сразу перстень и посох, наделенные всепобеждающей мощью, — оба эти предмета почитаются сокровенными.

16. Когда Аполлоний приблизился к мудрецам, то они приветствовали его радушными объятиями, и только Иарх остался сидеть на своем высоком престоле, сработанном из черной меди и украшенном золотыми изваяниями; престолы прочих мудрецов также были из меди, однако не разукрашены и высотой уступали седалищу Иарха, который сидел выше всех. Увидев Аполлония, Иарх поздоровался с ним по-гречески и попросил послание от индийского царя, а когда Аполлоний удивился такому предвидению, добавил, что в послании недостает одной буквы, а именно дельты, каковую-де писавший пропустил — так оно и оказалось. Прочитавши послание, Иарх спросил: «Что вы, эллины, думаете о нас, Аполлоний?» «Стоит ли спрашивать, — отвечал тот, — когда именно ради вас совершил я путешествие, в какое доселе не пускался ни один мой соотечественник?» — «О чем же, по-твоему, знаем мы лучше тебя?» — «Я полагаю, что мудрость ваша божественнее и совершеннее, а потому, даже если не узнаю от вас ничего для себя нового, то по крайиен мере пойму, что ничему больше учиться не должен». На это Иарх отвечал: «Все прочие расспрашивают пришельцев, кто они такие и зачем прибыли, а мы, являя свою мудрость, сами прежде показываем, что пришелец нам знаком. Проверь-ка нас для начала». И промолвивши так, он перечислил родичей Аполлония с отцовской и материнской сторон, затем рассказал все о его жизни в Эгах и о том, как познакомился с ним Дамид, и о чем они с Дамидом рассуждали по дороге, или узнавали из бесед с другими людьми, — все это индус пересказал так быстро и точно, словно сам с ними путешествовал, а на вопрос изумленного Аполлония, откуда известно ему такое, отвечал: «Ты также причастен этой мудрости, хотя и не всю ее постиг». — «А всей мудрости ты меня научишь?» — спросил Аполлоний. «Да, и охотно, ибо это разумнее, нежели завистливо утаивать достойное изучения. К тому же, Аполлоний, я вижу, что преисполнен ты Памяти — а сию богиню почитаем мы более всех прочих». — «Но как удалось тебе прозреть мою природу?» — «Мы различаем образы души, Аполлоний, ибо умеем проследить их по тысячам признаков. Но близок полдень, пора готовить приношения богам, и сейчас мы этим займемся, а уж потом побеседуем, сколько пожелаешь, — однако при всех наших священнодействиях ты должен присутствовать». — «Клянись Зевсом! — воскликнул Аполлоний, — я оскорбил бы Кавказ и Инд, которые пересек ради встречи с вами, когда бы не упился здесь всласть вашими обычаями!» «Что же, упивайся, — отвечал Иарх, — пойдём!»

17. Итак, пришли они к некоему источнику — Дамид, видевший его позднее, говорит, что он сходен с беотийской Диркой — и, придя, прежде разоблачились, затем умастили головы

золотистым снадобьем, которое так раскаляет тела индусов, что от них валит пар, и пот выступает на коже, словно в жарко натопленной бане. Затем они окунулись в воду, а искупавшись и увенчавшись, отправились, возглашая молитвы, в святилище. Там, ставши в круг и сделав Иарха запевалой, они принялись бить по земле остриями посохов, а земля, вздувшись, словно гребень волны, вознесла их на два локтя в воздух. Что же до славословия, которое они распевали, то оно было подобно Софоклову пэану, что поется в Афинах в честь Асклепия. Когда мудрецы вознеслись над землею, Иарх, подзвав отрока с якорем, велел ему: «Позаботься о товарищах Аполлония». Тот умчался скорее быстролетной птицы, а воротясь, доложил: «Исполнено». Позже, когда по свершении многих священнодействий, мудрецы уселись отдохнуть на свои престолы, Иарх сказал упомянутому отроку: «Принеси премудрому Аполлонию седалище Фраота, дабы воссел он на него и побеседовал с нами».

18. Лишь только Аполлоний уселся, Иарх обратился к нему: «Спрашивай, о чем пожелаешь, ибо явился ты к мужам всеведущим». Тогда Аполлоний спросил, ведают ли мудрецы о себе, ибо сам он, как и прочие элины, полагал затруднительным познать самого себя — однако, вопреки его мнению, Иарх возразил: «Мы потому и всеведущи, что прежде познали самих себя — никто из нас не предался бы сему любомудрию, не постигнув прежде себя самого». Тут Аполлоний припомнил, что слышал от Фраота, каким испытаниям подвергается всякий, кто намерен заняться философией, и тем более согласился со словами Иарха, что в истинности их успел убедиться и на собственном опыте. Поэтому он задал новый вопрос: кем почитают себя брахманы. «Богами», — ответил Иарх. А когда Аполлоний спросил о причине, сказал: «Потому что мы добрые люди». Этот ответ показался Аполлонию преисполненным такого благородства, что позднее он то же самое повторил Домициану в своей защитительной речи.

19. И вот, наконец, он задал последний вопрос: «Что вы мыслите о душе?» — «То, что Пифагор передал вам, а мы — египтянам», — отвечал Иарх. «Означают ли твои слова, что, подобно Пифагору, объявившему себя Евфорбом, ты также, прежде чем воплотиться в нынешнем своем теле, был каким-нибудь троянцем, или ахейнином, или еще кем-либо?» На это индус возразил: «Некогда Троя погибла от ахейских мореплавателей, а ныне для вас погибелью сделались рассказы о ней! Вы берете в расчет лишь тех мужей, что ходили на Трою, и потому пренебрегаете мужами, куда более многочисленными и куда более божественными, коих произвела на свет и ваша собственная земля, и земли египтян и индусов. Раз уж ты спросил меня о моем прежнем теле, скажи, кого из воевавших за Трою и против Трои считаешь ты достойным особенного восхищения?» — «По-моему, это Ахилл, сын Пелея и Фетиды, — отвечал Аполлоний, — ибо именно он прославлен Гомером как превосходнейший меж всеми ахейцами по красоте и величью, да и славные его подвиги Гомер воспевает. Премногого восхищения достойны также Аянт и Нирей, кои у Гомера красотой и благородством уступают лишь Ахиллу». — «Вот с ним-то, Аполлоний, ты и сравни моего предка, а лучше сказать — прежнее мое тело, ибо Пифагор полагал Евфорба именно своим прежним телом».

20. Было время, когда эфиопы, оставаясь еще индийским племенем, обитали в этих краях, никакой Эфиопии не существовало, а Мероз и нильские пороги входили в пределы Египта, простиравшегося от истоков Нила вплоть до Дельты. Так вот, в ту пору обитали здесь эфиопы, подвластные царю Гангу. Земля кормила их досыта, боги о них пеклись, но, когда убили они своего царя, то для прочих индусов сделались нечисты, а земля не дозволила им оставаться на ней: она губила ростки посевов прежде, чем успеют они заколоситься, женщин понуждала выкидывать плод до срока, стада питала впроголодь, а ежели кто пытался выстроить город — становилась зыбкой и уходила из-под ног. Наконец явился призрак Ганга, привел народ в смятение, возглавил толпу и удалился не прежде, чем были принесены в жертву земле преступники, своеручно пролившие кровь. Упомянутый Ганг был десяти локтей ростом, красотой превосходил всех людей и приходился сыном реке Гангу. Когда отец его разливом

затопил Индию, он сам отвел его течение в Ерифрейское море и примирил его с землею — потому-то, пока жив был царь, земля плодоносила в изобилии, а после смерти его стала мстить. У Гомера Ахилл отправляется к Трое ради Елены, двенадцатью городами овладевает с моря и одиннадцатью — с суши, а когда царь отнимает у него женщину, впадает в ярость и ведет себя, на мой взгляд, жестоко и немилосердно. А теперь сравним с ним индуса. Ганг основал шестьдесят городов, превосходящих славою все здешние города, — вряд ли кто сочтет, что разорять города достохвальнее, чем основывать. Ганг отразил нашествие скифов, вторгшихся в эту страну через Кавказ, — поистине, добрый муж куда лучше являет свою доблесть, ежели освобождает свое отечество, а не поработает чужое, да к тому же из-за женщины, которую не похитят, ежели сама не захочет. А вот Ганг заключил союз с правителем страны, коею ныне владеет Фраот, и, хотя этот союзник незаконно и бесстыдно отнял у него жену, он все же не расторг договора, объявив, что клятва его нерушима и поэтому, даже претерпев обиду, не станет он наносить ущерба обидчику.

21. И еще многое мог бы я поведать о сем муже, когда бы не опасался обратить свой рассказ в бахвальство, ибо знай: я — тот самый Ганг, и это открылось мне, когда был я четырех лет от роду. Дело было так. Некогда упомянутый Ганг зарыл в землю семь адамантовых мечей, дабы никакое чудище не приблизилось к его царству, а затем боги повелели отыскать, где зарыты мечи, и принести там жертвы, но места не указали. Я был в ту пору дитятей, однако же привел глашатаев туда, где был схоронен клад, и велел копать, сказавши, что тут и лежит искомое.

22. Не дивись, что я преобразился из индуса в индуса. Вот он, — тут Иарх указал на юношу лет примерно двадцати, — природными способностями к философии превосходит всех людей, а к тому же, как видишь, здоров, силен и ладно скроен, ему нипочем огонь и всякая рана — и вот такой человек испытывает ненависть к философии». — «Что же случилось с этим юношей, Иарх? — воскликнул Аполлоний. — Ужасно сказанное тобой, если он, столь щедро снаряженный природою, не взыскует мудрости, не любит учения и, несмотря на все это, живет вместе с вами». — «Он не живет с нами, — возразил Иарх, — но, подобно львам, был он против воли полонен и водворен сюда, так что только косится на нас, когда мы стараемся усмирить и приручить его. Так вот, этот юноша — троянский Паламед, нашедший злейших врагов в Одиссее и Гомере, ибо один строил против него козни, из-за коих он был побит камнями, а другой не удостоил его места в своем повествовании. Ото всей его мудрости не вышло ему никакого проку и не досталось ему похвалы от Гомера, прославившего имена многих, куда менее того заслуживших, а к тому же, ни в чем не повинный, не сумел он противиться Одиссее — вот и проникся он отвращением к любомудрию и оплакивает свою злую участь. Однако он — Паламед и умеет писать, не учившись грамоте».

23. Пока они беседовали таким образом, предстал пред Иархом гонец, и возвестил: «Царь явится сюда сразу после полудня, дабы посоветоваться с вами о своих делах». — «Пусть приходит, — отвечал Иарх, — ибо и он уйдет отсюда, сделавшись лучше от знакомства с эллином». Сказавши так, он воротился к первоначальному предмету беседы и спросил Аполлония: «А не поведаешь ли и ты о своем прежнем теле и кем ты был до нынешнего своего воплощения?» — «Бесславным было мое прежнее тело, так что я немного помню о нем», — сказал Аполлоний. Однако Иарх тут же возразил: «Значит, по-твоему, бесславно быть кормчим египетского корабля? А я вижу, что ты был именно кормчим». — «Ты прав, Иарх, — отвечал Аполлоний, — я действительно был кормчим, однако, по-моему, ремесло это не только бесславное, но и презренное. Хотя от него людям пользы не меньше, чем от военного искусства или от государственной науки, но все, имеющие дело с морем, распускают о кормчих дурные слухи. Во всяком случае и тогда никто не удостоил меня никакой похвалы даже за благороднейшее из моих дел». — «Какое же дело назовешь ты благороднейшим?? Не было ли это в тот раз, когда ты выправил сбившееся с пути судно и, верно предвидя направление встречных и попутных

ветров, сумел обойти Малею и Суний? Или в тот раз, когда ты, минуя подводные скалы, провел судно через Евбейский пролив, усеянный останками погибших кораблей?».

24. «Если уж ты понуждаешь меня рассказать, как я был кормчим, — отвечал Аполлоний, — послушай-ка, что мне самому кажется наиболее примечательным из случившегося в ту пору. Море кишело тогда финикийскими разбойниками, шныряли они и по городам, выведывают кто и что намерен везти. И вот, прознав о богатой поклаже моего корабля, лазутчики этих разбойников, отведя меня в сторону, принялись выспрашивать, сколько я беру за плавание. Я сказал «тысячу», потому что на корабле было еще четверо кормчих. «А есть ли у тебя дом?» — «Жалкая хижина на Фаросе, где некогда обитал Протей». — «А хочешь, — спрашивают, — чтобы вместо моря была у тебя земля, вместо хижины — дом и денег и вдесятеро больше? Притом ты избежешь десяти тысяч бедствий, кои подстерегают кормчего среди бурных волн». Я им отвечаю, что хотеть-то хочу, однако не расположен заниматься грабежом, ибо уже набрался ума-разума и достиг совершенства в своем нынешнем ремесле. Слово за слово, и они посулили мне еще один мешок с десятью тысячами, лишь бы я сделал то, что они хотят, — а я еще и поощрял такой разговор, обещая никому не выдавать их и быть всецело в их распоряжении. Наконец они признались, что посланы разбойниками и что пускай-де я не мешаю тем захватить корабль, а для того не надо-де мне отплывать в город, куда я намерен был направиться, а надобно-де мне бросить якорь у мыса, за коим укрылись разбойничьи корабли. Они охотно мне обещали, что и самого меня не убьют, и всякого, за кого я попрошу, избавят от смерти, Я же полагал, что отказывать им небезопасно, ибо страшился, как бы они, отчаявшись, не напали на наше судно вдаль от берегов, — а в открытом море нам гибель. Поэтому я согласился исполнить все, чего они хотят, однако потребовал, чтобы они подтвердили неложность своих обещаний клятвою. Они тут же поклялись, ибо сговаривались мы в храме, а затем я сказал: «Поспешайте к разбойничьим кораблям — ночью мы отплываем». Еще большее доверие я внушил им, когда стал торговаться о деньгах, чтобы отсчитали мне деньги расхожей монетой и не прежде, чем судно будет захвачено. И так, они ушли, а я без промедленья вышел в море и обошел мыс стороной». «И такое дело, Аполлоний, ты называешь праведным деяньем?» — спросил Иарх. «Да, и к тому же человеколюбивым! — отвечал Аполлоний. — Не продать людские жизни, не одурачить купцов, возвыситься над собственной корыстью, будучи всего лишь моряком, — да, я полагаю, что для этого требуется соединение множества добродетелей».

25. Улыбнувшись, индус промолвил: «Похоже, что для тебя быть праведным означает не совершать преступлений. По-моему, такого же мнения придерживаются все эллины, ибо мне доводилось слышать, от приходивших сюда египтян, что прибывающие из Рима начальники заранее держат над нашими головами обнаженные топоры, хотя еще не знают, злодеи ли их будущие подданные, — а вы, со своей стороны, почитаете этих начальников справедливыми, ежели не торгуют они правосудием направо и налево. Насколько я знаю, в ваших краях такой же обычай у работорговцев: пригнав на рынок карийских невольников и расхваливая перед вами их нрав, они особенно превозносят человеколюбивых за то, что те-де не воруют. Вот так и вы оцениваете правителей, коим по вашим же словам подчинены: вы расточаете им точно такие же хвалы, что и рабам, — будто бы за них тут же начнут торговаться! Впрочем, премудрые ваши стихотворцы не допустят вас сделаться честными и праведными, когда бы вы того и хотели. В самом деле, хотя Минос всех превзошел жестокостью и кораблями своими поработил обитателей суши и островов, стихотворцы почтили его правосудным скипетром и посадили судить души в преисподней, а Тантала, хотя он-то был праведен и поделился с друзьями подаренным от богов бессмертием, лишают еды и питья, а иные еще и наносят этому доброму и божественному мужу ужасное оскорбление, подвесив над головою у него камни. А я бы желал, чтобы они дали ему плескаться в целом озере нектара, коим угощал он других столь человеколюбиво и щедро!» С этими словами Иарх указал на стоявшее слева от себя изваяние:

на нем было написано ТАНТАЛ. Изваяние это, высотой в четыре локтя, изображало мужа лет пятидесяти, одетого на аргонидский лад, хотя и укутанного в плащ наподобие фессалийцев, — он приветливо протягивал чашу, по размеру годную одному жаждущему, а в чаше той бурлил, не переливаясь, однако, через край, некий таинственный напиток. Теперь я поясню, что думали индусы об этом напитке и зачем его вкушали. Приходится предположить, что Тантал гоним поэтами не за невоздержанность языка, но за то, что поделился с людьми нектаром; но не следует думать, будто и боги отвергли Тантала, — будь он ненавистен богам, индусы не почитали бы его праведным, ибо индусы боголюбивы и ничего не совершают помимо божественной воли.

26. Собеседники все еще толковали об упомянутых предметах, когда донесся до них из деревни шум и переполох — это прибыл царь, разряженный на мидийский лад и лопавшийся от чванства. Иарх с неудовольствием промолвил: «А вот случись заехать сюда Фраоту, ты обнаружил бы повсюду такую тишину, словно свершается священное таинство». Из этих слов Аполлоний понял, что прибывший царь любознательнее уступает Фраоту не отчасти, но вполне. Увидев затем, что мудрецы по-прежнему беззаботны и вовсе не готовят к приходу царя, хотя и должен он явиться после полудня, Аполлоний спросил: «Где же царь намерен жить?» — «Здесь, — отвечали мудрецы, — ибо о деле, из-за коего он прибыл, мы побеседуем ночью: ночь — лучшее время для совета». — «А будет ли гостю угощение?» — «Зевс — свидетель, мы досыта попотчует его всем, что родит этот край!» — «Стало быть, пища ваша обильна?» — «Что до нас, то наша пища скудна, ибо мы довольствуемся малым, хотя и могли бы лакомиться вволю, но царю по желанию его надобно много. Впрочем, убоины он вкушать не будет — наш закон того не дозволяет, по лишь сушеные плоды и корни, и дары урожая, не только нынешнего, а также и того, который индийская земля принесет в наступающем году.

27. Но гляди: вот он!» В этот миг, сверкая золотом и самоцветами, приблизился царь вместе с братом и сыном. Аполлоний приподнялся было с седалища, однако Иарх удержал его, пояснив, что такое не в обычае. Дамид говорит, что сам в тот день оставался в деревне и при описываемых событиях не присутствовал, а занес их в свой дневник со слов Аполлония. Далее Дамид рассказывает, что царь простер руку к восседавшим мудрецам, словно взывая к ним с молитвою, а те кивнули ему, словно вняли его просьбе, а он так возрадовался сему обещанию, будто пришел за советом к богу. Что же до царского брата и царского сына, весьма миловидного отрока, то выглядели они ничуть не лучше, чем если бы у своих же провожатых были рабами. После вышеописанного Иарх встал и обратился к царю, приглашая того угощаться — также и этим был царь весьма обрадован. Тут явились сами собой четыре пифийских треножника — точно как ходячие треножники у Гомера — а на них были изваяны из черной меди кравчие вроде греческих Ганимедов и Пелопов. Земля постелила травы мягче всяких перин, а еще явились сласти и хлеб, и овощи, и спелые плоды — все было разложено в порядке и подано изысканнее, чем у любого повара. Два треножника струили вино, а другие два источали воду: один холодную, другой горячую. У эллинов индийские самоцветы так малы, что употребляются для перстней и ожерелий, у индусов же они, напротив, столь велики, что из них делают черпаки и охлаждающие сосуды для вина, а еще огромные чаши — одной чаши даже летом довольно для четырех жаждущих. Медные кравчие смешивали вино с водою в надлежащих мерах и посылали кубки по КРУГУ» как и положено на пиру. Мудрецы возлежали, как обычно во время застолья, и где кому случилось, там каждый и поместился, так что царю не было дано преимущества, коего он непременно удостоился бы и у эллинов, и у римлян.

28. Когда пир был уже в разгаре, Иарх обратился к царю: «Давай, государь, выпьем за эллина!» — и указал на возлежащего рядом Аполлония, обозначая мановением руки, сколь тот благороден и божественен. «Я слыхал, — отвечал царь, — что и он, и прочие, оставшиеся в деревне, имеют отношение к Фраоту». — «Верно и правдиво было услышанное тобою, ибо

Фраот и здесь оказывает ему гостеприимство». — «Чем же он занят?» — «Чем же, как не тем, что и сам Фраот?» — «Зря ты хвалишь гостя за занятия, кои даже Фраоту помешали сделаться благородным человеком», — возразил царь. «Суди благоразумнее и о философии, и о Фраоте, государь, — отвечал Иарх, — ибо пока был ты юнцом, такие твои речи извиняла молодость, но теперь, когда достиг ты зрелых лет, давай-ка воздержимся от безрассудства и легкомыслия!» Тут Аполлоний спросил через Иарха: «Что же приобрел ты, государь, отказавшись от любомудрия?» — «Всяческую доблесть, а также и то, что сделался я соприроден самому Солнцу». Желая обуздать его спесь, Аполлоний сказал: «Будь ты философом, ты бы о таком и не помышлял». — «Ну, а ты, милейший, коли уж ты философ, скажи, что ты думаешь о самом себе?» — спросил царь. «Я думаю, что, будучи предан философии, прослышу добрым человеком». — «Клянусь Солнцем, — воскликнул царь, простирая руку к небесам, — ты явился сюда насквозь профраоченным!» Сочтя это выражение удачной находкой, Аполлоний возразил: «Не напрасно было мое странствие, если я оказался насквозь профраоченным, — однако встретиться ты нынче с Фраотом, ты сказал бы, что и он насквозь про-аполлонен. Кстати, он хотел писать к тебе, ручаясь за меня, но так как он говорил, что ты — добрый человек, я попросил его не беспокоиться о послании, в рассуждении того, что к нему-то никто обо мне не писал».

29. Первоначальному сумасбродству царя тут же был положен предел, ибо, услышав, что Фраот его похвалил, он оставил свои подозрения и смягчившимся голосом промолвил: «Добро пожаловать, дорогой гость». — «Здравствуй и ты, государь, — отвечал Аполлоний, — ибо кажется, что лишь сейчас ты действительно пришёл». «Что привлекло тебя к нам?» — спросил царь. «Вот эти божественные мудрецы». — «А обо мне, гость, какая молва идет у эллинов?» — «Такая же как здесь об эллинах». — «Что до меня, то я не достаиваю тратить речи на эллинов». — «Я им это передам, и они увенчают тебя в Олимпии».

30. Сказавши так, Аполлоний наклонился к Иарху и шепнул ему: «Пусть он напивается, но ты мне объясни, почему вы никак не приветствуете и не достаиваете участия в общем застолье этих его спутников, ежели они, по вашим же словам, приходятся ему братом и сыном?» — «А потому, — отвечал Иарх, — что вероятно они когда-нибудь и сами будут царствовать, и надобно уничтожением отучить их от чванства». Заметив, что мудрецов было числом восемьдесят, Аполлоний вловь спросил Иарха, чего ради соблюдают они именно такое количество, добавив: «Восемьдесят — число не квадратное и не относится к достославным и почитаемым числам, вроде десяти, двенадцати, шестнадцати и так далее». На это Иарх возразил: «Ни мы не порабощаем число, ни число не порабощает нас, но стяжаем мы почет мудростью и добродетелью, так что временами нас больше, чем ныне, а временами и меньше. Поистине дед мой, как я слышал, был принят сюда в число семидесяти мудрецов и был младшим, но, когда минуло ему сто тридцать лет, оказался тут в одиночестве, ибо из прочих никого уже не оставалось, а во всей Индии в ту пору не нашлось души благородной и преданной любомудрию. Однако, когда египтяне в своем послании назвали его блаженнейшим, ибо четыре-де года самовластно правит он с этого престола, он, напротив, увещевал не порицать более индусов за недостаток у них мудрецов. Да и нам, Аполлоний, хотя и доводилось слышать от египтян об элидских обычаях и об элланодиках, кои вдесятером правят Олимпийские игры, но мы не одобряем применяемого в этом случае порядка, ибо выбор элланодиков доверен жребию, а жребий неспособен к разумному решению и может выпасть какому-нибудь негодяю. Впрочем, разве не столь же ошибочным было бы избирать элланодиков большинством голосов и за заслуги? Это почти то же самое, что и жеребьевка: если так строго придерживаться десятки, то, окажись справедливых мужей больше десяти, иные из них останутся неизбранными, хотя и достойны почетной должности, а окажись их меньше десяти, никому нет дела, кто из избранных воистину справедлив. А стало быть, элидяне рассудили бы куда разумнее, когда бы численность элланодиков была любой, зато справедливость неизменной».

31. Все время, пока они толковали таким образом, царь пытался вмешаться в беседу, перебивая их на каждом слове и постоянно отпуская пустые и невежественные замечания. Наконец, когда он уже в который раз спросил, о чем это они тут толкуют, Аполлоний отвечал: «Мы беседуем о великих и преславных эллинских делах, однако тебе-то о них размышлять не приходится — ты же говоришь, что презираешь все эллинское». «Конечно презираю, а все-таки хочу послушать: по-моему вы говорили об афинянах, рабах Ксеркса». — «Нет, мы говорили о другом, но раз уж ты, государь, столь нелепо и облыжно отозвался об афинянах, скажи-ка мне, есть ли у тебя самого рабы?» — «Двадцать тысяч, и из них ни одного купленного, но все рождены в моем доме». Тогда Аполлоний задал через Иарха новый вопрос, а именно: царь ли удирает от своих рабов, или рабы от него. Издеваясь над Аполлоном, царь возразил: «Человеконогий вопрос! Впрочем, отвечу: тот, кто удирает, не только раб, но и негодяй, а хозяин не побежит от того, кого он может хоть высечь, хоть колесовать». «Ежели так, государь, — промолвил Аполлоний, — то, по твоим словам, выходит, что Ксеркс — раб афинян, и что удирал он от них, словно негодный раб, ибо, побежденный ими в морской битве в проливе и убоявшись за пловучий мост через Геллеспонт, он бежал на одном корабле». — «Однако же собственными руками поджег Афины». — «А за эту дерзость, государь, претерпел он кару, какой никто до него не претерпевал, ибо пришлось ему бегством спастись именно от тех, кто, по его мнению, им же был сокрушен. Что до меня, то, обдумывая намерения, побудившие Ксеркса к походу, я мог бы, пожалуй, иным из них найти достойное оправдание — например, что был-де сей царь Зевсом, — однако из-за упомянутого бегства я, напротив, считаю его человеком, да притом злополучнейшим. Найди он смерть от рук эллинов, разве была бы слава, громче его славы? Разве воздвигли бы эллины гробницу выше его гробницы? Разве не учредили бы они над его курганом ристания латников и певцов? Всякие Меликеры и Палемоны, и Пелоп, пришлый лидянин, стяжали у эллинов божеские почести, хотя первые двое умерли грудными младенцами, а Пелоп поработил Аркадию, Аргolidу и весь заистмийский край — уж какой бы только чести не было Ксерксу от народа, по самому естеству своему столь приверженного доблести и почитающего для себя достохвальным восхвалять побежденных!»

32. Слова Аполлония исторгли у царя слезы и он воскликнул: «О дражайший друг! Сколь великими мужами представил ты мне эллинов!» — «Почему же, государь, судил ты о них столь сурово?» — спросил Аполлоний. «Приходящие сюда египтяне, — отвечал царь, — поносят, друг мой, все эллинское племя, объясняя, что именно они, египтяне, святы и мудры, и что именно они учредили все жертвоприношения и обряды, какие есть у эллинов, а в самих-де эллинах нет ничего хорошего, ибо они — всего лишь разнузданные и наглые бродяги, сочинители всяческих басен и небылиц, да к тому же нищие, и нищету свою выказывающие недостойно, ибо оправдывают воровство. Однако, услышав от тебя, сколь щедры и благородны эллины, я отныне и навек примиряюсь с ними и дарую им свое благорасположение и молиться буду за них, как сумею, а египтянам более не стану доверять». Тут Иарх промолвил: «Я-то знал, государь, что слух твой развращен египтянами, да только никак не мог я вступить за эллинов, пока не случилось тебе внять этому вот наставлению. А ныне, когда направил тебя добрый советчик, выпьем здравицу Танталову и отправимся почивать — ночью предстоят нам важные беседы. Как-нибудь в другой раз, когда ты придешь сюда, я досыта порадую тебя эллинскими преданиями, ибо преданиями эллины богаты, как никакое иное племя». Затем, показывая пример своим сотрапезникам, он первый склонился к чаше, содержимого коей достало на всех, ибо щедро струился источник, словно питаемый родниками. Выпил и Аполлоний, ибо, по понятиям индусов, чаша эта пьется за дружбу — потому и полагают они, что подносит ее Тантал, признанный дружелюбнейшим из людей.

33. Когда испили они из чаши, то приняла их земля на ложа, ею самую посланные. Пробудившись с наступлением полуночи, сперва восславили мудрецы, вознесясь, светлый луч, а

затем беседовали с царем, сколько было надобно. По словам Дамида, Аполлоний при беседе с царем не присутствовал и предполагал, что разговор шел о государственных тайнах. Наконец, принеся поутру жертву, царь обратился к Аполлонию, приглашая его погостить во дворце и обещая отослать его обратно к эллинам таким, что все-де только позавидуют. Аполлоний отказался, объяснив, что не станет гостить у человека, столь с ним несходного, да притом и странствует он уже дольше положенного, так что опасается, как бы дома друзьям не показалось, будто он ими пренебрегает. Когда же царь принялся его уговаривать и завлекать с пошлой назойливостью, он возразил: «Царь, слишком настойчивый в изъявлении своих желаний, — все равно, что заговорщик». А подошедший Иарх промолвил: «Ты наносишь обиду святой обители, государь, пытаешься увлечь отсюда человека помимо его воли! Притом сей муж — из числа прозорливых, а стало быть знает, что житье с тобой будет ему не к добру, да и тебе от него не выйдет никакой пользы».

34. Когда царь спустился в деревню, ибо обычай мудрецов не позволял ему оставаться с ними более одного дня, Иарх сказал гонцу: «Дамида мы также допускаем к нашим таинствам, а потому пусть придет сюда. О прочих позаботься в деревне». Дамид явился. Все уселись привычным образом, и мудрецы позволили Аполлонию задавать вопросы. Он спросил, из чего, по их мнению, состоит космос, и они отвечали: «Из стихий». — «Из четырех?» — «Не из четырех, — сказал Иарх, — по из пяти». — «Какая же пятая стихия кроме воды, воздуха, земли и огня?» — «Эфир, который следует считать первоначалом богов, ибо, подобно тому, как все смертные твари поглощают воздух, так же бессмертные и божественные создания поглощают эфир». Затем Аполлоний спросил, какая стихия возникла первой, а Иарх отвечал: «Все сразу, ибо живое не родится по частям». — «Стало быть, мне следует полагать космос живым?» — «Да, если понимать это верно, ибо космос живородит все». «Следует ли приписывать космосу женскую природу или, напротив, мужскую?» — «Обе, ибо, совокупляясь сам с собой, он является в живорождении сразу отцом и матерью, и страсть его к себе самому жарче пыла, одолевающего разъединенные создания, ибо страсть эта связует его воедино. Ничего нет несообразного в том, что космос растит сам себя. Словно как движение создается работою рук и ног живого существа, а движением руководит разум, точно так же, по нашему мнению, и части космоса посредством вселенского разума доставляют необходимое всему, что зачинается и рождается. Например, страдания, вызываемые засухою, имеют своей причиною тот же вселенский разум, ежели справедливость ниспровергается бесчестными деяниями людей. И не единая десница лелеет и умиряет это живое существо, но нет у него недостатка во многих и тайных дланях, так что хотя из-за огромности своей недоступно оно узде, однако движется послушно и покорно».

35. Предмет нашей беседы столь огромен и за пределами познанию, что не умею я подобрать подходящего для объяснений примера, но все же вообразим себе корабль, какой строят египтяне, когда отправляются в наши моря ради обмена индийского товара на египетский. Имеется древний указ о Ерифрейском море, положенный еще царем Ерифром в ту пору, когда владел он этим морем: да не войдут египтяне в Ерифрейское море на длинном корабле, но да входят на круглом и лишь на одном. Однако же египтяне исхитрились выстроить вовсе не такой корабль, как у всех прочих: по бокам его они приделали скобы, коими обычно скрепляют судно, но борта и мачту подняли выше, а внутри понастроили множество рубок, какие бывают на палубах. Многочисленные кормчие, руководимые старейшим и мудрейшим, правят этим судном, а на носу его стоят доблестные начальники и искусные моряки: есть там и паруса, и гребцы, есть и военная охрана от дикарей, обитающих на правом по входе берегу залива, ибо следует защититься в случае, ежели дикари эти нападут на мимо идущий корабль. Вот с таким судном более всего сходен космос, о коем мы и станем рассуждать на основании нашего кораблестроительного примера. Первое и главнейшее кормило следует вручать божественному Творцу живого космоса, а места пониже — богам, управляющим его членами. Следует

согласиться со стихотворцами, кои говорят, что многие боги обитают в небесах, многие в море, многие в ручьях и родниках, многие по всей земле, а иные и под землей — однако же преисподнюю, если таковая и существует, мы не должны считать частью космоса, ибо певцы изображают ее юдолью ужаса и гибели».

36. Когда Иарх окончил свою речь, то Дамид, по его собственным словам, был вне себя от восторга и громогласно выразил свое восхищение, ибо прежде ему и в голову не приходило, что житель Индии может бегло изъясняться по-гречески, а уж тем более — пусть даже и выучит язык — что может он говорить столь складно и уместно. Восхищается Дамид и взглядом и улыбкой Иарха, и богодухновенностью высказанных им суждений. Да и Аполлоний, чья речь всегда была короткою и учтивою, к Иарху обращался еще более кротко и учтиво, так что, когда сядились они потолковать — а случалось это часто, — то становился он сходен с Иархом.

37. Когда все прочие похвалили сказанное Иархом не менее, чем строй его речей, Аполлоний задал новый вопрос: что, по мнению мудрецов, обширнее — земля или море? «Ежели сопоставить землю с морем, — отвечал Иарх, — то земля окажется обширнее, ибо объемлет море, но ежели вообразить землю в сравнении со всею сущою влагой, то меньше окажется земля, ибо и сама она покоится на воде».

38. Посреди таких бесед предстал пред мудрецами гонец, ведя за собою индусов, коим нужда была в исцелении. Первою вывел он женщину, просившую за своего сына, коему-де минуло шестнадцать лет, он-де два года одержим демоном, а нрав-де у демона лживый и насмешливый. Тут один из мудрецов спросил, откуда известно ей все сказанное. Женщина отвечала так: «Сынок мой на диво пригож, а потому демон в него влюблен и не допускает его думать своим умом: не дозволяет ему учиться ни грамоте, ни стрельбе, ни даже дома сидеть не дает, а знай гоняет по пустыням. У отрока уже и голоса-то своего не осталось, но выговаривает он слова гулко и густо, словно зрелый муж, да и глядит не своим взглядом, а словно бы чужим. Я и слезы над этой бедой проливаю, и волосы на себе рву, и вразумляю сына, как умею, — а он-то меня и не узнает! Когда я задумала отправиться сюда, еще о прошлом годе задумала, тут-то бес себя и объявил, хотя и устами сыночка, и сказал он мне, что он-де дух воина, который некогда пал в бою и до самой-де смерти был влюблен в свою жену, и вот на третий день, как он помер, жена эта опозорила их ложе — вышла замуж за другого. А он-де с тех самых пор женскую любовь ненавидит и совершенно предался моему сыну. И еще он обещал, что ежели я не проклянута перед вами, то он-де одарит отрока богатством и преуспеянием. Вот я на все это как-то поддаюсь, да только он уж больно долго меня морочит: в доме моем хозяйничает по-своему, а намерений честных и приличных не имеет». Тогда мудрец спросил, близко ли отрок, но женщина отвечала, что нет, хотя она сделала все возможное, дабы его привести, однако дух-де «грозится горой и ямой и обещает, что ежели стану я на него тут жаловаться, то он порешит моего сыночка». — «Взбодрись, — возразил мудрец, — ибо не убьет он отрока, прочитавши вот это». Затем, вытащив из-за пазухи некое послание, он дал его женщине — послание это, по всей вероятности, было обращено к призраку и содержало угрозы и запреты.

39. Один из прибывших был хром. Ему минуло уже тридцать лет, и был он опытным охотником на львов, когда лев бросился на него и своротил ему бедро, так что нога оказалась вывихнутой. Однако лишь только мудрецы руками растерли охотнику бедро, как походке его воротилась твердость. Человек, у коего вытекли глаза, ушел, вновь глядя в оба. У другого отнялась рука, а удалился он, владея ею не хуже прежнего. А некая женщина, уже семь раз страдавшая от неудачных родов, была исцелена при помощи собственного супруга нижеследующим способом: супругу было велено, когда начнутся новые роды, войти к роженице, неся за пазухой живого зайца, а затем обойти вокруг нее и тотчас отпустить зайца, ибо ежели заяц не будет сразу же выгнан вон, то матка окажется извергнута вместе с плодом.

40. Среди пришедших был также отец, рассказавший, что родятся у него дети, но умирают, лишь только начнут пить вино. На это Иарх возразил: «Умереть для них даже лучше, ибо в противном случае не избегли бы они безумия, будучи произведены, как явствует, от чрезмерно жаркого семени. Так что следует отпрыскам твоим воздерживаться от вина, а чтобы не обуяла их никогда страсть к вину, ты, когда снова родится у тебя дитя, — я вижу, что есть у тебя шестидневный младенец, — должен сделать вот что. Отыщи гнездо совы, укради яйца и, в меру их сварив, дай съесть ребенку: ежели он вкусит этой пищи прежде, чем отведаст хмельного, то возникнет в нем отвращение к вину и останется он в здравом уме, ибо природный его жар придет в равновесие!» Таких вот речей, наслушались Аполлоний и Дамид. Изумляясь мудрости своих гостеприимцев, они целыми днями задавали им всевозможные вопросы, да и те обо многом расспрашивали их.

41. В общепознавательных беседах участвовали и Аполлоний и Дамид, что же до разговоров о предметах сокровенных, рассуждений о звездах, пророчествах и волхвовании, или о том, какие жертвы и молитвы угодны богам, то тут, по словам Дамида, Аполлоний философствовал наедине с Иархом; позднее он записал в четырех книгах упомянутые собеседования о звездах и гаданиях — об этом сочинении упоминается и у Мойрагена — а также записал беседы о жертвоприношениях: как какому богу надобно жертвовать приличным и угодным для него способом. Впрочем, все звездочетные и пророческие науки находятся, по-моему, за пределами природных человеческих возможностей, да притом я и не знаю никого, кто располагал бы упомянутым сочинением; а вот книгу о жертвоприношениях я обнаружил и во многих храмах, и во многих городах, и в домах у многих сведующих людей, а написана она величавым слогом, в коем слышится отзвук речей Аполлония, — это на случай, если бы кто-нибудь взялся ее перевести. Дамид рассказывает еще, что Иарх подарил Аполлонию семь перстней, поименованных по семи планетам, — перстни эти Аполлоний надевал поочередно в соименный каждому день.

42. Часто разговор касался волхвования, ибо Аполлоний, будучи весьма склонен к этой премудрости, оборачивал большую часть бесед к упомянутому предмету, за что и заслужил похвалу Иарха, сказавшего: «Приверженные пророчеству, о любезный Аполлоний, посредством оного становятся божественны и трудятся во спасение человечества. Поистине, друг мой, то, что удастся узнать, лишь обратясь к богу, пророк знает сам и так возвещает всем прочим неведомое — потому-то я и полагаю пророка всеблагодатным и мощью сходным с Дельфийским Аполлоном. Обычай велит всякому, кто приходит в святилище за оракулом, прежде всего очиститься, иначе будет ему сказано: «Изыди из храма!» — вот так же, по-моему, должен соблюдать себя и тот, кто готовится прорицать: да не одолеет душу его никакая скверна, да не опоганит помыслы его язва заблуждений, да изречет он пророчество свое в чистоте, внимая лишь себе и треножнику в сердце своем, дабы истинным и громозвучным возгласилось вещание! А стало быть, нечего дивиться, ежели ведома сия премудрость тебе, чья душа преисполнена эфиром».

43. Затем, оборотясь к Дамиду, Иарх ласково спросил: «Ну, а ты, ассириянин, неужто не обладаешь пророческим даром — это при таком-то товарище?» — «Зевс — свидетель, обладаю, — отвечал Дамид, — во всяком случае, относительно своего собственного предопределения. Когда впервые встретился я с этим вот Аполлоном, показался он мне отличен мудростью, величием, разумением и стойкостью, но когда увидел я вдобавок, сколь превосходна его память, сколь обширна ученость, сколь сильна любознательность — и тут словно божественное знамение мне явилось! Пришло мне на ум, что ежели приближусь я к нему, то из глупца и невежды сделаюсь мудрецом, из дикаря — человеком благовоспитанным, а ежели последую за ним в его странствиях, то увижу индусов и увижу вас, и приобщусь эллинам, сам сделавшись от него эллином. Так вот, ваши пророчества касательно всяких великих дел вы сравниваете с

дельфийскими или додонскими, или какими пожелаете, а тут пророчит всего лишь Дамид, да и пророчит только о себе самом — такое пророчество похоже разве что на ворожбу старой побирушки касательно овец и прочего подобного».

44. Все мудрецы посмеялись этим речам, а когда унялся смех, Иарх воротился к разговору о волхвовании, перечислив многие блага, кои несет оно людям, и величайшим из этих даров назвал врачевание, ибо никогда-де не постигли бы мудрые Асклеиады сию науку, не будь Асклепий сыном Аполлона и не приготовляй он потребное каждому недугу зелье по слову и вещанию отца своего — и не только детям своим передал Асклепий это искусство, но и почитателей своих научил, какими травами врачевать влажные раны и какими засохшие или покрытые коростой, и какую мерою отпускать лечебное снадобье, дабы изгнать воду у водяночных или задержать кровь у кровоточивых, или остановить чахотку и проистекающее от нее истощение. «Кто будет отрицать, — продолжал Иарх, — что от волхвования идет наука и о противоядиях, и о лечении теми же самыми ядами множества недугов? Ибо, по моему разумению, без посредства пророческой мудрости никогда не отважились бы люди сочетать губительные зелья со спасительными».

45. Так как Дамид записал еще и разговор, имевший место тогда же и касавшийся баснословных среди индусов зверей, людей и источников, то не подобает и мне о сем умолчать: верь не верь, а знать полезно. Итак, Аполлоний спросил: «Истинно ли существует зверь именем мартихор?». Однако же Иарх возразил ему вопросом: «А что слышал ты о нраве сего зверя? Да и об обличье его, вероятно, кое-что рассказывают?» — «Рассказы эти, — отвечал Аполлоний, — пространны и недостоверны, ибо говорят, будто сей мартихор четвероног и будто притом голова его подобна человеческой, а величиною он почти как лев, а из хвоста-де у него вылетают волосы в локоть длиной, коим он, словно стрелами, поражает тех, на кого охотится». Затем он стал спрашивать о золотой воде, которая якобы струится из родника, и о камне, обладающем притягательною силою, и о пигмеях, и о подземных жителях, и о шалашеногах, однако Иарх прервал его, сказав: «Что могу я поведать тебе о тварях, растениях и родниках, кои ты сам успел увидеть по пути сюда? Теперь уж твой черед толковать о них другим, а мне здесь не доводилось слышать ни о стрелоносном звере, ни о златоводном источнике. Зато расскажам о камне, притягивающем и удерживающем другие камни, верить стоит, ибо ты сам можешь поглядеть на такой камень и подивиться его свойствам. Наибольший из упомянутых камней размером с этот ноготь, — тут он показал ноготь на большом пальце своей руки, — а рождаются они в подземных пещерах на глубине четырех саженой и испускают столь сильный дух, что земля вздувается и покрывается многочисленными трещинами, едва затяжелеет таким плодом. И камень этот никому не дано отыскать, ибо он убегает, если только не привлечен заклинанием; и все же мы то обрядами, то заговорами умеем удерживать пантарб — таково имя сему самоцвету. И ночью он являет день, будучи, подобно огню, багрян и лучист, а ежели днем взглянуть на него, то поражает он взор тысячами блистающих искр. Заключенный в нем свет есть дух сокровенной силы, ибо притягивает к себе все, что поблизости. Что я разумею, говоря «поблизости?» А вот вообрази себе камни, сколь угодно многочисленные, и рассыпаны они где-нибудь в реке или в море, но не по соседству друг с другом, а то тут, то там, как случится. Если же погрузить туда на бечеве пантарб он собирает все камни посредством духовного проникновения, так что они лепятся к нему гроздью, словно пчелиный рой».

47. Сказавши так, Иарх показал упомянутый самоцвет и все его свойства. Касательно пигмеев он сказал, что живут они под землею, обитают за Гангом, и образ их жизни именно таков, как о нем рассказывают, что же до шалашеногов, голованов и прочих сказочных тварей, описанных Скилаком, то нигде на земле их нет, а уж тем паче в Индии. Что же до золота, добываемого грифонами, то существуют скалы, усеянные золотыми каплями, словно искрами, и золото это упомянутые твари высекают из камня силою клюва. Грифоны действительно обитают в Индии и

почитаются посвященными Солнцу — потому индийские ваятели изображают колесницу Солнца запряженную четверкой грифонов. Огромностью и мощью грифоны подобны львам и даже нападают на последних, ибо имеют преимущество в крыльях; превосходят они силою также слонов и драконов. А вот летать они — словно слабкрылые птицы — не горазды, ибо нет у них подлинных крыльев, присущих птичьей породе, но имеются лишь алые перепонки, натянутые на лапах между пальцами: расправляя эти перепонки, они взлетают и бросаются с воздуха, так что неодолим для них только тигр, проворством сродный ветрам.

49. Что же до птицы феникса, то является он из Египта раз в пятьсот лет и остаток названного срока в одиночестве летает по Индии, излучая сияние и блистая золотом, величием и обликом подобный орлу, пока, наконец, не опустится в гнездо, свитое из благовоний у истоков Нила. Египетское предание о том, что феникс возвращается в Египет, подтверждают также и индусы, однако к этому они добавляют еще, что он, испепеляясь в своем гнезде, сам себе поет погребальную песнь. Такой же, по словам умеющих слышать, обычай лебедей.

50. Такие вот беседы вел с мудрецами Аполлоний. Гостил он у них четыре месяца и постиг науку явную и науку сокровенную, а когда вознамерился уходить, они убедили его отослать верблюдов и вожатого с письмом обратно к Фраоту, взамен же дали ему другого вожатого и верблюдов и проводили его в дорогу, благословляя столь счастливее знакомство. Обняв его на прощанье и предсказав, что будет он многими почитаться за бога не только после смерти, но еще при жизни, отправились они назад в свое думное место, однако и на ходу продолжали оборачиваться, тем показывая гостю, сколь неохотно с ним расстаются. Итак, Аполлоний, имея по правую руку Ганг, а по левую Гифас, спустился к морю на десятый день после того, как покинул священный холм. По дороге путешественники видели множество страусов и множество диких быков, и множество онагров и львов, и баранов и тигров, и новую породу обезьян, отличную от той, что обитает среди перечных деревьев, ибо эти обезьяны были черные, мохнатые, собаковидные и ростом с невысокого человека. Рассуждая по обыкновению о виденном, добрались они, наконец, до Ерифрейского моря, где были устроены небольшие пристани, к коим причаливали челны перевозчиков, весьма сходные с судами тирренов. Ерифрейское море не красное, но, как говорят, цвет имеет ярко-голубой, а называется по царю Ерифру, который дал морю свое собственное имя, — об этом я уже говорил ранее.

51. Достигнув моря, Аполлоний отослал к Иарху верблюдов вместе с нижеследующим письмом.

«Иарху и прочим мудрецам от Аполлония: радуйтесь! Мне, явившемуся к вам посуху, вы даровали море, а поделившись со мною своею мудростью, даровали вы мне силу странствовать в небесах. Обо всем этом я расскажу эллинам, а с вами по-прежнему буду беседовать словно с присутствующими, если не напрасно испил я кубок Тантала. Прощайте, добрые любомудры!»

52. Наконец Аполлоний взшел на корабль и был увлечен в плаванье кротким попутным ветром. Дивно было ему глядеть на устрашающе разлившееся устье Гифаса: в нижнем своем течении Гифас, как я говорил, струится в каменистых ущельях, низвергается с обрывов и, наконец, прорывается к морю единым устьем, так что становится опасен для владельцев ближайших наделов.

53. По словам путешественников, они видели также устье Инда, где располагается омываемый Индом город Патала, куда приплыл некогда флот Александра, ведомый Неархом, сведущим в мореходном искусстве. Что же до утверждений Орфагора, будто в Красном море нельзя наблюдать Медведицу и будто мореплаватели не могут обозначить полдень, ибо положение видимых звезд там не соответствует обычному, то Дамид держится того же мнения — и словам его следует вполне доверять, ибо они основаны на наблюдении тамошнего неба. Путешественники упоминают также малый островок, имя которому Библ: там в изобилии водятся пурпураносные улитки, а также ракушники, устрицы и прочие обитатели прибрежных

скал — все вдесятеро крупнее греческих. Там же добывается из белых ракушек камень Маргарит, обретающийся в самой сердцевине моллюска.

54. А еще путешественники рассказывают, как делали стоянку в Пегадах, что в стране оригов: у оригов скалы медные и песок медный, и даже речная галька медная, сами же они полагают землю свою золотоносной, столь благородна их медь.

55. Побывали они также у племени рыбоедов: город их именуется Стобира, сами они одеваются в кожу огромных рыб, а овцы в тех краях похожи на рыб и едят необычный корм, ибо кормят их рыбой — так же как в Карий кормят овец фигами. А индусов-карманов — племя кроткое и богатое рыбой — море питает столь щедро, что они не устраивают для рыбы хранилищ и не солят ее, как это делается на Евксинском Понте, но кое-что продают, а большую часть живьем бросают обратно в море.

56. Путешественники рассказывают, что причаливали также к Баларе и видели, что гавань эта полна миртов, фиников и лавров, а вся местность орошается родниками. И сколько ни есть там садов и цветников, все произрастают изобильно, а пристани совершенно защищены от ветров. Неподалеку от этих мест, а именно в ста стадиях, находится заповедный остров, именуемый Селера: на острове этом обитает дивное чудище — нереида, похищающая многих мореплавателей и не позволяющая судам отчалить от ее острова.

57. Достоин упоминания и рассказ о необычных жемчужинах — рассказ этот даже и Аполлонию показался отнюдь не празднословием, но весьма усладительным и наизамательнейшим среди рассказов о морских промыслах. Итак, говорят, что с той стороны упомянутого острова, которая обращена к открытому морю, имеется на дне морская впадина, где водится моллюск, заключенный в белую раковину, полную тука, и отнюдь не произрастает в ней никакого камня. Туземцы же выжидают тихой погоды или сами усмиряют море, вылив туда масла, а затем один из них ныряет, чтобы добыть описываемого моллюска, — снаряжен этот ныряльщик наподобие собирателей губок, однако вдобавок имеет при себе железную доску и алавастровую фляжку с благовониями. Усевшись на дно рядом с моллюском, индус приманивает его благовонием, пока тот, открывши раковину, не опьянеет и не выпустит жала, изливая ихор, — и тогда влагу эту он улавливает в углубления, выдавленные на железной доске. Влага каменеет в этих углублениях и приобретает вид природного жемчуга: этот жемчуг и есть белая кровь Красного моря. Говорят, что подобным промыслом занимаются также и арабы, обитающие на противоположном берегу. Море в тех краях кишит всяческой живностью и стадами китов, так что суда для защиты от этих тварей снабжены колоколами на корме и на носу: звон отпугивает китов и не допускает их приблизиться к судну.

58. Доплыв до устья Евфрата, путешественники, по их собственному рассказу, отправились вверх по реке в Вавилон, навестить Вардана, коего и застали точно таким, каким знали прежде. Оттуда они двинулись в Ниневию, а затем спустились к морю в Селевкию, потому что в Антиохии живут одни наглецы и об эллинских обычаях не радеют. Найдя корабль, они отплыли на Кипр и причалили в Пафосе, где находится кумир Афродиты: там Аполлоний дивился сему изваянному иносказанию и много поучал жрецов о храмовых обрядах. Наконец он отплыл в Ионию, снискав великую честь и великое восхищение у всех, кто чтит мудрость.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Лишь узнали в Ионии, что Аполлоний прибыл в Ефес, как даже ремесленники забросили свою работу — все теснились вокруг пришельца: кто дивился его мудрости, кто — обличью, кто — пище, кто — осанке, а кто — всему сразу. Из уст в уста передавались толки об Аполлонии: одни вторили Колофонскому оракулу, будто Аполлоний-де сопричастен божественной мудрости и будто мудрость его беспредельна, другие твердили то же самое, ссылаясь на Дидимейский и Пергамский оракулы, ибо многим, кто нуждался в исцелении, повелел бог идти к Аполлонию, поелику судьбою это суждено и божеству угодно. Еще являлись к Аполлонию посольства от городов звать его в гости и просить совета, кто о житейских правилах, кто о воздвижении кумиров и алтарей — и он порой давал письменное наставление, а порой обещал придти самолично. Явилось посольство и от Смирны, однако же послы не говорили, чего им надобно, хотя слезно умоляли Аполлония посетить их, так что когда он спросил посланца, в чем у него нужда, тот отвечал лишь: «Ты увидишь нас, а мы — тебя». — «Я приду, — сказал Аполлоний, — и да наградят нас музы взаимной приязнью».

2. Первую беседу с ефесянами вел он со ступеней храма, и беседа эта была отнюдь не сократической, ибо отвращал он и отговаривал своих собеседников от всех прочих занятий, призывая предаться одному лишь любомудрию, дабы не спесью и суетностью наполнился город — таким нашел он его, но рвением к науке. Ефесяне были большими охотниками до плясунов и скоморохов, так что Ефес был полон дуденья, топота и обабившихся красавчиков, а потому, хотя жители в это время и перекинулись к Аполлонию, он почитал нечестным закрывать глаза на вышеописанные непотребства, но поименовал их и тем многих от них отвратил.

3. Прочие беседы вел он в священных рощах, тесно обступивших капище. Как-то раз толковал он об общежитийском согласии и учил, что следует поддерживать друг друга и помогать друг другу, а воробьи тихо сидели на деревьях — и вдруг один воробей, прилетев, зачирикал, словно призывая куда-то своих собратьев, а те, слышав призыв, защебетали и всю стаю улетели вослед призывавшему. Аполлоний знал, почему всполошились воробьи, но не объяснил это своим собеседникам и продолжал говорить, однако, когда все устали на птиц, а иные по неведению решили, будто случилось чудо, он прервал свое рассуждение и сказал: «Мальчишка нес в лукошке пшено, поскользнулся и, кое-как собравши рассыпанное, ушел, а на тропинке осталось еще много зерен. Этот воробей оказался рядом и поспешил рассказать остальным о нечаянной удаче, чтобы полакомиться вместе». Большинство слушателей тут же кинулись к указанной Аполлонием тропинке, а сам Аполлоний продолжал беседовать с оставшимися о прежнем предмете, то есть об общежитийском согласии, и, когда уходившие воротились с возгласами удивления, он сказал: «Вот видите, как воробьи пекутся друг о друге и как привержены они общежитийскому согласию! Мы же согласия не чтим и, случись нам увидеть, как кто-то делится с другими, назовем его мотом, кутилой пли еще как-нибудь в этом роде, а тех, о ком он позаботился, ославим холуями и дармоедами. Что же нам остается, как не сидеть взаперти, подобно откармливаемым на убой каплунам, и жрать тайком, покуда не лопнем от жира?»

4. В Ефес проникла чума, и, хотя мор еще не распространился, Аполлоний почуял опасность и изъяснил предведение свое, часто восклицая посреди беседы: «О земля, да пребудешь ты собою!» и добавляя с угрозой: «Спаси сих человек!» или «Не надвигайся на нас!» Однако горожане не понимали его пророчеств, почитая их праздными измышлениями, хотя и видели, сколь часто он посещает храмы, дабы молитвою отвратить беду. Раз уж ефесяне относились к недугу столь беспечно, Аполлоний решил, что не приспела еще пора помогать им, и отправился

посетить другие ионийские города, улаживая местные дела и непрестанно толкуя своим собеседникам, как уберечься от мора.

5. Итак, прибыл он в Смирну, где встретили его ионяне, справлявшие в ту пору Панионийский праздник, и там, читая ионийское постановление, в коем жители приглашали его участвовать в упомянутом празднике, вдруг заметил отнюдь не ионийское имя: постановление было подписано неким Лукуллом. Аполлоний немедленно обратился к ионянам с посланием, порицая такую дикость, ибо случилось ему найти в городских постановлениях также Фабриция и другие подобные имена. А насколько крепко выбранил их Аполлоний, ясно из упомянутого послания.

6. На другой день, явившись пред ионянами, Аполлоний спросил: «Что это за чаша?» — «Это панионийская чаша», — отвечали они. Тогда, зачерпнув из чаши и свершив возлияние, он провозгласил: «Боги, водители ионян! Даруйте их прекрасным селениям безопасное море и да не внидет к ним никакое зло от земли, а Эгеон, колебатель холмов, да не сотрясет их города!» Все это произнес он, как я полагаю, исполняясь божественного вдохновения и предвидя беды, обрушившиеся впоследствии на Смирну, Милет, Хиос, Самос и многие Иады.

7. Наблюдая, с каким усердием изощраются жители Смирны в красноречии, Аполлоний ободрял их, побуждая к еще большему усердию и призывая радеть о самих себе больше, чем о городе, ибо хотя город их изо всех городов под солнцем прекраснейший и хотя обитают они близ моря, овеваемые морскими зефирами, однако сладостней городу увенчаться мужами, нежели строениями или картинами, или излишним золотом, ибо строения пребывают на одном месте и нигде не видны, кроме как на том клочке земли, на коем воздвигнуты, а добрых мужей видно всюду, всюду слышен их голос, и столько возвеличено ими отечество, сколько земли сами они в силах обойти. Аполлоний добавил также, что прекрасные города, вроде Смирны, сходны с олимпийским кумиром Зевса работы Фидия, ибо сей Зевс сидит, и сидит так, как задумал ваятель, — а вот мужей, ходящих по свету, лучше уподобить Гомерову Зевсу, сотворенному Гомером во многих образах и куда как достославнейшему, нежели изваяние из слоновой кости, ибо Фидиева Зевса зрят лишь на земле, а Гомерова умопостигают во всем своде небесном.

8. Помимо прочего рассуждал Аполлоний с жителями Смирны и о том, как следует городам пребывать в мире, ибо заметил среди граждан распри и раздоры. Он говорил, что в верно устроенном городе следует сочетать согласие с враждою, — а так как слова эти показались всем несообразными и неубедительными, он понял, что многие не сумели уследить за его мыслью и пояснил: «Никогда белое не выбелит черного и сладкое не уластит горького, а согласию дано затеять распрю во спасение государству. Вот как нужно понимать сказанное мною: да не внидет в город распря, увлекающая жителей то ножами резать друг друга, то камнями побивать, — напротив, в городе надобно растить детей, и надобны законы и мужи, способные к слову и делу. Я же имею в виду раздор честолубий ради общей цели: этот превзойдет того в совете, а тот превзойдет этого в исполнении должности, этот оказался лучшим послом, а тот соорудил для города великолепное здание и так обошел товарищей. Вот это и есть добрый раздор и распря для общего блага! В старину спартанцы почитали глупостью каждому делать свое дело ради пользы государства, ибо усердствовали лишь в бранном труде — к войне они стремились и для войны бодрились. А по-моему, лучше всего каждому делать то, что он знает и умеет. И если в городе один прославится, возглавив народ, а другой стяжает почет своею мудростью, а еще кто-то — на общее дело употребленным богатством, а еще кто-то — милосердием, а еще кто-то — строгостью и неумолимостью к преступникам, а еще кто-то — незапятнанными руками, — вот такой город будет во благе покоен, а вернее сказать — во благе стоек!»

9. Такими беседами укреплял Аполлоний Смирну, когда напал па ефесян мор и не было против него никакого средства, так что ефесяне отправили к Аполлонию посольство, дабы исцелил он

их болезнь, и он, порешив без промедления пуститься в путь, отвечал: «Идем», — и тут же оказался в Ефесе, уподобившись, по моему разумению, Пифагору, одно временно пребывавшему в Фуриях и в Метапонте. Собравши ефесян, Аполлоний сказал им: «Мужайтесь! Завтра же я прекращу мор!». И с этими словами повел он всех жителей в театр, где был воздвигнут охранительный кумир. А еще был там некто, похожий на старого нищего с фальшивыми бельмами — при нем была сума с краюхою хлеба, одет он был в лохмотья и вид имел убогий. Понудив толпу окружить старика, Аполлоний велел: «Берите камни, кто сколько может и бейте врага богов!» Ефесяне подивились сказанному, да и убивать столь жалкого бродягу казалось им жестокостью, тем более, что он просил пощады и слезно молил о милосердии, однако Аполлоний упорствовал, натравливая ефесян на старика и не позволял его отпустить. И вот, когда некоторые из них все-таки бросили в бродягу камни, тот, прежде казавшийся бельмастым, глянул пристально — и глаза его запылали пламенем. Тут-то ефесяне поняли, что перед ними демон, и закидали его таким множеством камней, что из камней этих воздвигнулся над демоном настоящий курган. По прошествии некоторого времени Аполлоний позвал их разобрать курган и посмотреть, что за тварь они убили. Камни разобрали, но тот, кого ефесяне почитали побитым, исчез, а вместо него явился их взорам пес, обличьем похожий на молосского, но величиною с огромнейшего льва — он был раздавлен камнями и изрыгал пену, как изрыгают бешеные собаки. Ныне охранительный кумир — изваяние Геракла — стоит там, где некогда был повергнут злой дух.

11. Исцелив ефесян и довольно побыв среди ионян, Аполлоний отправился в Элладу. Приплыв прежде в Пергам и полюбовавшись храмом Асклепия, он научил служителей этого бога, что делать ради исполнения благоприятных снов; и наконец, исцелив многих, отправился в Илион. Там, вдохновленный стародавними преданиями, пришел он к могиле Ахилла, где многое изрек и многие принес бескровные и чистые жертвы, а затем велел своим товарищам отправляться на корабль, сказавши, что сам он проведет ночь на Ахилловом кургане. В ту пору спутниками Аполлония сделались уже и Диоскорида, и Федимы, и прочие — и все они стали его отвращать от упомянутого намерения, говоря, что Ахилл-де явится в ужасном обличье, ибо таково-де твердое мнение местных жителей. Однако Аполлоний возразил: «Ну, а я хорошо знаю Ахилла и знаю, что он обществу рад! Прибывшего из Пилоса Нестора он встретил весьма приветливо, ибо Нестор всегда сообщал ему что-нибудь полезное, а Феникса он называл пестуном, наставником и тому подобными почетными именами, ибо Феникс речами вразумлял его, да и на Приама, злейшего своего врага, взирал он с великой кротостью, лишь только слышал его голос, а когда во время распри своей с Агамемноном беседовал он с Одиссеем, то был так любезен, что Одиссею показался не столько ужасным, сколько прекрасным. Говорят, что страшны у Ахилла щит и колыханье гривастого шлема, однако мне кажется, что страшны они лишь троянцам, ибо помнит Ахилл, что претерпел, когда троянцы обманули его с женьтьбою, но я-то ничего не имею общего с Илионом, а говорить с Ахиллом буду куда ласковее, чем бывшие его товарищи. Впрочем, ежели он, как вы утверждаете, меня убьет, то успокоюсь я вместе с Мемноном и Кикном, и троянцы, быть может, погребут меня «в могилу глубокую и заложивши сверху огромными частыми камнями» — точь-в-точь как Гектора!» Вот так, то ли подразнив, то ли вразумив спутников, отправился он к кургану один, а они ушли на корабль, ибо уже смеркалось.

12. Воротившись на рассвете, Аполлоний окликнул: «Где Антисфен-паросец?» Этот Антисфен пристал к Аполлонию уже в Илионе, за семь дней до описываемых событий. Итак, он отозвался, и Аполлоний спросил его: «Скажи-ка, молодец, в каких ты связях с Троей?» — «В очень даже близких, — отвечал Антисфен, — ибо по крови я троянец». — «И потомок Приама?» — «Клянусь Зевсом, именно поэтому я и почитаю себя благородным отпрыском благородной семьи!». — «Тогда понятно, почему Ахилл не велит мне знаться с тобою! Он отправил меня послом к

фессалиянам, против коих возбуждает иск, а затем я спросил, не могу ли я еще чем-нибудь доставить ему удовольствие, и он отвечал, чтобы не делился я мудростью с паросским юнцом, ибо тот — подлинный потомок Приама и без передышки хвалит Гектора».

13. Антисфен поневоле удалился. Наступил день, подул с берега ветер, и корабль уже готов был отплыть, но тут — хотя и невелико было судно — хлынули толпой желающие плыть вместе с Аполлоном. Уже настала осень, и море было ненадежно, а люди эти полагали, что Аполлоний совладеет и с огнем, и с ненастьем, и с прочими бедами, — вот потому-то они желали путешествовать вместе с ним и умоляли, чтобы он разделил с ними плаванье.

Людей было гораздо больше, чем места на судне, так что Аполлоний высмотрел другой корабль, попросторнее — близ Аяптова кургана кораблей было множество, — и обратился к толпе: «Пойдемте туда, ибо прекрасно спастись вместе со многими». Обогнув Троянский мыс, он велел кормчему править к стране эолян, что за Лесбосом, а затем поворотить поближе к Мефимне и там бросить якорь. «Где-то здесь, по словам Ахилла, погребен Паламед, — объяснил он, — и здесь же имеется его изваяние в локоть высотой, хотя изображенный и старше Паламеда обличьем». И, сходя с корабля, он промолвил: «Уважим, о сограждане-эллины, доброго мужа, от коего вся мудрость! Мы превзойдем добродетелью ахеян, ежели почтим доблесть того, кого они столь несправедливо умертвили». Пока остальные только спускались с корабля, Аполлоний успел добраться до могилы и найти схороненное рядом с нею изваяние, на подножии коего было начертано: «Божественному Паламеду». Аполлоний установил изваяние — это я самолично видел впоследствии, — а вокруг него устроил капище по образцу тех, что устраиваются почитателями Енодии, ибо было оно достаточно велико, чтобы вместить сразу десятерых пирующих. Затем Аполлоний вознес нижеследующую молитву: «О Паламед, уймись гнев, что некогда питал к ахеянам, и дай преумножиться мудрым! Паламед! От тебя речи, от тебя музы, от тебя я сам!»

14. Затем Аполлоний направился на Лесбос, посетив по пути святилище Орфея. Говорят, что именно там некогда услаждался Орфей прорицанием, покуда не воспрепятствовал тому Аполлон. В ту пору не ходили люди за оракулом ни в Гринею, ни в Кларос, ни к треножнику Аполлонову, но пророчествовал один Орфей, чья голова лишь недавно явилась из Фракии. Тогда-то предстал пред вещим певцом бог и молвил: «Перестань вязаться в мои дела, ибо довольно я терпел и песни твои!»

15. Затем плыли они по Евбейскому морю, каковое море Гомер почитает весьма опасным и коварным, но на сей раз оно, вопреки времени года, было спокойно. Говорили об островах, ибо множество знаменитых островов попадалось им на пути; говорили также об искусстве кораблестроения и кораблевождения, ибо в плавании такие речи уместны. Однако же Дамид был недоволен этими разговорами: одних собеседников он прерывал, другим мешал спросить, — и Аполлоний, поняв, что желает он порассуждать об ином предмете, сказал: «Почему, Дамид, любой вопрос ты рвешь в клочки? Ведь не потому отвергаешь ты наши беседы, что тебя мутит от качки, и не потому, что плаванье тебе досаждают: сам видишь, как море стелется навстречу кораблю и погоняет его. Почему же ты сердисься?» — «А потому, что мы болтаем обо всяком вздоре и ворошим старье, хотя куда уместнее потолковать о важнейшем предмете, который просто ломится в беседу». — «Что же это за предмет, из-за коего ты все прочее зовешь вздором?» — «С Ахиллом повстречался ты, Аполлоний, с самим Ахиллом! И хотя наверно ты слышал от него многое, нам неведомое, ты ничего не рассказываешь и даже не описываешь, как он выглядел, а вместо этого только и говоришь, что об островах, да о судостроении». — «Ежели не сочтут меня хвастуном, — отвечал Аполлоний, — то я расскажу обо всем!».

16. Остальные также просили Аполлония рассказывать, и он поведал своим внимательным слушателям нижеследующее: «Я не рыл, по примеру Одиссея, яму и не завлекал души овечьей

кровью, но вознес я молитву, которую индусы велят возносить героям, — и так вступил в беседу с Ахиллом. Я сказал ему: «О Ахилл! Большинство людей говорят, что ты умер, но ни я с этим не согласен, ни Пифагор, прародитель мудрости моей. Ежели мы правы, покажись в своем собственном обличье, ибо премногую пользу принесешь ты моим очам, соделавши их свидетелями бытия своего!» При этих словах сотрясся курган мгновенною дрожью и вышел из него юноша пяти локтей ростом в плаще фессалийского покроя — и он отнюдь не выглядел наглцом, каким иные воображают себе Ахилла: внешняя суровость не умаляла его приветливости, а красота его, по-моему, так и не удостоилась должной хвалы, хотя Гомер и говорит? — ей так много — поистине, красота эта несказанна, и любое славословие не столько воспеваает ее, сколько уничижает. При своем появлении Ахилл был такого роста, как я сказал, однако рос и рос, пока не сделался вдвое выше, — и вот, наконец, предстал предо мною десяти локтей, а красота его росла соразмерно росту. Волос он, как сам мне сказал, никогда не стриг, но хранил их нетронутыми для Сперхея, ибо то была из всех рек для него первая; подбородок его был окаймлен первым пушком. Обратившись ко мне, он промолвил: «Я рад встрече с тобою, ибо давно есть мне нужда в таком вот человеке. Фессалияне веками отказывают мне в заупокойных жертвах, однако я пока не достаиваю гневаться на них, ибо стоит мне разгневаться — и ожидает их погибель злее, чем некогда эллинов. Вместо этого обращаюсь я к ним с благожелательным советом: не преступать установленного обычая и не выказывать себя порочнее троянцев, которые, хотя и лишились из-за меня стольких мужей, все же приносят мне сообща и жертвы, и первины урожая, и возлагают мне оливковые ветви, прося перемирия, да только я мириться с ними не намерен! Поистине, за то, как предали они меня, вовеки не будет позволено Илиону обрести прежнее величие или достигнуть процветания, коего достигли многие древле разрушенные города: ежели и отстроят троянцы свой город, будет он не лучше, чем назавтра после взятия. Так вот, чтобы не постигла фессалкян от меня такая же участь, отправляйся к ним послом и пред сходкою их говори за меня!» — «Я отправлюсь послом, — отвечал я, — ибо назначение сего посольства — не дать погибнуть людям. Однако и мне, Ахилл, кое-что от тебя надобно». — «Понимаю: сразу видно, что ты намерен расспросить о Троянской войне. Можешь задать пять вопросов какие сам хочешь и какие дозволены мойраами». И, во-первых, я спросил, так ли он погребен, как рассказано об этом у стихотворцев. «Я покоюсь, — отвечал Ахилл, — так, как и мне, и Патроклу всего сладостней, ибо сошлись мы в ранней юности, а ныне заключены в единой золотой урне, словно единое существо. Что же до того, будто оплакивали-де меня музы и nereиды, то муз никогда здесь не бывало, а nereиды приходят и сейчас». Во-вторых, я спросил, вправду ли Поликсена была заколота ради него, и он отвечал, что воистину так, однако не ахейане ее закололи, но сама она по доброй воле явилась на могилу и закололась, бросившись на меч, ради великой любви, которую питали они друг к другу. В-третьих, я спросил: «Скажи, Ахилл, приплыла Елена в Трою или примыслил это Гомер?» — «Долгое время находились мы в заблуждении, — отвечал он, — так что и послов к троянцам посылали, и за Елену бились, полагая, будто она в Илиоие, а в действительности она, хотя и похищенная Парисом, обитала в Египте в доме Протея. Однако, узнавши это, мы все-таки сражались до конца уже ради самой Трои, дабы не отступить нам с позором». Затем задал я четвертый вопрос, сказавши, что дивлюсь, как произвела Эллада одновременно столь многих и столь славных мужей, коих собирает Гомер под Троею. На это Ахилл промолвил: «Так ведь и варвары ненамного нам уступали — вся земля в ту пору цвела доблестью». Наконец, спросил я в пятый раз: «По какой причине Гомер не знает Паламеда? А ежели знает, почему изгоняет его из повести о подвигах ваших?» Ахилл отвечал так: «Что Паламед был под Троею, верно, как то, что была Троя. Но поскольку сей мудрейший и храбрый муж погиб из-за происков Одиссея, Гомер не включает его в свое повествование, дабы не воспевать постыдное деяние Одиссея». И оплакал Ахилл Паламеда — величайшего и прекраснейшего, юнейшего и храбрейшего, всех превзошедшего разумением и частого советчика муз. «А ты, Аполлоний, — заключил он, — раз

уж мудрецы пекутся друг о друге, позаботься о могиле Паламеда и водрузи на место изваяние его, столь грубо низвергнутое, — это в Эолиде, близ Мефимны Лесбийской». После этого, сказав еще о паросском юнце Ахилл замерцал бледным светом и исчез, ибо петухи уже пропели». Так проводили они время на корабле и, наконец, прибыли в Пирей, как раз в пору мистерий, когда справляют афиняне многолюднейший из эллинских праздников. Аполлоний, сойдя с корабля, поспешил в город, и тут навстречу ему попала толпа любомудров, направлявшихся в Фалер: кое-кто из них загорал телешом, ибо осень в Афинах солнечная, кое-кто усердствовал над книгами, кое-кто упражнял гортань, кое-кто спорил, но мимо Аполлония ни один не прошел — все тут же догадались, что это он и есть, окружили его и радостно приветствовали. Сразу десяток юношей бросились к нему, восклицая: «Афина — свидетельница! — и с этими словами простерли они руки к Акрополю. — А мы-то уж отправились в Пирей, чтобы плыть к тебе в Ионию!» И Аполлоний обласкал их, сказавши, что любомудрствующим рад.

18. День был праздничный — свершались Епидаврии. По афинскому обычаю, на Епидавриях после закляний и молитв паломники посвящаются в таинства второю жертвой, учрежденной ради Асклепия, ибо точно таким образом посвящали его, когда он не поспел из Епидавра на мистерии. Многие, пренебрегая обрядом, собрались вокруг Аполлония, более заботясь о встрече с ним, нежели о том, чтобы воротиться домой, приобщившись таинств, — но Аполлоний обещал, что побеседует с ними позднее, и призывал без промедления приступить к исполнению обрядов, ибо сам он примет в них участие. Однако верховный жрец возражал, не желая допускать его к священнодействиям, ибо нечего-де тут делать всяким колдунам, а Елевсин-де на запоре для любого, кто осквернен нечестивыми радениями. Аполлоний, ничуть не смутившись, отвечал: «Ты еще не назвал главной причины запираяться от меня, а именно того, что, будучи сведущ в таинствах более тебя, я все же явился к тебе за посвящением как к мудрейшему». Этому крепкому — в обычном для Аполлония духе — ответу присутствовавшие рукоплескали, и тогда жрец, сообразив, что ведет себя наперекор желаниям большинства, присмирел. «Приобщись таинств, пришелец, — сказал он, — ибо похож ты на мудреца». «Приобщусь в другой раз, — отвечал Аполлоний, — и произойдет это так-то и так-то» — и тут он явил свои провидческий дар, указав на следующего верховного жреца, коему храм достался через четыре года.

19. По словам Дамиды, у Аполлония в Афинах бесед было множество, однако Дамид записал не все, но лишь достопамятные, в коих толковались самоуважнейшие предметы. Увидав, что афиняне весьма привержены обрядам, Аполлоний в первой своей беседе рассуждал о священнодействиях: в какое время дня и ночи подобает жертва, или возлияние, или молитва каждому божеству — впрочем, можно добыть книгу Аполлония, где он излагает все эти поучения собственными словами. В Афинах же он толковал об упомянутых предметах, во-первых, ради мудрости своей и чужой, а во-вторых, дабы уличить верховного жреца в богохульстве и невежестве, кои были им давеча высказаны. Поистине, возможно ли винить в нечестивых радениях того, кто рассуждает об угождении богам?

20. Однажды, когда Аполлоний толковал о возлияниях, случился среди слушателей некий юнец, столь известный своей непотребной разнузданностью, что уже и песенки о нем распевали на перекрестках; а родом он был из Керкиры и происходил от феака Алкиноя, Одиссеева гостеприимца. Итак, Аполлоний говорил о возлияниях и призывал не осушать кубка, но сберечь его для богов не выпитым и не пригубленным — и вот, когда он советовал делать кубки с ушками и через это ушко совершать возлияния, потому что людям из таких отверстий пить несподручно, упомянутый юнец прервал его речь, разразившись бесстыжим хохотом. Аполлоний взглянул на него и заметил: «Не твоя это дерзость, но демона, без твоего ведома в тебя вселившегося». И воистину юноша был одержим демонами, ибо то смеялся, когда никому смешно не было, то безо всякой причины проливал слезу, то разговаривал или пел сам с собой.

По мнению большинства, вся эта дурь проистекала от молодого озорства, но на деле-то юноша повиновался демону, и оттого казался пьяным до потери рассудка, как вышло и в вышеописанном случае. Под взглядом Аполлония бес заголосил от ужаса и ярости, словно жгли его огнем или ломали на дыбе, а затем поклялся покинуть юношу и не вселяться более ни в какого человека. Аполлоний же гневно прикрикнул на него — словно хозяин на раба лживого, или раба плутоватого, или раба наглого, или какого там еще, — и велел не просто удалиться, но и явить тому зримое свидетельство. «Я сворочу вон того истукана», — обещал демон, указавши на один из кумиров вокруг Царской Стой — а дело было в Царской Стое. Кому дано описать всеобщее удивление, шум и плеск, когда кумир сначала зашевелился, а затем рухнул? Юноша, словно пробудившийся от сна, тер руками глаза, жмурился от солнечных лучей и был обуян смущением, ибо все на него уставилось — он не глядел более ни наглцом, ни безумцем, но воротился в природное свое состояние, точно как если бы пользовали его целебными зельями. Итак, отказался он от пестротканых одежд, мягких плащей и прочей роскоши, возлюбил вретиче и рублище и стал жить по заветам Аполлония.

21. Передают также, что Аполлоний корил афинян за Дионисии, которые совершаются у них в месяце анфестерии. Дело было так. Он полагал, что они собираются в театр послушать монодии или гармонические сочетания парабаз и ритмов, однако вместо этого услышал, что они скачут и пляшут под дуденье флейты и что под звуки священных Орфеевых песен изображают из себя то нимф, то ор, то вакханок — и тогда воспротивился он подобному бесчинству, воскликнув: «Не переплясывайте славу Саламинских бойцов и множества доблестных мужей, ныне усопших! Была бы ваша пляска лаколской, я мог бы сказать: «Молодцы! Удаль свою вы упражняете для войны, а потому и я попляшу с вами!» Однако, видя такую едва не бабью разнеженность, что сказать мне о былых победах? Их трофеи воздвигнуты не в укор мидянам и персам, по вам в укор, ибо недостойны вы тех, кто их воздвигал. Откуда у вас все эти шафранные, пурпурные и багряноцветные одеяния? Поистине, ни ахарнянки так не наряжались, ли всадники колонские! Да и стоит ли о них поминать? Некогда приплыла к вам вместе с Ксерксом кариянка-судоводительница, и не женский на ней был наряд, но мужская одежда и мужской доспех; а вы изнеженнее ксерксовых наложниц, вы все — хоть старцы, хоть юнцы, хоть мальчишки — наряжаетесь несообразно с собственной природой! В былые времена мужи, сойдясь в Агравлийском святилище, клялись с оружием в руках пасть за отечество, а ныне, похоже, клянутся ради отечества буйствовать, вцепившись в тирс! Шлемов вы не носите, обабались совершенно и — совсем по слову Еврипидову — превосходны лишь в позоре. Мне доводится слышать, что вы ко всему прочему сделались ветрами: трясете подолом и говорите, что это-де корабль распускает паруса, — а уж ветры вам надобно почитать, ибо были они вам соратниками и часто порывы их шли вам на пользу! Непозволительно делать бабой Борея, из всех ветров мужественнейшего, свояка вашего, ибо никогда не сошелся бы Борей с Орифией, когда бы увидел ее пляшущей на такой вот лад!»

22. И еще в одном наставил Аполлоний афинян. Они собирались в том театре, что под Акрополем, поглазеть на гладиаторские бои и увлекались этим зрелищем даже более, чем ныне увлекаются им в Коринфе. За большие деньги они покупали прелюбодеев, развратников, воров, грабителей, работорговцев и прочий сброд, давали им оружие и заставляли биться. Аполлоний осудил этот обычай и, когда афиняне звали его в собрание, отказался ступить на землю нечистую и оскверненную кровью. Так написано в его послании, в коем он говорит также, что удивлен, «как Богиня еще не покинула Акрополь, когда столько крови вы пролили пред ее очами. Ибо кажется мне, что на Панафинейском шествии уже не бычи, но человечьи гекатомбы закалаете вы для Богини. А ты, Дионис, ужели после всей этой крови явишься в театр? Разве там свершают тебе возлияние афинские мудрецы? Удались, Дионис — Киферон

чище!». Вот важнейшее из того, что я обнаружил среди тогдашних афинских рассуждений Аполлония.

23. Затем он отправился послом от Ахилла к фессалиянам, а было это во время Нилейского совета, на коем фессалияне вершат дела амфикионии, — и они в испуге постановили возобновить жертвоприношения на Ахилловой могиле. Надгробие Леонида Спартанского Аполлоний только что не лобызал — столь велико было его восхищение этим мужем. Затем он пришел к холму, где, по рассказам, покоятся лакедемоняне, погребенные под персидскими стрелами, и тут услышал, как спутники его спорят, которая высота в Элладе высочайшая — а поводом для спора был видный с того места Этейский хребет. Тогда, взойдя на спартанский курган, Аполлоний воскликнул: «Что до меня, я почитаю высочайшей вот эту высоту, ибо павшие здесь за свободу возвысили сей холм вровень с Этой и вознесли его выше многих Олимпов! Поистине я восхищаюсь этими мужами, а более всего Мегистием Акарнанским, ибо знал он, что им предстоит, и все же пожелал разделить общую участь, не страшась смерти, но страшась не погибнуть вместе с остальными».

24. Аполлоний обошел также эллинские святилища, а именно Додонское и Пифийское, и то, которое в Абах; еще он посетил храмы Амфиарая и Трофония и поднялся в капище муз на Геликоне. Пока Аполлоний ходил по святилищам, ходили с ним жрецы и следовали за ним почитатели: подносились кубки бесед и напивались из них жаждущие. Когда свершались Олимпийские игры, и элидяне пригласили Аполлония посетить ристания, он отвечал им: «Помоему, вы умаляете Олимпийскую славу, приглашая тех, кто и по своей воле к вам собирался». А на Истме, услышав, как грохочут волны в Лехейской гавани, он промолвил: «Перерубят выю земле, но и не перерубят», — так он предсказал близкое строительство Истмийского канала, задуманное Нероном семью годами позже. Нерон тогда покинул свою столицу и явился в Элладу, дабы выкликали его на Олимпийских и Пифийских ристаниях. На Нотме он также оказался победителем, был первым среди кифаредов и глашатаев, а в Олимпии — среди трагических поэтов. В эту-то пору, говорят, и затеял он прорыть насквозь Истм, чтобы Эгейское море соединилось с Адриатическим и чтобы не приходилось всякому судну огибать Малейский мыс, но чтобы многие корабли, проходя через канал, могли избежать кружного пути. Как же сбылось пророчество Аполлонииво? А вот как: стали рыть канал от Лехейской гавани, однако же продвинулись не более чем на четыре стадия, как Нерон велел работы прекратить — по словам одних, из-за египетских мудрецов, кои рассуждали с ним о морях и сказали, будто Лехейские волны разольются и затопят Эгину; по словам других, запретил он канал из страха, как бы не взбунтовалась его держава. Так по слову Аполлония и выходило: Истм будет перекопан и не будет перекопан.

25. Случился в ту пору в Коринфе философ Деметрий, постигший всю силу кинической науки — впоследствии Фаворин не без похвалы отзывался о нем во многих своих трудах. Приверженность упомянутого Деметрия к Аполлонию была, говорят, точь-в-точь такова, как приверженность Антисфена к мудрости Сократовой: он следовал за Аполлонием, жаждал его поучений, внимая его речам и, увлекая к нему достойнейших из собственных своих почитателей, в числе коих был и ликиец Менипп — двадцати пяти лет, разумения изрядного, а телом столь совершенный, что уподоблялся обличем прекрасному и благородному ристателю. В этого Мениппа была, как мнилось многим, влюблена некая чужестранка; казалась она миловидна и ласкова, да притом говорила, что богата, — а на деле ни одно из этих свойств не было правдою, но все было одно наваждение. И вот как-то раз, когда Менипп в одиночестве шел по Кенхрейской дороге, явилась ему нежить, видом женщина, и женщина эта схватила его за руку, твердя, что давно-де его любит, а сама-де она финикиянка и живет-де в предместье Коринфа — и, действительно, назвала одно из предместий. «Приходи вечером, — уговаривала она Мениппа, — и послушаешь, какие песни спою я тебе, и вина отведаешь, какого в жизни не

пил, и никакой соперник тебя не потревожит — буду я, красавица, с тобою, с красавцем». Юноша согласился, ибо не только любомудрию был предан, но и к любострастию склонен; итак, он пришел к ней на закате, а затем стал частенько навещать ее вроде бы для забавы, отнюдь не понимая, что связался с нежитью. И вот Аполлоний, глянув на Мениппа, словно ваятель, создал мысленное изображение юноши, проник в его сущность и обратился к нему с такими словами: «Ты, без сомнения, красавец и приманка для красоток, однако сейчас сохнешь по змее, а змея — по тебе». И заметив удивление Мепиппа, он добавил: «Женщина эта тебе в жены не годится. Да и зачем? Уж не думаешь ли ты, будто внушил ей страсть?» — «Клянусь Зевсом! — воскликнул тот. — Она расположена ко мне так, словно влюблена!» — «И ты намерен на ней жениться?» — «Да, ибо приятен союз с любящей супругой». Тогда Аполлоний спросил, на какой день назначена свадьба. «Свадьба будет без отлагательств, — отвечал Мепипп, — скорее всего завтра». Аполлоний дождался свадебного пира и, представ перед только что сошедшимися гостями, спросил: «Где же прелестная хозяйка, которой ради вы явились сюда?» — «Вот она», — и с этими словами Менипп, покраснев, вскочил с места. «А серебро и золото, и все прочее, чем разубран покой, — кому из вас принадлежит?» — «Жене, ибо все мое имущество — вот!» — и Менипп указал на свое рубище. Тогда Аполлоний обратился к гостям: «Знаете ли вы сады Тантала, кои, присутствуя, отсутствуют?» — «Знаем из Гомера, — отвечали те, — ибо в Аид нам спускаться не случалось». — «Точно как упомянутые сады, — продолжал Аполлоний, — следует вам понимать и всю эту роскошь — не как действительность, но лишь как призрак действительности. Вникните же в сказанное мною! Эта вот ласковая невеста — одна из эмпус, коих многие полагают упырями и оборотнями. Они и влюбляются, и любострастию привержены, а еще пуще любят человежье мясо — потому-то и завлекают в любострастные сети тех, кого желают сожрать». — «Придержи язык и убирайся!» — закричала невеста и, притворись, будто услышанное ей противно, принялась насмехаться над философами, которые-де вечно болтают всякий вздор. Однако тут золотые кубки и мнимое серебро словно ветром сдуло, вся утварь скрылась с глаз долой, все кравчие, повара и вся прочая челядь исчезли, посрамленные Аполлоном, — и тогда нежить, прикинувшись плачущей, стала умолять не мучить ее и не принуждать к свидетельству о подлинной своей природе, но Аполлоний был тверд и не отпускал. И вот она призналась, что она и вправду эмпуса и что хотела она откормить Мениппа удовольствиями себе в пищу, ибо в обычае у нее выбирать в пищу прекрасные и юные тела ради их здоровой крови.

Мне необходимо было подробно рассказать об этом известнейшем из приключений Аполлония, потому что, хотя многие знают об упомянутом происшествии в самом сердце Эллады, однако же знают лишь в общих чертах — одолел-де некогда Аполлоний в Коринфе упыря, — а о том, что творила нежить, и о том, что касается Мениппа, им вовсе неизвестно. А я нашел рассказ об этом у Дамида в вышеназванных его записках.

26. В ту же пору вышла у Аполлония ссора с коринфянином Бассом. Этот Басс был явным и несомненным отцеубийцею, да притом измыслил собственное вздорное учение, и не было языку его привязи. Но Аполлоний своими посланиями и обличиями заткнул ему глотку, да и обвинение в отцеубийстве оказалось истинным, ибо не мог муж, подобный Аполлонию, ни бранью отвечать на брань, ни утверждать ложное.

27. А вот что было с Аполлоном в Олимпии. По дороге в Олимпию повстречались ему лакедемонские послы, звавшие его в гости, однако не оказалось в этих послых ничего лаконского, но все в них было изнеженность и роскошь. Увидав их безволосые голени, умощенные кудри, бритые щеки и мягкие одежды, Аполлоний отправил эфорам такое послание, после которого они издали государственный указ, воспрещая пользоваться в банях смолой, изгоняя искусниц в сведении волос и возвращая всему древний устав — а вслед за тем палестры вновь заполнились, общественные трапезы возобновились, усердие вернулось, и стала Спарта

похожа на Спарту. Когда Аполлоний узнал, что лакедемоняне навели у себя дома порядок, то отправил им нижеследующее — короче лаконской краткости — послание: «Эфорам от Аполлония: радуйтесь! Люди да не впадут в заблуждение, благородные заблудших да распознают».

28. Взирая на Олимпийский кумир, Аполлонии воскликнул: «Привет тебе, Зевс всеблагой! Поистине, настолько ты благ, что и самим собою поделился с людьми». Еще он рассуждал о бронзовом Милоне, толкуя вид сего изваяния, а изваян Милон стоящим на плоском круге ступня к ступне, и в левой руке он держит гранат, а пальцы правой вытянуты и плотно прижаты друг к другу, словно он хочет просунуть их в щель. Так вот, в Олимпии и в Аркадии об этом изваянии передают нижеследующее: Милон был столь нестигаем, что его невозможно было сдвинуть с места, на коем он стоял; а сжатые пальцы объясняют через связь гранатовых зерен — их нельзя разъять, как ни борись с каждым поодиночке, и точно то же с вытянутыми пальцами, ибо спаяны они тесной близостью; а головную повязку они полагают знаком смиренномудрия. Аполлоний сказал, что все эти объяснения придуманы хорошо, но правильное объяснение еще лучше. «Для того чтобы вы вникли в духовный образ Милона, кротонцы изваяли сего ристателя жрецом Геры. Тогда о повязке и толковать не стоит, а нужно лишь помнить о жреческом сане. То же и гранат — единственный плод, произрастающий для Геры. Что же до плоского круга под ногами, то жрец для молитвы Гере восходит на щит — это подтверждает и правая рука. А то, как изваяны пальцы и ступни, следует приписать древности изваяния».

29. Присутствуя при элидских священнодействиях, Аполлоний хвалил элидян, свершавших все рачительно и в должном порядке, словно надзирали они за собой, как за состязующимися на ристаниях, чтобы вольно или неволью не допустить какого-либо промаха. А когда товарищи Аполлония спросили его, какого он мнения об устройстве Олимпийских игр, он ответил: «Не знаю, мудры ли элидяне, но разумны весьма».

30. А какое презрение питал он к самозванным сочинителям и какими глупцами почитал взявшихся за сие непосильное дело, можно узнать из нижеследующего рассказа. Юнец, возомнивший о своей мудрости, встретился с Аполлонием в храме и пригласил его: «Пожалуй ко мне завтра, ибо я намерен кой-что прочесть». На вопрос Аполлония, что же именно, он отвечал: «Сочинение о Зевсе», — и с этими словами вытащил из-за пазухи книгу, хвалясь ее толщиной. «Какою же хвалой восславишь ты Зевса? Или речь пойдет о здешнем Зевсе, коему нет равных па земле?» — «О здешнем Зевсе тоже, но и обо многом другом — как о предпосылках, так и о следствиях, ибо все от Зевса: и времена года, и земное, и падземное, и ветры, и звезды». — «Да ты, похоже, силен в славословии», — заметил Аполлоний. «Именно по этой причине, — отвечал тот, — я сочинил похвальные слова также подагре, слепоте и глухоте». — «Почему же ты обходишь своей мудростью водянку и насморк, если уж желательно тебе восхвалять подобное? А еще лучше приняться за умирающих — поподробнее расхвалить всякие смертельные болезни и тем утишить скорбь родителей, детей и домочадцев покойного». И заметив, что юнец при этих словах прикусил язык, Аполлоний спросил: «Скажи, о сочинитель, что предпочтительнее хвалить — знакомое или незнакомое?» — «Знакомое, — отвечал тот, — ибо как можно восхвалять неведомое?» — «Ты, стало быть, уже составил похвальное слово собственному отцу?» — «Я хотел, но он кажется мне таким могучим и таким благородным и красивее всех, кого я знаю, и он такой домовитый и во всем такой мудрый — вот я и бросил эту затею, дабы не обидеть батюшку неподобающей речью». Тут Аполлоний, охваченный раздражением, какое часто испытывал в обществе тупоумных невежд, воскликнул: «Ах ты мерзавец! Собственному отцу, коего знаешь, как себя самого, ты, значит, достойной речи сочинить не решился — а к Отцу людей и богов и Творцу всего сущего, всего, что вокруг нас и над нами, ты обращаешь пустопорожние славословия! Да неужто ты не трепещешь перед ним и не берешь в толк, что рассуждения о нем превыше сил человеческих?»

31. Беседы, которые Аполлоний вел в Олимпии, были о самоважнейших предметах, как то о мудрости и о мужестве, и о воздержанности — обо всех, какие ни есть, добродетелях. Говорил он со ступеней храма, поражая слушателей не только образом мыслей, но и складом речей. Лакедемоняне донимали его, именуя его и гостем своего Зевса, и отцом спартанского юношества, и блюстителем обычаев, и старейшиной старейших. Как-то раз некий коринфянин спросил с досадой, не почтят ли они Аполлония заодно и теофанией, и получил ответ: «Близнецы свидетели! — Все для этого готово». Аполлоний, опасаясь завистников, отклонил упомянутые почести, но когда, перевалив через Тайгет, увидел он Лакедемон возрожденным и Ликурговы заветы в действии, то не в тягость себе счел потолковать со спартанскими властями о занимающих их предметах. Итак, те спросили гостя, как почитать богов, а он отвечал: «Как владык». На следующий же вопрос — как почитать героев — отвечал: «Как отцов». В третий раз его спросили, как почитать людей. «Этот вопрос не лаконоский», — возразил Аполлоний. Затем они спросили, какого он мнения об их законах, и он сказал: «Учителя превосходны, однако учителей хвалят, когда ученики не ленятся». Наконец, спартанцы спросили, что посоветует он им касательно храбрости. «Быть храбрыми — вот и все», — отвечал Аполлоний.

32. В это же время случилось так, что некий молодой спартанец был обвинен согражданами в безнравственности, ибо происходил он от Калликратида, начальствовавшего флотом при Аргинусских островах, но по приверженности своей к мореплаванию забросил государственные дела, а вместо того построил себе корабль и ходил в Карфаген и на Сицилию. Аполлоний услышал, что отдают его под суд, решил, что было бы жестоко бросить юношу, коему грозит наказание, и завел с ним беседу: «Почему ты, голубчик, ходишь такой задумчивый и озабоченный?» — «Мне предъявлено государственное обвинение, ибо я занят мореплаванием и не исполняю общественных должностей». — «А отец твой и дед тоже были корабельщиками?» — «Ну уж нет! Они у меня все гимнасиархи, эфоры и патрономы, а происхожу я от флотоводца Калликратида». «Неужто от Аргинусского?» — «Именно — он и погиб в этой должности». — «Разве смерть твоего пращура не отвращает тебя от моря?» — «Зевс — свидетель, ничуть! Я хожу в море не для сражений». — «Тогда скажи, есть ли кто злополучнее купцов и судовладельцев? Сперва они мечутся, выискивая рынок подешевле, потом продают и покупают, а для того вяжутся со всякими посредниками и прочей сволочью, готовые подставить голову под самые гнусные проценты, лишь бы с лихвой воротить капитал, — и ежели им повезет, то и корабль цел, и полным-полно рассказов, как они ничуть его — хоть вольно, хоть невольно — не повредили; но ежели прибыль долгов не покрыла, то они, пересевши в шлюпки, бросают судно на скалы, а потом богохульствуют о промысле божьем, из-за коего лишились-де жизни прочие их спутники. А если и не совсем таковы моряки и корабельщики, то все же как можно родовитому спартанцу, чьи предки некогда обитали в самом сердце Лакедемона, похоронить семя в трюме, отвергнув Ликурга и Ифита, заботясь лишь о грузе да о судовых расчетах? Это ли не позор? Если ни о чем ты думать не в силах, то подумай о самой Спарте, о том, как она, владея лишь сушею, вознесла свою славу до небес, а после, взыскуя морей, утонула в унижениях не только на море, но и на суше». Вышеприведенные слова оказали на юношу весьма сильное действие, ибо услышав, как низко пал он сравнительно со своими предками, он потупился и прослезился, а затем продал корабль, в коих заключалось его имение. Когда Аполлоний увидел, что он взялся за ум и привержен земле, он отвел его к эфорам и отклонил воздвигнутое на него обвинение.

33. Вот и другой случай, приключившийся в Лакедемопе. Спартанцам пришло послание от императора, содержащее укоры их общине, будто они нагло возмечтали о свободе, а поводом для сего письма явились наветы правителя Эллады. Лакедемоняне были в затруднении, и в Спарте начался раздор: то ли надобно кротостью утишить Кесарский гнев, то ли ответить со всею возможною гордостью — и, наконец, они спросили у Аполлония совета, так или сяк

писать. Аполлоний, узнавши об их разногласиях, пришел на сходку и произнес нижеследующую краткую речь: «Паламед изобрел грамоту не только для того, чтобы писать, а и для того, чтобы соображать, о чем писать не надо», — тем отвратив спартанцев и от дерзости, и от робости.

34. Аполлоний оставался в Спарте некоторое время после Олимпийских игр, пока не кончилась зима, а с началом весны отправился на Малейский мыс, чтобы отбыть в Рим. Однако, когда он еще обдумывал это намерение, привиделось ему во сне, будто некая женщина, ростом высокая и годами ветхая, его обнимает и просит, чтобы он навестил ее прежде, чем уплывет в Италию, ибо она-де кормилица Зевса — а на голове у нее был венок, в коем было сплетено все земное и все морское.

Он поразмыслил о вышеописанном видении и решил, что надобно ему прежде плыть на Крит, почитаемый кормилицей Зевса, ибо там был он рожден, — а что до венка, то он вполне мог означать и какой-либо другой остров. У Малей стояло несколько кораблей, готовых плыть на Крит; и вот Аполлоний взошел на корабль, достаточный для его общества — а обществом называл он своих товарищей и их рабов, ибо не пренебрегал и последними. Итак, он поплыл в Кидонию, а затем в Кносс, ибо спутники его желали увидеть Лабиринт, который там показывают и в котором, сколько я помню, содержался некогда Минотавр. Аполлоний им это позволил, однако же сам отказался смотреть на Миносковы непотребства и отправился в Гортину, стремясь добраться до Иды. Наконец,, побывавши на Иде и повстречавшись с тамошними богословами, пришел он в Лебенецкий храм — это святилище Асклепия, и как вся Азия сходится в Пергаме, так и здесь сходится весь Крит, да и многие ливийцы приплывают, ибо Лебенец обращен к Ливийскому морю и почти соседствует с Фестом, где малою скалой сдержаны великие волны. Говорят, что храм назван Лебенецким по пристройке, выступ коей похож на льва — такие сходства нередко присущи сочетаниям камней, — а по преданию это и есть один из львов, древле впряженных в колесницу Реи. Вот здесь-то Аполлоний и беседовал однажды около полудня с многочисленными служителями храма, как вдруг остров вздрогнул от землетрясения: загрохотал гром не из туч, но из-под земли, а море отступило почти на семь стадиев, и народ испугался, как бы отлив не смыл храм и не увлек за собою людей. Аполлоний изрек: «Мужайтесь, ибо море породило сушу». Собравшиеся решили, что он говорит о согласии стихий и о том, что море-де никогда не совершит насилия над землею, — но через несколько дней какие-то пришельцы из Кидонийской области принесли известие, что в тот самый день и в тот самый полдень, когда случилось землетрясение, в проливе между Ферой и Критом из моря появился остров. А теперь, не тратя долгих слов, перейдем к тому, что свершил Аполлоний в Риме, после отъезда с Крита.

35. Нерон не терпел философов: ему казалось, будто они рассуждают о пустяках, а втихомолку занимаются волхвованием, — и вот, наконец, всех носящих рубище поволокли в суд, ибо рубище было сочтено колдовским нарядом. О прочих говорить не стану, но вавилонянин Мусоний, доблестью уступавший лишь Аполлонию, был заключен в узилище за свою мудрость, пребывал там в опасности и, кабы не телесная его сила, так и умер бы в кандалах.

36. Вот какова была участь философии, когда Аполлоний прибыл в Рим. В ста двадцати стадиях от столицы вблизи Арицийской рощи повстречал он Филолая Киттийского. Этот Филолай был силен в речах, но куда слабее в стойкости: он сбежал из Рима и, обратившись в изгнанника, склонял к тому же всех встречных любомудров. Итак, он завел с Аполлонием разговор, призывая его уступить обстоятельствам и не ходить в Рим, где философию ненавидят, — и, рассказывая о тамошних делах, он не забывал коситься по сторонам, как бы кто его не подслушал. «А уж ты с этой твоей оравой философов, — говорил он, — кажешься особенно подозрительным! Ты не знаешь, какие у Нерона заставы, — да тебя и твоих друзей просто схватят у городских ворот, вы и войти не успеете». — «Каким же занятиям, Филолай, предан самодержец?» — спросил Аполлоний. «Он принародно правит колесницей, — отвечал тот, — и

распеваает на римских подмостках, и живет среди гладиаторов и сам насмерть бьется на арене». — «В таком случае, милейший, — возразил Аполлоний, — разве найдется для образованных людей зрелище великолепнее кесарских безобразий? По мнению Платона, человек — забава божества, ну а тут император сделался забавою людей и потешает чернь своим позором — чем не повод философам порассуждать?» — «Зевс — свидетель, конечно! Но только в безопасности! — воскликнул Филолай. — А вот когда схватят тебя на погибель и когда Нерон сожрет тебя живьем, и ты даже не успеешь разглядеть, как именно он это делает, вот тогда дорого обойдется тебе встреча с самодержцем, — гораздо дороже чем Одиссею встреча с Киклопом! Ведь и он погубил многих своих спутников, быв не в силах отказаться от лицемерия жестокого и безобразного чудища». А Аполлоний в ответ: «По-твоему, стало быть, у Нерона больше глаз, ежели он такое творит?» — «Пусть он делает, что хочет, а ты хоть товарищей побереги», — увещевал Филолай.

37. Эти последние слова произнес он громко и едва ли не со слезами, так что Дамид, испугавшись, как бы младшие его спутники не впали в ничтожество от филолаевых страхов, обратился к Аполлонию: «Этот трясущийся заяц погубит наших молодцов, заразив их своим унынием». — «Напротив, — промолвил Аполлоний, — из многих удач, без просьбы ниспосланных мне богами, вот эта нынешняя удача кажется мне наибольшею, ибо представился счастливый случай проверить молодых людей — твердо избрали они философию или предпочтут заняться чем-нибудь иным». И точно, не слишком рьяные любомудры были избличены без промедления, ибо под действием Филолаевых речей одни сказали, что заболели, другие — что не захватили в дорогу припасов, третьи — что соскучились по дому, четвертые — что испуганы дурным сном, и, наконец, из тридцати четырех товарищей Аполлония, направляющихся вместе с ним в Рим, осталось восьмеро, а прочие пустились наутек, удирая и от Нерона и от философии.

38. Собрав оставшихся — среди них были спознавшийся с упырем Менипп, Диоскорид-египтянин и Дамид — Аполлоний сказал: «Не стану попрекать отступников, а вот вас более всего хвалю за то, что вы — со всем как я. Я отнюдь не сочту трусом того, кто бежал в страхе перед Нероном, но ежели кто оказался выше этого страха, то в таком муже приветствую я философа и научу его всему, что сам знаю. По-моему, для начала надо помолиться богам, от коих пришло на ум тем уйти, а вам остаться, а после должны мы взять себе вожатыми богов, ибо помимо богов полагаться нам не на что. Путь наш лежит в город, начальствующий над большею частью вселенной, — как же идти туда без водительства богов? Притом в городе этом установлено жестокое и незаконное тиранство, не дозволяющее быть мудрым. Пусть никто из вас не думает, будто глупо стремиться туда, откуда многие философы бегут! Во-первых, я не полагаю ничто человеческого столь страшным, чтобы хоть на миг испугать мудреца, а во-вторых, я не побуждал бы вас упражняться в храбрости, будь эта храбрость безопасной. Ходив по земле больше, чем кто-либо из людей, я вдоволь насмотрелся и на аравийских зверей и на индийских, а вот такого зверя, который зовется в народе тираном, я не видал и не знаю, много ли у него голов и кривые ли когти, и острые ли зубы. Впрочем, говорят, зверь этот общественный и обитает в самом сердце городов, а, стало быть, он куда как злее зверей лесных и горных: львов и барсов порой все же ласкою приручают и нрав их меняют, а этого если погладить, он только пуще ярится и, становясь злее прежнего, грызет всех подряд. Скажут ли о каком из зверей, что он сожрал родную мать? А вот Нерону и этот корм сгодился! То же свершили Орест и Алкмеон, однако им в оправдание были отцы, из коих один был собственною женой убит, а другой продан за ожерелье, — а Нерон, благодаря матери усыновленный престарелым государем и этим способом получивший в удел власть, погубил родительницу кораблекрушением, нарочно для того построив судно так, что у самого берега настигла ее смерть. Однако, ежели по этой причине кто-то боится Нерона и потому оставляет философию, полагая, будто небезопасно

перечить такому норову, пусть знает: победить страх дано тем, кто предан воздержности и мудрости, ибо им и боги в помощь. Дурь гордецов следует почитать такую же, как дурь пьяниц, коих мы полагаем шальными, но отнюдь не боимся. Итак, ежели мы тверды, идем в Рим! А в ответ на указы Нерона, воспрещающие философию, есть у нас строка Софокла:

Нет! сей закон не Зевсом мне указан!

А кстати, и не Музами, и не Аполлоном — витией! Впрочем, наверно и сам Нерон знает эти ямбы — он, говорят, любит трагедии. Тут сам собою приходит на ум Гомеров стих о том, что воины, повязанные словом, становятся единым шлемом и единым щитом — по-моему, так же точно вышло и с названными мужами, ибо, вдохновленные речами Аполлония, они обрели силу умереть за философию и отличиться доблестью от беглецов.

39. Итак, подошли они к городским воротам, где привратники ни о чем их не спросили, а подивились на их одежды, отнюдь не нищенские, но скорее жреческие. Найдя пристанище в ближайшей от ворот гостинице, философы сели обедать, ибо уже вечерело, как вдруг появился словно бы пьяный гуляка с голосом, не лишенным приятности, — он, похоже, бродил по всему Риму, распевая песни Неронова сочинения и за то получая мзду, и ежели кто слушать его не хотел или отказывался платить за песню, того человека ему разрешалось хватать за оскорбление величества. При нем была кифара и все, что требуется для игры на кифаре, а еще была у него в сумке про запас какая-то струна из укрепляемых на пробу: он говорил, что это-де струна с Нероновой кифары, и он-де купил ее за две мины и никому не продаст, разве только кифареду из кифаредов, отправляющемуся на Пифийские ристания. И вот, приступив к игре, он начал, как положено, с краткого славословия — тоже Неронова сочинения, а затем стал петь из «Орестеи» и из «Антигоны», и еще всякое из разных Нероновых трагедий — а пел он с переливами, подражая Нероновым завываниям и вывертам. Так как любомудры слушали вполуха, он стал обвинять их в оскорблении Неронова величества и в ненависти к божественному его голосу, однако они и головы не повернули. Наконец, Менипп спросил Аполлония, каковы ему кажутся все эти разговоры. «Таковы же, каковы песни, — отвечал тот, — так что давай, Менипп, не будем злоститься, а заплатим за потеху и пусть себе воскуряет ладан Нероновым музам!»

40. Вот такое было происшествие с пьяницей. Однако в тот же день один из консулов — Телесин, призвавши к себе Аполлония, начал его допрашивать: «Что это за наряд?» — «Это одеяние чистое и ни с чем мертвым не соприкосновенное», — отвечал Аполлоний. «А в чем твоя мудрость?» — «В волхвовании и в науке молитв и жертвоприношении». — «Ах ты философ! Да есть ли человек, коему это неведомо?» — «Их множество, а ежели и найдется кто воистину сведущий, то и ему лучше послушать более мудрого, который ежели что знает, так знает наверняка». Выслушав этот ответ, Телесин, сам бывший весьма набожным, понял, кто перед ним, ибо слухи об Аполлонии доходили до него уже давно, однако решил, что нет надобности напрямик спрашивать имя — на случай, если желательно будет от кого-либо это скрыть, — и потому вновь повернул беседу к божественным предметам, до коих был большой охотник. Итак, он обратился к Аполлонию уже как к мудрецу: «О чем ты молишься, приближаясь к алтарям?» — «Что до меня, — отвечал Аполлоний, — то я молюсь о справедливости — да пребудет, о законах — да не будут нарушены, о мудрых — да будут бедны, обо всех прочих — да будут богаты, но только честным богатством». — «Неужто, прося столь многое, ты ожидаешь, что дастся тебе по молитве твоей?» — «Зевс — свидетель, да, ибо я умещаю все в единую молитву и, подходя к алтарю, молюсь так: «Боги, даждьте мне должное!» Поистине, ежели я — хороший человек, то получу просимое с избытком, а ежели боги числят меня среди негодяев, то получу я противоположное просимому и не стану корить богов, что, будучи дурен, заслужил зло». Телесин был тронут вышеприведенной речью и, желая отблагодарить Аполлония, сказал ему: «Открыт тебе путь во всякий храм, и будет тебе от меня грамота к тамошним служителям,

чтобы принимали тебя и наставлениям твоим следовали». — «Ну, а если не напишешь, они меня не пустят?» — «Зевс — свидетель! не пустят! Они у меня под началом». — «Я рад, — возразил Аполлоний, — что сию высокую должность исполняет муж, столь благородный, однако мне бы хотелось, чтобы ты побольше узнал обо мне: я люблю жить в не слишком крепко запертых храмах, а боги делят со мною крышу и не жалуются на меня — пусть и здесь мне это будет позволено, ибо дозволялось даже у варваров». — «Тут варвары заслужили куда больше похвал, чем римляне: о когда бы и о нас такое говорили!» — отвечал Телесин. Итак, Аполлоний стал жить в храмах, но часто менял место и переходил из одного храма в другой, а когда его этим попрекали, отвечал: «Даже боги не пребывают все время на небесах, но отправляются то в Эфиопию, то на Олимп, то на Афон — по-моему, сущая глупость, что боги посещают все людские племена, а люди не обходят всех богов! Скажу больше: господа, пренебрегающие рабами, отнюдь не заслуживают порицания, ибо причиной такового презрения обычно бывает рабское тупоумие, а вот ежели рабы не преданы всецело служению господам, то будут изничтожены, ибо сделались врагами богов и человеконогими негодяями».

41. Вследствие таких поучений общая набожность возросла, и люди сбегались в храмы, где был Аполлоний, дабы тем стяжать поболее божественной благодати. Эти беседы не воспрещались, ибо рассуждал Аполлоний принародно и обращался равно ко всем — ни в чьи двери не ломился, о властях предержавших не судачил, но ежели являлся к нему вельможа, то и с ним он был приветлив, а говорил о том же, о чем и с простонародьем.

42. В повествовании о коринфских происшествиях я уже упоминал, как предан был Аполлонию Деметрий — так вот, будучи уже в Риме и по-прежнему среди почитателей Аполлония, он стал нападать на Нерона, а подозрение пало на Аполлония: будто это его козни и будто он науськивает Деметрия, а особенно против бань. Нерон как раз выстроил бани — роскошнее в Риме не бывало — и в благоприятный день их освящал. Присутствовал сам Нерон, присутствовали все сенаторы и римские всадники, пришел в бани также и Деметрий и разразился речью против моющихся: они-де тут лишаются силы, да вдобавок и сквернятся — словом, он доказывал, что тратиться на бани не стоило. От безотложной смерти за эту речь он избавился, ибо Нерон в тот день пел и был в голосе — а пел он в пристроенной к бане харчевне, прикрыв наготу лишь препоясанием, как самый бесстыжий из кабацких бесстыдников. Впрочем, вполне избежать беды, которую он навлек на себя сказанным, Деметрию не удалось — Тигеллин, держатель меча Неронова, изгнал его из города за злоумышление против мыльни, а за Аполлонием установили тайную слежку на случай, ежели и тот скажет что-нибудь поперечное или злонамеренное.

43. Однако же Аполлоний явно не был ни насмешлив, ни озабочен, как это свойственно остерегающимся какой-либо беды, но по-прежнему охотно рассуждал о предлагаемых ему предметах. В числе его слушателей был Телесин, были и другие, ибо хотя вообще-то философия была в опале, но им было невдомек, что опасными могут быть и занятия с Аполлонием. И все же, как я сказал, он был под подозрением, и подозрение это еще усилилось после беседы о небесных знамениях. Дело было так. Случилось затмение солнца, и в тот же день загремел гром, а подобные события совпадают весьма редко. И вот, глянув на небеса, Аполлоний изрек: «Нечто великое свершится и не свершится». Слышавшие это пророчество не сумели сразу разгадать его смысл, и лишь на третий день после затмения все прояснилось: когда Нерон сидел за едой, в стол ударила молния, выбив чашу из рук императора и пролетев совсем рядом с его лицом, — так что он едва не был поражен перуном и сбылись слова «случится и не случится». Услыхав обо всем этом, Тигеллии стал бояться Аполлония, полагая его искушенным в чудедействе, и предпочел открытого обвинения не возбуждать, ибо опасался колдовской порчи, но во все глаза — а у власти глаз много — следил, говорит Аполлоний или молчит, сидит на месте или ходит, что ест и где ест, приносит жертвы или не приносит жертвы.

44. Тут напала на Рим болезнь, которую врачи именуют дыхательным катаром, а состоит она в том, что от нее люди кашляют и говорят сиплым голосом. Храмы были полны и все молили богов об исцелении, ибо у Нерона распухло горло и он охрип. Аполлоний порицал это всеобщее помешательство, но никого в отдельности не корил и утихомиривал раздраженного Мениппа, уговаривая и призывая его извинить богов, если уж те столь охочи до скоморошьего кривлянья. Об этих разговорах донесли Тигеллину, который без промедления послал стражников, дабы заключили они Аполлония в темницу — пусть оправдывается в оскорблении Неронова величества. Был приготовлен и обвинитель, уже погубивший множество людей и не раз побеждавший в подобных ристаниях — в руках у него была свернутая записка, содержащая обвинение, и запиской этой он замахивался, словно мечом, твердя, что наострил свой донос на погибель Аполлонию. Тигеллин развернул этот свиток, но не обнаружил там ни следа хотя бы единой буквы: перед ним была неисписанная бумага, и понял он, что свершилось чудо — то же самое, говорят, позднее испытал в сходных обстоятельствах Домициан. Поэтому, уведя Аполлония в скрытную темницу, где власти собственным произволом и втайне вершили суд над главнейшими преступниками, Тигеллин всех отослал и принялся расспрашивать узника, кто он таков. Аполлоний назвал своего отца и свое отечество и объявил, что назначение его мудрости — познать божеское и понять человеческое, ибо познать свое труднее, чем чужое. «А вот касательно бесов и привидений, — спросил Тигеллин, — скажи, Аполлоний, как ты их изгоняешь?» — «Точно так же, как убийц и нечестивцев», — отвечал тот, намекая этими словами на самого Тигеллина, состоявшего при Нероне наставником во всяческих дикостях и гнусностях. «А можешь ли ты открыть мне грядущее, ежели я попрошу?» — «Как можно? Ведь я не пророк!» — «Однако ты, говорят, предсказал нечто великое, которое свершится и не свершится». — «Ты слышал верно, однако тут было не пророчество, а мудрость, которую бог являет мудрецам». — «Но почему ты не боишься Нерона?» — «Потому что ему бог позволил устрашать, а мне дал бесстрашие». — «А какого ты мнения о Нероне?» «Гораздо лучшего, чем все вы! По-вашему, он способен петь, по-моему, — молчать». Тут изумленный Тигеллин сказал: «Уходи, но прежде представь поручительство за личность». — «Стоит ли ручаться за личность, которую нельзя заключить в оковы!» — возразил Аполлоний. Тигеллину его слова показались сверхчеловеческими и божественными, а потому, опасаясь сделаться богоборцем, он воскликнул: «Иди, куда хочешь, ибо ты сильнее власти моей!»

45. А вот еще одно из чудес Аполлония. Некая девица в час своей свадьбы вдруг — по общему мнению — умерла. Жених неотступно шел за погребальными носилками, рыдая, что брак остался незавершенным, а вместе с ним плакал весь Рим, ибо девица была из весьма знатной семьи. Узрев такое горе, Аполлоний сказал: «Опустите носилки, ибо я остановлю слезы, проливаемые вами по усопшей», — а затем спросил, как ее звали. Многие решили, что он намерен произнести речь, какие обычно произносят на похоронах, дабы подстегнуть всеобщие сетования, однако Аполлоний ничего подобного делать не стал, а коснулся покойницы, что-то потихоньку ей шепнул — и девица тут же пробудилась от мнимой смерти: и собственным голосом заговорила, и воротилась в отеческий дом, точно как оживленная Гераклом Алкестида. Родственники ее хотели подарить Аполлонию сто пятьдесят тысяч, но он сказал, что отдает эти деньги отроковице в приданое. То ли он обнаружил в мнимой покойнице некую искру жизни, укрывшуюся от тех, кто ее пользовал, — не зря говорили, что под дождем от лица покойницы шел пар, — то ли уже угасшую жизнь согрел он своим прикосновением — так или иначе вопрос этот остался неразрешим не только для меня, но и для свидетелей описанного события.

47. В ту же самую пору Мусоний, о коем говорят, что в философии он превосходил всех, пребывал заключенным в узилище Нероном. Открыто они с Аполлонием не сносились, ибо Мусоний, не желая опасности для обоих, такой способ отверг, а вели переписку через Мениппа

и Дамида, навещавших узника в темнице. Письма о предметах незначительных я опускаю, но полагаю необходимым привести те послания, в коих возможно усмотреть нечто важное.

«Мусонию-философу от Аполлония: радуйся! Я хочу придти к тебе, дабы разделить с тобою беседу и темницу, в надежде, что будет тебе от меня польза. Неужто ты не веришь, что Геракл вызволил некогда Тесея из Аида? Напиши, чего ты хочешь. Будь здоров».

«Аполлонию-философу от Мусония: радуйся! Твои намерения похвальны, однако тот, кто никакой вины за собой не имеет и способен себя защитить, — такой человек себя еще покажет. Будь здоров».

«Мусонию-философу от Аполлония: радуйся! Афинянин Сократ не пожелал, чтобы друзья его вызволили, но явился в судилище и погиб. Будь здоров».

«Аполлонию-философу от Мусония: радуйся! Афинянин Сократ погиб, ибо не был расположен защищаться, а я защищусь. Будь здоров!»

48. Когда же Нерон отбыл в Элладу, прежде государственным указом воспретив заниматься в Риме философией, Аполлоний отправился в западные земли, пределом коих, как говорят, установлены Столпы. Он собирался посетить Океанское побережье и Гадиру, ибо слышал, как привержены тамошние жители любомудрию и сколь много достигли в науке о божественном. За Аполлонием следовали все его ученики, восхваляя и его самого и предстоящее путешествие.

КНИГА ПЯТАЯ

1. Баснословные предания о Столпах, которые Геракл якобы утвердил пределом земли, я опускаю, однако поясню кой-какие обстоятельства, более важные и для рассказчика, и для слушателей. Между окраинными побережьями Европы и Ливии есть пролив в шестьдесят стадиев, и через этот пролив Океан проникает во Внутреннее море. Пограничная оконечность Ливии именуется Абинной, и отроги тамошних гор изобилуют львами, а сами горы тянутся внутрь страны, простираясь вплоть до земель гетулов и тингов — те и другие суть зверовидные ливийские племена — и еще далее, если плыть по Океану до устья Салекса, то есть на девяносто стадиев, а затем еще дальше, однако тут уже расстояние невозможно исчислить, ибо за Салексом Ливия пустынна и совершенно безлюдна. Оконечность Европы зовется Кальпой, простирается справа от протока на шестьсот стадиев, а на самом краю стоит древний город Гадира.

2. Я сам видел в стране кельтов океанские приливы — как о них говорят, таковы они и есть. Много размышлявши о причине, почему эти неисчислимы волны наступают и отступают, я решил, что Аполлоний рассудил верно: в одном из посланий к индусам он говорит, что Океан колеблем подводными вздохами из многих расселин, кои находятся в океанском дне и в окружающей суше, — потому-то воды вздымаются и втягиваются — совершенно как при дыхании, когда выдохи чередуются со вздохами. Достоверность приведенного объяснения подтверждается и ходом человеческих недугов в Гадире, ибо пока вода поднимается, душа не расстается с умирающим телом, а такое совпадение было бы невозможно, когда бы не всходило и земное дыхание. Говорят, что воздействует на Океан рождение или полнота, или убыль луны — и я знаю, что это правда, ибо Океан соразмерен с четвертями луны, вместе с месяцем прибывая и убывая.

3. У кельтов день сменяет ночь и ночь сменяет день при весьма скоротечном прибавлении света или темноты; так, например, в окрестностях Гадиры и Столпов эта мгновенность, говорят, поражает взор, словно зарница. А еще рассказывают, будто с Ливией сопредельны Острова Блаженных, вплотную подступающие к ее необитаемой окраине.

4. Гадира расположена на самом краю Европы. Жители этого города весьма прилежат благочестию: они воздвигли алтарь Старости и — единственные среди людей — поют славословия Смерти, имеются у них также капища Бедности, Искусства, Геракла Египетского и еще другие — Геракла Фиванского, ибо, по их словам, один Геракл ходил войною на ближнюю Ерифию и там полонил Гериона и его быков, а совсем другой Геракл мудрости ради измерил всю землю до крайних ее пределов. А еще о них говорят, что они весьма привержены всему эллинскому: воспитывают юношество по нашему отечественному обычаю и что изо всех эллинов особенно любят афинян — приносят жертвы афинянину Менесфею, а флотоводца Фемистокла почитают за мудрость и храбрость, и воздвигнутый ими бронзовый Фемистокл задумчив, словно перед пророчеством.

5. Путешественники рассказывают также, что видели в тех краях деревья, каких нет больше нигде на земле: деревья эти зовутся герионеями, числом их два, растут они на Герионовом кургане, породю — помесь сосны с пинией и сочатся кровью, точно как тополи-гелиады золотом. Остров, на коем воздвигнут храм, размером равен святилищу, так что нет на нем ни единого дикого камня, но весь остров — словно тесаная башня. В храме почитают обоих Гераклов, хотя кумиров их там нет, а воздвигнуты алтари: Египтянину — два медных и ничем не отмеченных, Фиванцу — один и изображены на нем змеи, Диомедовы кони и все двенадцать

подвигов Геракла, а сам алтарь каменный. Что до золотой Пигмалионовой оливы, то и она хранится в Геракловом святилище и, по рассказам путешественников, восхищения достойно, как сработана ветвь, но еще большее восхищение внушает плод на ветви, ибо он весь смарагдовый. В храме показывают также золотой пояс Тевкра Теламонида, однако как и зачем приплыл тот к Океану — этого, по словам Дамида, он ни сам понять не мог, ни разузнать от местных жителей. Еще имеются во храме Столпы — сделаны они из одноцветного сплава золота и серебра, высотой они более локтя, четверугольные и похожи на наковальни, а вершины их покрыты письменами не египетскими и не индийскими — ничего знакомого из них не складывается. Так как об этом жрецы ничего не рассказывали, Аполлоний сказал: «Геракл Египетский не позволяет мне умолчать о том, что я знаю. Сии столпы суть скрепы Земли и Океана, а письмена начертаны на них самим Гераклом в обители мойр, дабы не возник между названными стихиями разлад и не подверглась бы порче связующая их дружественность».

6. Путешественники рассказывают также, что проплыли вверх по реке Бетису, каковая река весьма многое проясняет в природе Океана, ибо во время высокого прилива река течет вспять к своим истокам, гонимая, очевидно, дыханием моря. Что же до Бетийской долины, именуемой по упомянутой реке, то долина эта из всех земель превосходнейшая, изобилует городами и пастбищами, во все тамошние селения подведены речные воды, и произрастают там во множестве различные злаки, а погода стоит такая, как в Аттике осенью — в пору, когда справляют мистерии.

7. Дамид говорит, что в Гадире Аполлоний много беседовал, когда представлялись для того подходящие поводы. Нижеследующие беседы Дамид счел достойными записи. Однажды, когда путешественники сидели в святилище Геракла, Менипп, вдруг вспомнив о Нероне, сказал со смехом: «Как-то там наш любезный? На каких играх его венчают? Достойные эллины на всех этих праздниках небось прямо-таки надрываются от хохота!» — «А вот я слышал от Телесина, — возразил Аполлоний, — что наш милый Нерон боится элидских плетей. Холуи уговаривали его победить на Олимпийских играх — пусть-де глашатаи объявят Рим, — а он ответил: «Ладно, только бы элидяне меня не засудили — они вроде бы против меня умышляют и готовят плеть». Впрочем, он успел сказать глупости и поглупее. А сам я скажу так: в Олимпии Нерон победит — у кого же хватит смелости с ним тягаться? — Однако в священных ристаниях победителем ему не бывать, потому что игры-то будут в неурочную пору: положено было устроить их в прошлом году, а Нерон велел элидянам все отложить до его приезда — ведь он им дороже Зевса. Говорят, он обещал элидянам трагедию и песню под кифару — элидянам, у коих нет ни театра, ни даже помоста для подобных представлений, но имеется лишь естественный стадион, где состязаются голышом, а он собирается там побеждать, укутанный с головы до ног! Притом он скинул с себя тогу Августа и Юлия и вырядился в одежды Амебея и Терпна — ну что ты на это скажешь? Креонта и Эдипа он представляет с превеликим тщанием и все боится, как бы чего не упустить, как бы не ошибиться дверью, плащом или жезлом, а вот свою собственную и римскую честь вовсе отбросил — законодательство заменил пением и уличным кривляньем, хотя надлежит государю восседать под крышей и надзирать над землею и над морем! Уже во многие скоморошья ватаги Нерон записался — что же дальше, Менипп? Если какой-нибудь лицедей, сыграв Эномая или Кресфонта доиграется до того, что, спустившись с подмостков, пожелает начальствовать над товарищами и вообразит себя самодержцем, что ты о нем скажешь? Наверняка скажешь, что ему надобно принять чемерицы и других снадобий для очищения рассудка. А тут подлинный самодержец, обратясь к лицедейству и художеству, изошряет голос, трепещет перед элидянами и дельфийцами, а если и не трепещет, то, во всяком случае, столь низко ценит собственное искусство, что опасается, как бы не высекали его те, над кем поставлен он владыкою! Что ты скажешь о горемыках, коим приходится жить под таким вот мерзавцем? Ну что, по-твоему, Менипп, могут думать о нем эллины? «Ксеркс нас жег — Нерон нам поет», —

вот что они думают! Ты только вообрази, в какие расходы входят они из-за этих его песен, и как гонят их вон из их жилищ, не позволяя даже присмотреть, чтобы добро не раскрасили и рабы не разбежались! Ты вспомни о женщинах и детях, коих по слову Неронову выволакивают из домов ради бесстыжей его прихоти! Ты подумай, какие начнутся казни — о прочих поводах я уж не говорю — из-за всех этих песен и представлений: «Ты не пошел слушать Нерона!» или «Ты присутствовал, но слушал без внимания!» или «Ты засмеялся!» или «Ты не рукоплескал!» или, наконец, «Ты не приносил жертвы за его голос, дабы явился он еще звучнее на Пифийских ристаниях! Ты видишь? Для эллинов приготовлены многие Илиады зрелищ! Например, я давно уже предсказал по божественному вдохновению, что Истм будет и не будет перекопан — а теперь, по слухам, его как раз и взялись перекапывать». Тут Дамид прервал Аполлония, воскликнув: «А вот по-моему, Аполлоний, предприятие с каналом затмит все, что сделал Нерон, — ты и сам видишь, сколь велик этот замысел!» — «Я согласен, — отвечал Аполлоний, — однако и тут, Дамид, Нерона опозорит его же бестолковость: как неспособен он спеть песню, так неспособен и вырыть яму. Рассуждая о делах Ксеркса, я хвалю его не за то, что выстроил он мост через Геллеспонт, но за то, что переправился по этому мосту, а Нерона я пока не вижу ни плывущим сквозь Истм, ни даже докапывающим свой канал до конца, и думается мне ежели есть еще правда на свете, что он в страхе удерет от Эллады!»

8. А несколько позже примчался в Гадиру спешный гонец с приказом приносить благодарственные жертвы за добрую весть и славить Нерона, трижды победившего в Олимпии. Жители Гадиры понимали, о какой победе идет речь, ибо знали о некоем знаменитом Аркадском состязании — как я уже говорил, они привержены эллинским обычаям, — но в соседних с Гадирой городах никто понятия не имел ни об Олимпийских играх, ни о ристаниях и ристалищах, и поэтому горожане, не ведая, зачем приносят жертву, строили на сей счет смехотворные предположения, воображая, будто Нерон одержал военную победу и полонил каких-то людей, именуемых олимпийцами, — ведь на трагедиях или кифаредиях им тоже ни разу не довелось побывать.

9. Впрочем, Дамид рассказывает о том, что испытали жители Иполы — города в Бетике — при виде трагического лицедея, и этот случай я полагаю достойным упоминания. Итак, горожане все приносили да приносили благодарственные жертвы, ибо пришли вести уже и о Пифийских победах Нерона, когда помянутый лицедей — один из тех, кто не решились состязаться с Нероном, — явился дать представление в западных городах. Среди не самых диких туземцев он стяжал своим искусством успех, во-первых, потому что пришел к людям, прежде не слыхавшим трагедий, а во-вторых, потому что утверждал, будто в точности подражает пению Нерона. Однако, когда прибыл он в Иполу, то тамошние жители испугались, хотя он не успел еще и рта открыть, но только взошел на подмости: увидели они, как широко он шагает, как разинут у него рот, как высоко возносят его котурны, какая диковинная на нем одежда — и уже это обличье было для них страшноватым; а когда, возвысив голос, начал он песнопение, то едва ли не все обыватели обратились в бегство, словно от бесовского клича. Вот такие у них варварские и старозаветные нравы.

10. Правитель Бетики весьма желал познакомиться с Аполлонием, хотя тот и говорил, что беседа его может быть привлекательна лишь для философа. Правитель, однако, настаивал, а так как, по слухам, человек он был добрый и к Неронову кривлянью питал отвращение, то Аполлоний написал ему, приглашая явиться в Гадиру, и тот явился — безо всякой начальственной пышности, но лишь с немногими ближайшими друзьями. После взаимных приветствий они удалили присутствующих, так что о чем шла у них беседа, никому не ведомо, — а по домыслам Дамида они сговаривались против Нерона, ибо когда после трех дней разговоров с глазу на глаз правитель, уже уходя, обнял Аполлония, тот сказал: «Будь благополучен и помни о Виндексе». Что же это могло означать? А вот что. Пока Нерон пел песни в Ахайе, поднялся против него на

Западе Виндекс — и муж сей оказался способен порвать струны, на коих столь неумело бряцал Нерон, ибо он обратился к подначальному своему войску с речью против Нерона, и речь эта была всецело проникнута самою благородною философией, вдохновляющей на борьбу с тираном: он говорил, что Нерон — кто угодно, только не кифаред, но уж скорее кифаред, чем государь, а еще он уличал его в безумии, корыстолюбии, зверстве и всяческом разврате, и только в жесточайшем из зверств его не винил, ибо справедливо-де было убить мать, породившую такого сына. И вот Аполлоний, предвидя, как все это случится, свел с Виндексом правителя сопредельной области и только что сам не пошел походом на Рим.

11. Итак, на Западе стало беспокойно, а потому Аполлоний со спутниками повернули оттуда к Ливии и Тиррении и, путешествуя то пешком, то по морю, добрались до Сицилии, где пристали к Лилибейскому мысу. Приплывши затем к Мессине и к проливу, где слияние Тирренского моря с Адриатическим творит грозную Харибду, они услышали, что Нерок бежал, а Виндекс мертв и что взыскуют власти многие — иные из самого Рима, иные из разных провинций. А когда товарищи спросили Аполлония, каков будет предел упомянутым событиям и кому в конце концов достанется власть, он отвечал: «Многим фиванцам», ибо сравнил невеликие силы, бывшие в обладании у Вителлия и Гальбы и Отона с силами фиванцев, которые лишь самое краткое время главенствовали в греческих делах.

12. Право же, из вышесказанного ясно, что Аполлонии предвидел события, движимый божественною силою, и что ничего не стоят утверждения тех, кто полагает, будто бы он был колдуном. Давайте разберемся. Что до колдунов, — вот уж, по-моему, злосчастнейшие из людей! — то они говорят, будто меняют судьбу, а потому то пытаются расспросами призраков, то приносят дикарские жертвы, то заклатья поют, то зельями мажутся — и многие из них, будучи обвинены в перечисленных деяниях, признавались, что искушены в них весьма. Однако Аполлоний был послушен мойрам и предсказывал лишь то, что свершалось по неизбежности, а ведал он это наперед не колдовским ухищрением, но по подсказке богов. Да и у индусов, когда увидел он треножки, кравчих и прочие самоходные снасти, о коих я уже рассказывал, то он не расспрашивал, как они устроены, и не просил научить его этой премудрости — похвалить похвалил, но подражать не удостоил.

13. После того как путешественники прибыли в Сиракузы, некая именитая сиракузянка произвела на свет чудище, каких дотоле не рождались, ибо у младенца было три головы — каждая на особой шее, а ниже единое тулово. Иные глупцы толковали это так, что Сицилия — трехугольный остров — погибнет, ежели не будет на ней согласия и единодушия, ибо в ту пору многие города были охвачены раздором внутренним и внешним, так что не было в жизни островитян порядка. Другие говорили, что это Тифон — ибо он многоглав — грозит Сицилии мятежом. И вот Аполлоний сказал: «Пойди, Дамид, посмотри, действительно ли дитя таково», — а чудище было выставлено ради домыслов зевак на всеобщее обозрение. Когда Дамид донес, что младенец трехглав и мужского пола, Аполлоний, собравши товарищей, сказал: «Будет у римлян три самодержца, коих давеча я назвал фиванцами. однако полной власти ни один не достигнет, но, возвысившись, погибнут: те — в самом Риме, этот — по соседству, так что скинут они личину быстрее лицедеев,, представляющих тиранов в трагедии». Вскоре слова сии прояснились, ибо Гальба, едва ухвативший власть, погиб в самом Риме, равно как и Вителлин, для коего власть была лишь сновидением, и, наконец, Отону, умершему среди западных галлов, не досталось даже погребальных почестей, но был он похоронен словно простой обыватель. И все это — полет Случайности за единый год.

14. Затем путешественники прибыли в Катану — туда, где Этна. Там они услышали, что, по мнению жителей, в Этне заключен Тифон и что от него исходит пламя, дымящее над горой, однако сами они в ученых рассуждениях дошли до более правдоподобных и пристойных умозаключений. Завел беседу Аполлоний, спросив товарищей: «Что такое баснословие?» —

«Клянусь Зевсом, — отвечал Менипп, — это то, что твердят поэты». — «А кто, по-твоему, Эзоп?» — «Всего лишь баснописец и рассказчик». — «В чьих же повествованиях мудрость?» — «У поэтов, ибо они славословят словно бы действительно бывшее». — «А Эзоп?» — «Все эти лягушки, ослы и прочий вздор годится в жвачку только старухам да ребятам». — «Ну, а вот мне, — возразил Аполлоний, — басни Эзопа кажутся куда более сообразными с мудростью. Предания о героях, коими изобилует словесность, развращают слушателей, ибо стихотворцы то толкуют о неподобных страстях и о кровосмесительных браках, то на богов клеветают, то описывают пожирание детей или подлое коварство или кровную месть — и все это, словно бы вправду бывшее, побуждает похотливцев, завистников и забияк роскошествовать и самодурствовать, точно следуя сказочному примеру. У Эзопа, напротив, хватило ума, во-первых, не становиться в один ряд с вышеназванными сочинителями, но свернуть на собственную дорогу; во-вторых, подобно тем, кто в охотку угощается простою пищей, он из малого события выводит большое поучение и, закончив рассказ, добавляет «делай так» или «не делай так»; и, наконец, он более стихотворцев привержен правдолюбию, ибо те ради кажущейся достоверности насилуют собственные сочинения, а он предлагает нам вымысел — и это всякому очевидно, — а получается речь его истинной уже потому, что он ее таковой не объявляет. Стихотворец, завершив свою повесть, оставляет здравомыслящего слушателя ломать голову, то ли было так, то ли не было, а Эзоп и ему подобные рассказом врут, однако последующим наставлением показывают, что и ложь бывает слушателям на пользу. Приятно у Эзопа и то, что бессловесных тварей делает он милее и занятнее для людей: мы с детства срослись с его баснями, мы на них вскормлены-вспоены и из них мы усвоили о каждом животном мнение, что этот зверь как бы царственный, а тот как бы глупый, этот хвастливый, а тот безобидный. Вот стихотворец сказал: «Многовидны промысла лики» или что-нибудь в таком роде — сплясал да и ушел, а Эзоп, сопроводив речь свою вещим словом, завершает беседу задуманным уроком.

15. Когда был я, Менипп, совсем еще дитятей, научила меня мать сказке об Эзоповой мудрости. Был-де во время оно Эзоп пастухом, и было его пастбище по соседству с храмом Гермеса, коему он, взыскав мудрости, о мудрости молился. Многие другие приходили к Гермесу с тою же просьбою и несли в дар кто золото, кто серебро, кто слоновой кости жезл, кто иную какую драгоценность, а Эзоп в своем именье подобного не имел, однако же приберегал для Гермеса, что было — возливал ему молока столько, каков у овцы удои, нес столько медовых сот, сколько вмещается в горсти, не забывал угостить бога миртовыми ягодами и возложить на алтарь розы или фиалки, пусть немногие, а приговаривал так: «Неужто надобно, о Гермес, бросивши стадо, плести венки?» Наконец, наступил урочный день раздачи мудрости, и Гермес, бог речи и корысти, сказал одному — и уж, конечно, тому, кто больше всех пожертвовал: «Владей философией!», а второму по щедрости: «Вступи в обитель красноречия!», а остальным: «Тебе удел астрономии! Тебе удел музыки! Ты, стихотворец, бери ироический метр! А ты бери ямб!» И так он, сам того не желая, — хоть и превосходит разумением, — раздал все части мудрости, а затем вдруг заметил, что Эзопа-то и позабыл. Тут пришло ему на память, как некогда Оры, коими был он вскормлен, на Олимпийских кручах, рассказывали ему, еще спеленутому младенцу, сказку о корове — спорила-де корова с человеком о земле и о самой себе — и как из-за этой сказки возжелал он Аполлоновых коров. И вот отдает он Эзопу баснословие — последнее, что осталось в доме мудрости, и говорит: «Держи мою первую науку!» Вот откуда явилось Эзопу многовидное его искусство — и так возвысилась басня.

16. Пожалуй, однако, я поступил неразумно, ибо, намереваясь обратить вас к рассуждениям более сообразным с природою и более истинным, нежели те сказки, какие рассказывает об Этне большинство, я сам принялся восхвалять сказку. Впрочем, такое отступление не напрасно: отвергаемая нами сказка относится не к числу Эзоповых басен, но к числу завлекательных

вымыслов, непрестанно повторяемых стихотворцами, которые твердят, будто под вышеназванной горой заключен то ли Тифон, то ли Энкелад, в смертных своих муках выдыхающий видимое нами пламя. Что гиганты вправду были, с этим я и сам согласен, как и с тем, что повсюду на земле при раскапывании могил обнаруживаются исполинские скелеты; однако с богами гиганты не воевали, но — самое большое! — надругались над храмами и кумирами, так что думать, будто они забрались на небо и сражались там с богами, — сущее сумасшествие. Ничуть не больше — хотя и кажется он пристойнее — я доверяю рассказу, будто Гефест устроил в Этне свою кузницу и будто по одной из ее вершин бьет он своим молотом. Право, множество есть на земле и других огнедышащих гор, так что невозможно напасть на них гигантов и Гефестов.

17. Чем же объяснить природу подобных гор? А вот чем. Если земля содержит смесь смолы и серы, то дышит она сама по себе, но пламени не извергает, а если окажутся в земле полости с проникшими в них парами, то вздымается оттуда вроде как сторожевой огонь. Затем, набравши силу, пламя, точь-в-точь как вода, струится с гор и стекает в долину: и так огненная лава достигает моря, образуя устья, подобные устьям рек. Стало быть и здесь существует нечто вроде омываемой пламенем суши праведников, однако же будем помнить, что для благочестивых вся земля — надежная обитель и что море удобопроходимо не только для моряков, но и для пловцов». Вот так всегда завершал Аполлоний свою речь приличествующим наставлением.

18. Проведя на Сицилии в ученых беседах столько времени, на сколько хватило его усердия, он в пору восхождения Арктура отправился в Элладу и, после беспечального плавания, достиг Левкады, где сказал: «Сойдем с этого корабля — плыть на нем в Ахайю не стоит», — и никто кроме близких знакомцев внимания на эти слова не обратил. Итак Аполлоний вместе с теми, кто желал разделить с ним плавание, добрался до Лехейской гавани на левкадском корабле, а сиракузское судно потонуло, едва выйдя в Крисейский залив.

19. В Афинах Аполлоний был посвящен в таинства тем самым жрецом, о коем предсказывал он предыдущему иерофанту; встретился он и с Деметрием-философом, ибо после происшествия с Нероновой баней и после речей своих об этой бане Деметрий имел смелость жить в Афинах, не покидая Элладу даже в ту пору, когда Нерон бесстыдничал на ристаниях. Деметрий рассказал, как на Истме повстречал среди землекопов Мусония в кандалах и обратился к нему с подобающим утешением, а тот-де стиснул свою кирку, воткнул ее с размаху в землю и, вскинувшись, отвечал: «Уж не огорчил ли я тебя, Деметрий, тем, что рою землю на благо Эллады? Ну, а когда бы ты увидел меня поющим под кифару вослед Нерону — каковы были бы твои чувствования?» Впрочем, о многих еще более достославных речах Мусония я умолчу, дабы не показалось, будто я своевольничаю с мимолетными словами.

20. Побывав зимой во всех эллинских святилищах, Аполлоний по весне направился в Египет, успевши перед тем и укорить, и наставить эллинские города и у многих из них стяжавши хвалу, ибо не отвергал он и похвалы за полезное дело. Итак, он явился в Пирей, где на якоре стоял корабль уже под парусами и готовый отплыть в Ионию, однако корабельщик никого с собою брать не хотел, потому что везет-де собственный груз. «Какой же у тебя груз?» — спросил Аполлоний. «Я везу в Ионию кумиры богов, — отвечал корабельщик, — сработанные или из камня и золота, или из слоновой кости и опять же золота». — «Посвятить хочешь или как?» — «Продам тому, кто хочет посвятить». — «Стало быть, ты боишься, милейший, как бы мы, оказавшись на корабле, не украли эти изваяния?» — «Этого я не боюсь, но если придется им делить плавание с толпой, грязнясь от соприкосновения с обычным морским непотребством — вот это, по-моему, ужасно». «А ведь те корабли, которые — ты ведь, добрейший, афинянин, верно? — снарядили вы некогда против варваров, точно так же были полны морского беспорядка, а боги, тем не менее, делили с вами плаванье, не опасаясь об вас испачкаться! А ты в невежестве своем гонишь с корабля ревнителей мудрости, особо взысканных божественною

милостью — и это после того, как сам собрался везти богов на продажу? Древние ваятели такого не делали и богами в разнос не торговали, но вывозили лишь собственные руки да резцы для камня и слоновой кости, а затем, получив для работы белый товар, занимались ремеслом своим прямо в храмах. А ты — страшно сказать! — тащишь богов в гавань и на рынок, словно пленных гирканов и скифов, и не помышляешь о совершаемом нечестии! Находятся лоботрясы, которые вешают на шею образок Деметры или Диониса и твердят, будто кормятся от богов, коих носят при себе, — но ты-то поедаеть самих богов и не давишься. Хотя ты своей торговли и не боишься, она ужасна, я бы даже сказал — безумна!» Итак, разбранив корабельщика, Аполлоний перешел на другое судно.

21. Доплыв до Хиоса и не успев ступить на сушу, перешел он на соседний корабль, объявленный на Родос. Першли и товарищи — без единого слова, ибо главнейшее, чему он их учил, было подражать ему в речах и делах. Родоса достиг он при попутном ветре, а о чем рассуждал там, я расскажу ниже. Приблизясь к изваянию Колосса, Дамид спросил: «Как, по-твоему, есть ли что величественнее?», а он отвечал: «Есть: муж, взыскующий мудрости честно и беспорочно». В ту пору жил на Родосе флейтист Кан, почитавшийся лучшим флейтистом на свете. Аполлоний призвал его к себе и спросил: «Что делает флейтист?» — «Все, чего пожелает слушатель», — отвечал Кан. «Однако многим слушателям богатство милее звуков флейты — стало быть, поняв это их желание, ты превращаешь их в богачей?» — «Хотел бы — но нет». — «Уж не делаешь ли ты молодых слушателей миловиднее? Ведь в молодости все желают казаться красивыми». — «Не могу я и этого, хоть и полна прелести моя флейта». — Так чего же, по-твоему, желают слушатели?» — «А вот чего: печальный хочет звуками флейты утишить печаль, веселый — сделаться еще веселее, влюбленный распалиться страстью, благочестивый — боговдохновиться песнопениями». — «Тогда скажи, о Кан, производит ли такое действие сама флейта, потому что сработана из золота и из меди и из оленьей, а то и ослиной кости, или же тут проявляется иная сила?» — «Иная сила Аполлоний! Напевы и лады, и созвучия, и много-различность игры, и способы сочетаний — вот что пленяет слушателей и производит на их души желаемое действие». «Я понял, Кан, в чем состоит твое искусство и как оно пестро и многообразно, — эти его свойства ты упражняешь и наслаждаешь ими других. Однако, по-моему, сверх вышесказанного флейте еще кое-что надобно, а именно, чтобы дыхание и уста, и руки у флейтиста были хороши. Хорошее дыхание — это дыхание чистое, легкое и не подавленное гортанью, ибо иначе звук утратит певучесть. Хорошие уста — это когда губы охватывают наконечник флейты так, чтобы лицо при игре не багровело. Хорошие руки — а они, по моему разумению, флейтисту особенно нужны — это когда ни запястье не утомляется гибкостью, ни пальцы не медлят скользить по голосам, ибо главное у хороших рук — быстрота в перемене ладов. Итак, если все перечисленное у тебя есть, играй, о Кан, отважно, т да будет с тобою Евтерпа!»

22. Случилось так, что некий юнец — неотесанный выскочка — строил себе на Родосе дом и свозил туда отовсюду пестрые картины и камень. И вот Аполлоний спросил его, сколько денег потратил он на учителей и образование. «Ни единой драхмы!» — отвечал тот. «А сколько на дом?» — «Двенадцать талантов, и еще намерен потратить столько же». — «На что же тебе этот дом?» — «Чтобы жить в отличном жилище! У меня там и дорожки, и рощи, и на площадь я теперь стану ходить редко, а кто захочет поговорить со мною, — придет с удовольствием, словно в храм». — «Тогда ответь, за что больше завидуют людям: за то, что им присуще, или за то, что им принадлежит?» — «За богатство, ибо вся сила — в деньгах». — «А скажи-ка, мой юный друг, кто лучший сторож своим деньгам — образованный человек или невежда?» И так как юноша промолчал, Аполлоний добавил: «Кажется мне, молодец, что не ты заполучил дом, а дом заполучил тебя! Что до меня, то, приходя во храм, я предпочту любоваться изваянием —

пусть малым — из золота и слоновой кости, нежели глазеть на огромного и несуразного глиняного истукана».

23. Увидев молодого толстяка, который хвастался, что ест больше всех и вина пьет больше всех, Аполлоний спросил его: «Ты, похоже, горазд поесть?» «Да, и благодарю за это богов!» — отвечал тот. «Но какая тебе польза от подобного обжорства?» — «Такая, что все смотрят па меня и дивятся! Ведь ты, наверное, слыхал о Геракле, что съеденное им славится немногим менее его подвигов». — «Потому что он был Геракл, а у тебя-то, мерзавец, какая доблесть? Чтобы на тебя посмотрели, тебе только и остается, что лопнуть!»

24. Таковы были приключения Аполлония в Родосе, а сейчас я расскажу, что было, когда приплыл он в Александрию. Александрийцы уже за глаза весьма его любили и скучали по нему, словно по сердечному другу; Даже и из Верхнего Египта, изобилующего богословами, приглашали его погостить в тамошних поселениях, ибо оттуда в Дельту ездило не меньше народу, чем возвращалось домой, и все эти пришельцы славословили Аполлония, так что у египтян на него уже уши торчком вставали, — потому-то когда сошел он с корабля в город, народ взирал па него, словно на божество, и расступался перед ним, как расступаются перед несущими святыню. И вот, пока шел он, окруженный большим почетом, чем правитель провинции, повели на казнь двенадцать человек, приговоренных к смерти за разбой. Взглянув на них, Аполлоний сказал: «Не все умрут, ибо вот этот осужден облыжно и избежит казни». Затем он обратился к стражникам, которые вели осужденных: «Я велю вам умерить шаг и не слишком спешить добраться до палача, а вот этого человека казните последним — он ни в чем не виноват. Делайте свое дело по-божески и не жалеите краткой меры дня для тех, кого лучше бы и вовсе не убивать». Все это он изъяснил подробно, хотя не в его правилах было надолго растягивать речи — а почему рассудил он так, обнаружилось очень скоро. Когда восьмерым приговоренным уже отсекли головы, прискакал на место казни всадник и закричал: «Отпустите Фариона!», ибо этот Фарион не был разбойником, но оговорил себя, испугавшись дыбы, а уж прочие под пыткой подтвердили его показания. Не стану описывать, как потрясены были египтяне и как — и без того восхищаясь Аполлонием — рукоплескали они этому его подвигу.

25. Когда вошел Аполлоний во храм, то явился его взору совершенный порядок и во всем мудрое устройство и божественное установление; однако что до бычьей крови, гусей и прочей жертвенной живности — этого он не одобрял и не почитал приличным для богов угощением. Итак, когда жрец спросил его, по какому понятию не приносит он подобных жертв, он сказал: «Лучше ты мне ответь, по какому понятию ты эти жертвы приносишь». — «Кто это такой умный, чтобы исправлять египетские правила?» — возразил жрец. «Всякий мудр, кто явился от индусов, — отвечал Аполлоний и продолжал: А быка я испепелю сейчас же и мы поделим с тобою дым, так что у тебя не будет повода жаловаться на судьбу — ведь боги вкушают именно дым, — а затем, когда изваяние быка плавилось в огне, добавил: Вот тебе и жертва». — «Какая жертва? — спросил египтянин, — я ничего тут не вижу». На это Аполлоний сказал так: «Разве Иамиды, Теллиады, Клитиады и вещие Меламподиды болтали вздор, столько возгласив об огне и столько из него добыв прорицаний? Или, по-твоему, мой милый, от сосны и кедра получается огонь пророческий и годный для волхвования, а огонь, зажженный от чистойшей и тучнейшей влаги, предпочтения не достоин? Если бы была тебе ведома огненная премудрость, ты увидел бы, сколь многое явилось на круге восходящего Солнца».

26. Такими вот словами укорял Аполлоний несведущего в божественном египтянина. А так как александрийцы питают столь сильное пристрастие к лошадям, что, когда сбегаются поглядеть на скачки, дело доходит до человекоубийства, то он, явившись в храм, разобрал их за это, произнеся нижеследующую речь: «Доколе будете вы умирать не ради чад своих и капищ своих, но от того, что пятнаете святыни, ибо приходите вы туда, исполняясь кровавой скверны, и внутри священных стен истребляете друг друга? Не сокрушил ли некогда Троию единый конь,

устроенный ахейской хитростью? А у вас и колесницы готовы, и кони взнузданы, от коих покойной жизни вам не видать, — так и пропадете вы не от Атридов и не от Эакидов, но сами себя погубите хуже пьяных троянцев. Вот в Олимпии сколько ристаний — и борьба, и кулачные бои, и многоборье, — однако же никто из-за ристателей не погиб, хотя было бы куда извинительнее проявить чрезмерное рвение из-за соплеменников, — а вы-то здесь из-за лошадей режетесь в поножовщине и готовы побивать друг друга камнями! Пусть огнем горит такой город, где средь стенаний и ругани

Воев губящих и гибнущих кровью земля заструилась.

Постыдитесь хоть Нила — этой общей всем египтянам чаши! Но зачем я напоминаю о Ниле людям, коим пристало мерить не уровень воды, но уровень крови?» И еще многое другое сказал он в поношение александрийцам, как сообщает Дамид.

27. В ту пору Веспасиан в соседней с Египтом провинции помышлял о самодержавной власти, так что когда вступил он в Египет, всякие Дионы и Евфраты, о коих, я расскажу несколько ниже, предложили устроить ему чествование. Поистине, после первого самодержца, установившего порядок в римских делах, вошли в силу тираны столь жестокие, что уж и Клавдий, правивший между ними тринадцать лет, не почитался добросердечным, хотя достиг он власти в пятидесятилетнем возрасте — в пору наибольшего здравомыслия — и хотя вроде бы питал пристрастие ко всякой образованности, а все-таки даже в нем в такие-то годы обнаружилось много ребяческой дури, так что державу отдал он на разоренье бабам, от коих по безопасности своей и принял смерть, зная заранее, какая погибель ему угрожает, однако не сумев от нее уберечься. Аполлоний не менее Диона и Евфрата радовался новому обороту событий, но не доводил чувствования свои до всеобщего сведения, полагая, что рассуждать об упомянутых делах более пристало витиям. Итак, при подходе самодержца встретили его у городских ворот жрецы и чины египетские и посланцы областей, на кои подразделяется Египет: были тут и философы всех толков — один лишь Аполлоний не суетился среди прочих, но продолжал свои занятия в храме. Император учтиво и ласково обратился к встречавшим его и после недолгой беседы спросил: «Тианиец у вас?» — «Да, — отвечали те, — и весьма содействует нашему совершенствованию». — «Как бы мне с ним познакомиться? Мне он очень нужен». — «Он примет тебя в храме, — сказал Дион, — ибо снова подтвердил мне это свое намерение, когда я сюда шел». — «Пойдемте, — воскликнул государь, — сразу и богам помолимся, и познакомимся с благородным мужем!» Вот отсюда и пошел слух, будто еще в пору осады Иерусалима Веспасиан возмечтал о власти и будто послал за Аполлонием, чтобы посоветоваться о сем предмете, однако Аполлоний-де отказался прибыть в страну, оскверненную деяниями и страданиями жителей, и по этой-де причине Веспасиан, уже владея державой, сам явился в Египет побеседовать с Аполлонием, а о чем была у них беседа, это я сейчас объясню.

28. Принеся жертвы, но не успев еще толком разобраться в городских делах, Веспасиан обратился к Аполлонию словно с молитвой: «Вручи мне державу!» — «Я уже вручил тебе ее, — отвечал тот, — помолясь о государе правосудном, благородном и здравомысленном, сединою украшенном и о законных чад отце — и, без сомнения, тебя-то и выпросил я у богов». Император был весьма обрадован этими словами, ибо толпа, наполнявшая храм, согласно зашумела, и спросил: «А каково тебе кажется правление Нерона?» — «Нерон, быть может, умел настраивать кифару, но державу свою он опозорил — хоть ослабляя струны, хоть натягивая». — «Так ты велишь правителю быть умеренным?» — «Не я, но бог, определивший равновесию середину. А эти вот мужи — также добрые советчики в подобных делах», — тут он указал на Диона и на Евфрата, который в ту пору еще не был с ним в ссоре. Тогда император, воздевши длани, возгласил: «О Зевс, дай мне начальство над мудрецами, а мудрецам — надо мною!» И затем, оборотясь к египтянам, он добавил: «Пользуйтесь мною, как Нилом».

29. Египтяне, жаловавшиеся ранее на чинимые им притеснения, воспрянули духом, а Веспасиан, уходя из храма, взял Аполлония за руку и привел с собою во дворец, где обратился к нему с нижеследующими словами: «Наверно, я кому-то покажусь ребячливым — чуть ли не шестьдесят лет от роду, а рвется государить! Так вот, я намерен оправдаться, а ты оправдай меня перед остальными. Никогда — даже в молодости, насколько я себя помню, — не был я рабом богатства, да и к должностям и почестям, назначаемым мне от Римской державы, относился я с таким благоразумием и с такою скромностью, что не казался ни гордецом, ни подхалимом. Бунтовать против Нерона я и не помышлял, напротив, когда унаследовал он власть — пусть не по закону, но все же по воле государевой — я подчинился ему ради Клавдия, удостоившего меня быть сотоварищем своим по консульству, и, клянусь Афиной! глядя на Нероновы безобразия, я слезами плакал, ибо вспоминал Клавдия, чей великий удел достался такому вот мерзавцу! Но потом, увидев, что и после низложения Нерона народу не полегчало и что посрамленная держава пала до Вителлия, я отважился искать власти: во-первых, потому что я хочу достоинствами своими послужить людям, а во-вторых, потому что будущий мой соперник — пьяница. Право же, Вителлин для мытья тратит благовоний больше, чем я воды, так что, пожалуй, ежели проткнуть его мечом, духов потечет больше, чем крови, да к тому же от непрестанного пьянства он совершенно одурел: делая ставку, дрожит, как бы кости его не подвели, а державу ставит на кон играючи, и притом, хоть он и охоч до девок, домогается замужних женщин, говоря, что слаще-де ему любовь, приправленная опасностью; о худших бесстыдствах я умолчу, чтобы не говорить при тебе о подобных пакостях. Спокойно смотреть, как начальствуют над римлянами негодяи, я не могу, но желаю быть самим собою, сделав вожатыми своими богов, а потому и доверяюсь, Аполлоний, твоему попечению — ты ведь, говорят, лучше всех постигаешь божью волю. Итак, будь мне советчиком в заботах о земле и о море, и ежели подарят меня боги своей благосклонностью, то да исполню я назначенное, а ежели выкажут они мне и римлянам неудовольствие, то да не доведется мне докучать несогласным небожителям!»

30. В ответ Аполлоний воззвал: «О Зевс Капитолийский! Ведаю о тебе, что ты — судья сущего, так сбереги же себя для сего мужа, а его сбереги для себя, ибо храм твой, вчера преданный огню нечестивыми руками, ему суждено отстроить». И когда император подивился сказанному, Аполлоний добавил: «Все объяснится само собою, так что ничего у меня не выпытывай, но верно задуманное свершай до конца». А как раз в ту пору случилось в Риме вот что. Домициан, сын Веспасианов, ради отцовской власти схватился с Вителлием, оказался осажден в Капитолии и, хотя сам сумел ускользнуть от осаждавших, однако храм они успели сжечь — и все это было явлено Аполлонию скорее, чем если бы свершилось в Египте. Побеседовав с императором, он удалился, сказавши, что не позволено ему в полдень свершать индийские обряды иначе, чем как сами индусы их свершают, а император возгорелся больше прежнего и не только намерений своих не оставил, но благодаря услышанному обрел твердость и уверенность в себе.

31. Назавтра чуть свет Аполлоний, явившись во дворец, спросил стражников, что делает император, и те ответили, что он давно уже поднялся и занят письмами. Услыхав это, Аполлоний ушел, а Дамиду сказал: «Быть ему государем!» Воротившись после восхода солнца, он нашел у дверей Диона и Евфрата, которые принялись настойчиво расспрашивать его о вчерашней беседе; он передал им оправдание, услышанное от императора, но о собственном своем мнении умолчал. Однако же, позванный к императору первым, он сказал ему: «Государь, у дверей дожидаются Евфрат и Дион, давние твои почитатели, безразличные к твоим делам. Позови их присоединиться к нашей беседе, ибо оба они мудрые мужи». — «Для мудрецов мои двери всегда настезь, — отвечал тот, — но пред тобою надобно распахнуть также и сердце».

32. Когда философы были введены, Веспасиан сказал: «Касательно моих намерений, господа, я уже оправдался вчера перед достопочтенным Аполлонием». — «Мы слышали это оправдание, —

отвечал Дион, — и оно вполне разумно». — «Ну, а сегодня, друг мой Дион, — продолжал император, — надобно нам обсудить принятое решение, дабы сделал я все наилучшим образом для спасения людей. На моей памяти Тиберий первый низвел власть до дикости и бесчеловечности; а после него Гай, победитель без побед, в пьяном буйстве и в лидийском наряде осрамил своим развратом все римские обычаи; а после Гая добросердечный Клавдий лишился из-за баб не только державы, но и жизни, ибо говорят, что смерть он принял от женщины. О Нероне и вспоминать не стоит — Аполлоний уже сказал коротко и ясно, что опозорил он свою власть и недотягиванием и перетягиванием. Не стоит, смею заметить, обсуждать также и Гальбу, убитого прямо на форуме, когда усыновлял он своих улюбков Отона и Пизона. Ну, а если отдавать державу Вителлию, среди всех бесстыднейшему, так уж пусть сам Нерон воскреснет! И вот, видя, что власть вконец опозорена всеми этими тиранами, я прошу у вас совета, сограждане, как распорядиться мне этою силою, уже нанесшей народу столько обид». — «Некий весьма искусный флейтист, — отвечал Аполлоний, — посылал своих учеников к флейтистам похуже — поучиться, как не надо играть. Точно так же и ты, государь, научился у порочных правителей, как не надо править, — а стало быть, пора нам рассудить, как же надо править».

33. Евфрат уже и ранее тайно завидовал Аполлонию, ибо видел, что император привержен к тому сильнее, чем паломник к оракулу, но тут он вскипел через край и воскликнул громче, нежели допускают приличия: «Нельзя лестью распалить похоти! Нельзя безрассудно увлекаться чужою наглостью, но надобно — если уж мы радеем о мудрости — наглость эту утихомирить! Поистине, следовало прежде хорошенько обсудить, стоит ли вообще действовать, а ты уже зовешь нас обсуждать способы, хотя и сам пока не знаешь, желательны для нас твои действия или не желательны. Что до меня, то я стою за низложение Вителлия, ибо известен он мерзостною порочностью и бесстыдным пьянством, а о тебе я знаю, что ты — человек добрый и благородный, а все-таки скажу, что не следует тебе низвергать Вителлия, не уяснив прежде собственных твоих намерений. Не мне учить тебя, в сколь многих бесчинствах повинно единовластие — ты сам об этом давеча сказал. Однако знай: молодость верхом на тирании творит лишь то, что ей свойственно, ибо тиранство пристало молодежи так же, как пьянство и любострастие, а потому молодой тиран и не считается злодеем, ежели не добавляет к своей тирании убийства, зверства или разврата. А вот ежели тираном делается старец, то первая его вина в самом желании тирании, ибо если окажется он человеколюбив и скромнен, то не ему самому припишут сии свойства, но почтенному возрасту и сдержанности — и при всем том будет решено, что мечтал он о тирании издавна, с юных лет, да только не везло ему то ли от неудачливости, то ли от трусости; всем покажется, будто он таил тиранские помыслы из недоверия к собственному счастью или будто он уступил место другому тирану, страшись его превосходства. Ну, о неудачливости твоей я умолчу, а вот сумеешь ли ты оправдаться в трусости? Разве не выходит, что ты боялся Нерона — первейшего труса и лоботряса? Когда затеял Виндекс бунтовать, то тебя — Гераклом клянусь! — тебя прежде всех звал он с собою, ибо было у тебя войско, и та сила, какую вел ты на иудеев, еще лучше годилась для низвержения Нерона! Иудеи издревле отложились не только от римлян, но и от всего человечества, жизнь они себе избрали особую и с прочими людьми не делят ни застолий, ни возлияний, ни молитв, ни жертвоприношений, так что отдалены от нас дальше, чем Сузы и Бактры и даже дальше, чем Индия, — нет смысла громить их, мешая отложиться тем, кого и присоединять-то не стоило. А Нерон? Да разве не жаждал всякий своеручно прикончить этого кровопийцу, еще и распевавшего песни в перерывах между убийствами? Да у меня уши торчком вставали при разговорах о тебе: придет, бывало, кто-нибудь оттуда и рассказывает, что в одной-де битве порешил ты тридцать тысяч иудеев, в другой — пятьдесят тысяч, а я отведу пришельца в сторонку и словно ненароком спрошу: «А как насчет этого самого? Неужто нет ничего поважнее?» Теперь ты сотворил из Вителлия образ Неронов и с ним воюешь — что же,

поступай, как тебе желательно, ибо и это прекрасно, но пусть последующее будет не хуже! У римлян в почете народное правление — именно при этом государственном устройстве приобрели они почти все, чем обладают ныне. Итак, положи конец единовластию, о коем сам ты столько всего наговорил, дай римлянам народоправство и соделайся возродителем их вольности!»

34. Все время, пока Евфрат говорил, Дион проявлял свое к нему сочувствие то кивками, то рукоплесканиями — и видя это, Аполлоний спросил: «Не желаешь ли и ты, Дион, что-нибудь добавить к сказанному?» — «Зевс — свидетель! желаю, — отвечал тот, — ибо кое с чем я согласен, а кое с чем не согласен. Помнится, я и сам говорил тебе, что от низложения Нерона было бы больше толку, нежели от подавления иудеев: однако казалось, что ты только и стараешься, как бы его не низвергнуть, ибо, приводя в порядок его расстроеныя дела, ты тем самым усиливал его надо всеми, кто подпадал под злое его насилие. Намерения твои относительно Вителлия похвальны: я полагаю, что чем прекращать уже установленную тиранию, лучше совсем не давать ей ходу. Народоправство я приветствую — хотя это устройство хуже вельможного правления, но для людей благоразумных все же предпочтительнее олигархии или тирании, — но боюсь, что римляне успели слишком привыкнуть к непрерывным тираниям, а потому перемены будут для них тяжелы, и вряд ли сумеют они обратить взоры к свободе и народоправству: это совсем как, едва выйдя из тьмы, вдруг увидеть свет. Вот что я скажу. Устранить Вителлия от дел пора — и чем скорее, тем лучше, — однако же надобно, по-моему, приготовившись словно бы к войне, войны ему не объявлять, но припугнуть расправою, ежели не уступит он власти, а когда низвергнешь ты его — это, я полагаю, не будет стоить тебе особых трудов, — тогда дай римлянам самим выбрать для себя государственное устройство, и ежели выберут они народоправство, соглашайся. Поистине, для тебя это будет больше множества тираний и множества Олимпийских побед: повсюду в городе начертано будет твое имя, повсюду воздвигнуты будут медные твои изваяния, а нам ты дашь предмет для речей, с коим несравнимы никакие Гармонии и Аристокитоны! Ну, а ежели римляне примут единовластие, то кому, как не тебе, постановят они вручить державу? Без сомненья, тебе и никому другому отдадут они то, чем ты уже обладал, но уступил народу!»

35. После этой речи настало молчание. Лицо императора являло противоречивые чувствования, ибо был он бесспорным самодержцем и по званию и на деле, а выходило, будто следует ему от своих намерений отказаться. Наконец, Аполлоний сказал: «По-моему, вы все рассуждаете с государем о делах, уже вполне решенных, и впадаете в ребяческое празднословие, отнюдь не сообразное с нынешним положением вещей. Вот если бы это у меня была такая сила, как у императора, и если бы это я советовался о способе, коим могу я облагодетельствовать человечество, то вы были бы мне советчиками, и уговоры ваши достигли бы цели, ибо философские речения и впрямь направляют внешнею им философа. Но сейчас вы подаете советы мужу державному, привычному к власти и готовому погибнуть, ежели лишится он этой власти! Стоит ли корить его за то, что не отвергает он даров Случая, но приемлет пришедшую удачу, желая, впрочем, пользоваться ею в пределах благоразумия? Вообразим, что перед нами ристатель, духом рьяный, телом крепкий, статью превосходный, и идет он через Аркадию в Олимпию, а мы, увязавшись следом, бодрим его против соперников, однако убеждаем, ежели победит он в состязаниях, победу не возглашать и главу оливой не венчать — ну, не покажется ли в подобном случае, будто мы то ли попусту мелем языком, то ли потешаемся над чужими трудами? А теперь взглянем так же на этого вот мужа — сколько войска у него! как блистает оружие! что за множество коней! да и сам он сколь благороден! сколь разумен! сколь способен достигнуть задуманного! — не следует ли нам, восславив его удачу, проводить его к искомой цели пожеланиями, полюбезнее ваших? Да притом вы позабыли, что он — отец двух сыновей, и каждый уже начальствует над войском, и каждый будет ему злейшим врагом, ежели не станет их

наследственным уделом держава. Что же ему остается? Уж не воевать ли с собственным семейством? А ежели примет он власть, то сыновья будут служить ему, — сможет он опереться на родных детей, а дети на него, так что — Зевс — свидетель! — не наемные, не принужденные и не лицемерно преданные будут у него телохранители, но самые верные и самые ретивые. Меня-то государственное устройство не заботит — я подначален лишь богам! — но не могу я одобрить, если человеческое стадо за нехваткою пастыря справедливого и благоразумного погибнет. Поистине, как единый муж, превосходный доблестью, преобразует народоправство в видимость наилучшего самодержавия, точно так же единовластие в заботе своей об общей пользе становится народным правлением! Было сказано, что ты не низложил Нерона. Ну, а ты, Евфрат, низложил? А ты, Дион? А я? Нас-то никто этим не попрекает, нас-то никто не называет трусами из-за того, что такое множество тираний философами было некогда ниспровергнуто, а мы вот славу свою упустили и ничего для свободы не сделали. Возьмем, например, меня. Я был враг Нерону и не только часто говорил о злонравии его в философских своих беседах, не только в глаза порицал жестокого Тигеллипа, но и — в ущерб Нерону, конечно — помогал на Западе Виндексу. И несмотря на это я не стану утверждать, что я-де низверг тирана, и не стану думать, что вы, даже и этого не сделавшие, малодушнее меня в исполнении философских правил. По моему, философу следует говорить, что придет на ум, и забота его в том, чтобы речь его не была речью глупца или безумца, а вот полководцу, намеренному низложить тирана, надобно, во-первых, быть поосмотрительнее, чтобы до начала предприятия ничем себя не обнаружить, а, во-вторых, надобно ему отыскать подходящее основание, чтобы не показаться клятвопреступником, — поистине, ежели задумал он обратить оружие на того, что назначил его начальствовать над войском и кому присягал он помогать советом и делом, то, конечно, должен он прежде оправдаться перед богами, что нарушает присягу из благочестивых побуждений. А еще надобно ему друзей побольше, ибо без поддержки и защиты невозможно ему исполнить задуманное, а еще надобны ему деньги — чем больше, тем лучше, — дабы привлечь к себе силы и с ними напасть на человека, заполучившего все, что есть на земле. Понимайте это как хотите, ибо мы здесь не за тем, чтобы судить замыслы, к осуществлению коих сей муж вполне способен, а Случай и до борьбы был на его стороне. Что толку в ваших разговорах? Со вчерашнего дня он император, города венчали его в этих вот храмах, суд его светел и милосерден — уж не его ли вы призываете объявить завтра при всем народе, что, дескать, остаток дней он намерен прожить простым обывателем, а державу-де взял в припадке умопомешательства? Поистине, на пути к цели будет он окружен надежными защитниками, доверие к коим вдохновило его замысел, но стоит ему оставить задуманное — и сразу в каждом из них найдет он врага, не заслуживающего ни малейшей веры».

36. Выслушав вышеприведенную речь, император радостно воскликнул: «Если бы даже ты обитал в моей душе, и то не мог бы ты так ясно изъяснить мои помыслы! Итак, я послушен тебе, ибо полагаю все, что от тебя, божественным, — а ты научи меня, что подобает делать доброму государю». Аполлоний отвечал так: «Не проси у меня поучений, ибо самодержавная власть над людьми — величайшая и ненаучаемая. Впрочем, я перечислю, какие твои действия будут, по моему мнению, здоровыми. Не храни богатство под спудом — деньги в кубышке ничуть не лучше неведомо откуда собранного песка. Не старайся выкачать богатство у народа, скорбящего от податей, — золото, добытое из слез, кромешно и гнусно. Ты распорядишься богатством лучше всех царей, ежели неимущих поддержишь, а зажиточных не обидишь. Бойся собственного всемогущества — только тогда ты сумеешь пользоваться им разумно. Не руби вершки высоких колосьев — тут Аристотель неправ! — а лучше выпалывай недовольство как сорняк из посева, и устрашай бунтовщиков карой не вершимой, но грядущей. А еще, государь, да будешь даже ты подначален закону — ежели не будешь ты пренебрегать законностью, то и собственное твоё законодательство будет разумнее. Богам угождай более, чем прежде, ибо много ты от них получил и о многом просишь. В делах власти будь самодержцем, в делах личных — простым

гражданином. Касательно игры, пьянства и любострастия я не стану тебя уговаривать, что нужно-де их оставить, — говорят, ты и в юности не был привержен к подобным порокам. Но у тебя, государь, два сына, и оба, по слухам, превосходны — вот их-то и держи во власти своей особенно крепко, ибо всякий их промах будет тебе во вред! Припугни их, что ежели не сохранят они доброты и лепоты, то и державы ты им не завещаешь: пусть знают, что держава — не наследственный удел, по воздаяние добродетели. Что до укоренившихся в Риме развлечений, коих множество, то, по-моему, государь, воспрещать их следует снисходительно, ибо нелегко сразу обратить народ к совершенной скромности, но следует менять образ мыслей мало-помалу, исправляя его тут напрямик, там — исподволь. Вместе с властью ты получил рабов и отпущенников — надобно обуздать их спесь, приучив их умять себя настолько, насколько возвысился их хозяин. Вот и все; остается сказать лишь о правителях, коим подчинены провинции — не о тех, кого назначишь ты сам, ибо ты, конечно, наделишь властью достойнейших, но о тех, кто власть свою получит по жребию. Когда этих последних посылают в определенную жребием провинцию, то надобно, как я мыслю, в допустимых жребием пределах, — тех, кто говорит по-гречески, отправлять в страны, где говорят по-гречески, а тех, кто говорит по-латыни, — туда, где говорят так же или похоже. Объясню, почему это пришло мне на ум. В пору, когда жил я в Пелопоннесе, правил Элладю человек, не знавший по-гречески, а эллины не понимали его языка, по каковой причине и ему, и от него был один вред, ибо его сотоварищи и помощники по судебным должностям произвольно измышляли приговоры, пренебрегая правителем, словно человеконогоим. Все, что я сказал, государь, вспомнилось мне сегодня, а ежели еще что придет на ум, так снова повидаемся. Ну, а сейчас делай, что положено властителю, дабы подданные не решились, будто ты лентяй».

37. Тут Евфрат промолвил: «Я согласен с этим поучением — да и возможно ли мне достигнуть большего противными наставлениями? И все же, государь, — только этим именем осталось нам поименовать тебя, — принимай и привечай естественные науки, но держись подалеже от так называемой богодухновенности! Поистине, этим-то способом нас и морочат, внушая нам множество глупостей о делах божеских». Это было сказано против Аполлония, однако тот оставил вышеприведенные слова без внимания и, завершив беседу, удалился вместе с учениками.

Евфрат хотел было еще крепче обругать ушедшего, но император это заметил и оборвал его, приказав: «Зовите просителей, и пусть совет идет своим чередом». Вот так-то Евфрат ненароком себе навредил, ибо император распознал в нем завистливого наглеца, разглагольствовавшего в защиту народоправства не по убеждению, но лишь наперекор государственным понятиям Аполлония. Впрочем, Веспасиан ничем не проявил своего гнева и Евфрата за слова его корить не стал, да и к Диону не утратил расположения, хотя был недоволен, что тот согласился с суждением Евфрата. Дион казался приятным собеседником: споров он избегал, речи его были сладостны, словно дух жертвенных воскурений, да к тому же никто лучше его не умел говорить к случаю и без подготовки. Что до Аполлония, то император не только к нему самому испытывал приязнь, но еще и любил повествования его о старине, рассказы об индузе Фраоте, описания индийских рек и населяющих Индию зверей, пророчества и все, что явили ему боги касательно державы. Покидая устроенный и обновленный Египет, он звал Аполлония сопутствовать ему, однако тот приглашение отклонил, ибо не успел-де еще ни посмотреть все, что есть в Египте, ни побеседовать с нагими мудрецами для окончательного сравнения индийской премудрости с египетской. Итак, он сказал императору: «Я не испил еще от истоков Нила». Тот понял, что имеется в виду путешествие в Эфиопию, и спросил: «А меня позабудешь?» — «Зевс — свидетель, не позабуду, ежели останешься ты добрым самодержцем и сам себя не позабудешь!» — отвечал Аполлоний. После этого, принеся жертву в храме, император принародно обещал одарить его, а он, — совсем, как если бы собирался чего-то просить, —

сказал: «Какие же, государь, ты мне подаришь подарки?» — «Сейчас десять, — отвечал император, — а когда придешь в Рим — все, что у меня есть!» «Ежели так,—возразил Аполлоний, — мне положено беречь твое как свое и не пускать сейчас по ветру то, что достанется мне все сразу. Лучше позаботься об этих вот людях, государь, — похоже, им что-то нужно», — и он указал на Евфрата и его товарищей, коим император и велел просить смелее. Тогда Дион, зардевшись, промолвил: «Помири меня, государь, с учителем моим Аполлоном! Получилось, будто я с ним спорил, но никогда прежде я ему не перечил». Император благосклонно отвечал: «Уже вчера я попросил за тебя и преуспел! Проси чего хочешь в подарок». Тут Дион высказал свою просьбу: «Товарищ мой по философским занятиям, Ласфен из Апамеи что в Вифинской области, возлюбил доспех и жизнь воинскую. Однако ныне, по словам его, вновь любит он рубище — отставь же его от войска, ибо и сам он об этом просит. Позволь поручиться пред тобою за его доброту, а ему позволь жить, как хочет». «Он получит отставку, — отвечал император, — а еще я даю ему долю добычи, ибо любит он мудрость и любит тебя». Затем он оборотился к Евфрату, у коего было уже составлено письменное прошение — прошение это он подал государю, чтобы тот прочитал его про себя, но государь, желая каждому дать высказаться, прочитал написанное вслух: Евфрат просил и за себя, и за других, а в подарок просил деньги и заемные письма. Тут Аполлоний со смехом промолвил: «Выходит, проповедуя народоправство, ты собирався столько всего выпросить у самодержца?»

39. Вот с этого-то происшествия, как я выяснил, и пошел раздор между Аполлоном и Евфратом. Когда император уехал, они схватились друг с другом в открытую: Евфрат яростно бранился, Аполлоний мудро уличал. Все, в чем обвинял он Евфрата, преступившего философские правила, можно узнать из писем Аполлония к Евфрату, коих множество, а сам я об Евфрате распространяться не намерен, ибо моя задача — не ругать, но изъяснить, если кто еще не знает, какое имеет он касательство к жизни Аполлония. Что же до рассказа, будто во время препирательства замахнулся он на Аполлония палкой, да так и не ударил, то такой итог многие приписывали увертливости побиваемого, а по-моему, его следует приписать здравому смыслу, благодаря коему обидчик все-таки сдержал и победил свой гнев.

40. Что до Дионовой философии, то она представлялась Аполлоном слишком витиеватой и развлекательной, поэтому наставления ради он сказал ему: «Уж лучше обольщай флейтою и лирою, лишь бы не речью!», и часто в посланиях к Диону корил его за суетное угодничество перед чернью.

41. Я хочу объяснить, почему Аполлоний не приходил более к императору, так и не навестив его после свидания в Египте, хотя тот и приглашал, и писал многократно, чтобы им встретиться. Нерон с необычным для него благоразумием воротил эллинам их вольности, так что в городах возродились дорийские и аттические нравы, и меж общинами зацвело такое согласие, какого и в старину-то Эллада не знала. Явился Веспасиан и все это отнял, ссылаясь на распри и прочие поводы, отнюдь не достойные столь великого гнева. Не только потерпевшим, но и Аполлоном упомянутые действия показались чересчур жестокими и несвойственными духу Веспасианова правления, а потому Аполлоний написал императору нижеследующее:

«Аполлоний Веспасиану: радуйся! Говорят, ты поработил Элладу и полагаешь, будто превзошел Ксеркса, но ты и сам не заметил, как пал ниже Нерона — поистине, Нерон владел и отпустил. Будь здоров».

Ему же. «Ты так ненавидишь эллинов, что поработаешь их, свободных, — зачем же просишь ты меня о встрече? Будь здоров».

Ему же. «Нерон освободил эллинов играючи, а ты поработил их на деле. Будь здоров».

Вот так и зародилась в Аполлонии ненависть к Веспасиану. Впрочем, слыша впоследствии, как хорошо устроил император дела своей державы, он не таил радости, приписывая это своему благотворному влиянию.

42. Стоит подивиться и на нижеследующее происшествие в Египте. Некий человек водил на веревке ручного льва — точно как собаку. Зверь лхнул не только к хозяину, но и ко всякому встречному, собирал подаяние на всех углах и даже в храмы его пускали, ибо лев почитается чистым, — и что правда, то правда, он ни жертвенной крови не облизывал, ни на свежее и разрубленные жертвенные туши не кидался, но кормился пряниками и хлебом, да еще вареным мясом, а порою и вино пил, при этом не меняясь нравом. Как-то раз, подойдя к сидящему в храме Аполлонию, он мурлыкал у его колен долее, чем у прочих, добиваясь, как все полагали, подачки, однако Аполлоний возразил: «Лев просит меня изъяснить вам, чья именно у него душа, ибо в него вселилась душа Амасиса, царя египетского Саиса». Услышав эти слова, лев жалостно и скорбно зарычал, а затем уселся и заплакал, проливая слезы. Аполлоний погладил его и сказал: «По-моему, льва нужно отослать в Леонтополь и посвятить тамошнему храму — царю, обратившемуся в царя зверей, не пристало побираться наподобие человеческого побирושки». После этого жрецы все вместе принесли жертву Амасису и, украсив зверя ожерельем и лентами, проводили его в Леонтополь с флейтами, песнями и славословиями.

43. Довольно побыв в Александрии, Аполлоний отправился в Египет и в Эфиопию ради знакомства с нагими мудрецами. Что до Мениппа, то, поелику он уже изощрился в словопрениях и научился держать речь принародно, Аполлоний оставил его присматривать за Евфратом. Также и Диоскороду воспретил он участвовать в путешествии, ибо видел, что у того не достанет сил странствовать на чужбине. Прочих он взял с собою. После того, как некоторые покинули его у Ариции, завелось у него много новых товарищей и стал он им рассказывать о предстоящем странствии, и начал так: «Мне положено сделать вам, о мужи, Олимпийское предупреждение, а Олимпийское предупреждение вот какое. Когда наступают Олимпийские игры, элидяне тридцать дней упражняют ристателей в самой Элиде. На Пифийских играх дельфиец или на Истмийских коринфянин, собравши ристателей, приглашает: «Идите состязаться и покажите себя достойными победы». А элидяне не так. Пришедшим в Олимпию, они говорят: «Ежели потрудились вы довольно, чтобы удостоиться придти в Олимпию, и, ежели не повинны вы ни в нерадивости, ни в подлости, идите смело! А ежели кто не упражнялся — ступай куда хочешь! Смысл этих слов был ученикам ясен, и примерно двадцать человек остались с Мениппом, а прочие — насколько я знаю, десятеро — помолившись богам и принеся жертвы, какие приносят перед дальним плаванием, отправились напрямик к пирамидам. Ехали они на верблюдах по левому берегу Нила, но часто случалось им переправляться через реку, дабы собрать о ней всевозможные сведения, — ни одного египетского города, храма или святилища не миновали они молчком, но повсюду узнавали или сообщали какое-нибудь священное предание, так что корабль, на который взошел Аполлоний, уподобился святой ладье.

КНИГА ШЕСТАЯ

1. Эфиопия объемлет собою закатный край всего подсолнечного мира — точно как Индия объемлет восток. Гранича через Мероэ с Египтом и захватывая часть Неведомой Ливии, Эфиопия пределом своим имеет море, которое стихотворцы именуют Океаном и которое, по их словам, со всех сторон омывает землю. Египту Эфиопия дарует Нил, истекающий от Порогов и несущий, от эфиопов весь ил для Египта. А вот по величине страну эту не стоит сравнивать с Индией, как и никакую другую страну из тех, что славятся меж людьми. Если даже соединить Эфиопию со всем Египтом, — так, по нашему мнению, и делает река, — то и вдвоем не будут они соизмеримы Индии, настолько та пространна. Однако реки в обеих странах — Инд и Нил — оказываются, ежели поразмыслить, сходны, потому что в летнюю пору, когда земля жаждет, напоят влагою сушу, и потому что только в них, в отличие от прочих рек, водятся крокодилы и бегемоты, и потому что похожи посвященные им обряды, ибо многие из индийских заклинаний возглашаются также и ради Нила. Сходство упомянутых стран подтверждается и произрастающими в обеих благовониями, и обитающими в обеих львами, а еще тем, что тут и там ловят и приручают слонов. И звери в обеих странах живут такие, каких больше нигде не встретишь, и люди чернокожие, каких в других краях не бывает, и племена карликов, и племена лопотунов, и прочие подобные диковины. Что до индийских грифонов и эфиопских муравьев, то обличьем они несходны, однако повадками якобы похожи: по преданиям, те и другие стерегут золото и в обеих странах держатся близ золотиносных жил. Но хватит об этом — вернемся к нашей повести и обратимся к Аполлонию.

2. Когда подошел он к границе Эфиопии и Египта — место это зовется Сикамином, — то вдруг увидел на дороге золото в слитках, и лен, и слоновую кость, и разные коренья, и душистый елей, и благовония, — все это лежало без присмотра на перекрестке, а зачем — я сейчас объясню, тем более, что подобное и у нас до сих пор в обычае. На это торговое место эфиопы везут товар, какой есть в Эфиопии, а египтяне, забравши привезенное, несут туда же равноценный египетский товар и так за имеющееся приобретают то, чего у них нет. Обитатели этой пограничной области не вовсе черны, но цвет у них различный: одни белее эфиопов, другие чернее египтян. И вот, Аполлоний, узнав вышеупомянутый торговый обычай, сказал: «Милые наши эллины дышать не могут, ежели не наживут на медяк медяка и ежели не вздуют цены, заморочив покупателя или придержав товар: иной врет, будто дочери его пора замуж, иной — будто сын у него уже в совершенных годах, иной — будто сполна внес обеденный пай, иной — будто выстроил себе дом, иной — будто ему стыдно казаться худшим барышником, чем отец его. Сколь прекрасно, когда богатству почета поменьше, равенство цветет, а «железо чернеет без дела!». Тогда и люди в согласии, и земля словно бы едина».

3. Так вот рассуждая и, по обыкновению своему, обращая всякую нечаянность в повод для беседы, двигался он к Мемнону, а вожатым у них был юный египтянин, о коем Дамид записал нижеследующее.

Упомянутый юноша звался Тимасион, едва вышел из отроческих лет и был еще во цвете миловидности, так что в него влюбилась мачеха, но он остался целомудрен — и тогда она стала его преследовать и накликала на него отцовский гнев, оклеветав пасынка похуже Федры, ибо оговорила его, будто он-де обабился, и любовники-де ему милее женщин. Юноша покинул Навкратис — дело было в Навкратисе — и поселился близ Мемфиса: снарядил себе судно и сделался нильским корабельщиком. И вот, плывя вниз по реке, увидел он Аполлония, плывшего вверх, понял, что перед ним общество мудрецов, опознавши их по рубищам и книгочийству, и попросил: «Допустите ревнителя мудрости разделить с вами плаванье». «Мальчик разумен, —

сказал Аполлоний товарищам, — а потому, да удостоится его просьба согласия», — и затем, пока юноша еще только плыл к ним, он шепотом рассказал о происшествии с мачехой сидевшим по соседству спутникам.

Тут корабли сблизилась, и Тимасион, сказавши своему кормчему что-то касательно груза, перескочил к философам и поздоровался с ними. Тогда Аполлоний, велел ему сесть напротив, промолвил: «Ну, египетский молодец — ведь ты вроде бы из местных, — говори, чего ты сделал дурного и чего хорошего! Ежели сделал ты плохое, то ради юных лет твоих получишь от меня прощение, а ежели сделал ты хорошее, то с похвальным моим поручительством присоединишься к этим вот любомудрам». И заметив, что Тимасион покраснел и в смущении прикусил язык, колеблясь, то ли сказать, то ли не сказать, он настойчиво повторил вопрос, точно как если бы ничего наперед не знал. Наконец Тимасион, собравшись с духом, отвечал: «Боги, ну что мне сказать о себе самом? Не так уж я дурен, но можно ли почитать меня добрым, мне неведомо, ибо удержаться от преступления — это еще не заслуга». «Отлично, дитя мое! — воскликнул Аполлоний, — слова твои словно доносятся из Индии, ибо именно таково было суждение божественного Иарха. Но скажи, как и когда пришел ты к подобному мнению, — ведь ты, кажется, уберегся от какого-то греха?»

Лишь только юноша приступил к рассказу о том, как домогалась мачеха его любви и как остался он непреклонен, слушатели зашумели, потому что все сошлось с божественным пророчеством Аполлония, а Тимасион, прервав свой рассказ, спросил: «Что с вами, государи мои? Право же, повесть моя заслуживает удивления не более, чем осмеяния». «Не повести мы дивились, — возразил Дамид, — но тому, что тебе пока неведомо. А тебя, молодец, мы хвалим как раз за то, что ты думаешь, будто не совершил ничего превосходного».

Тут Аполлоний спросил: «Скажи, юноша, почитаешь ли ты жертвами Афродиту?» — «Конечно, каждый день, — отвечал Тимасион, — ибо, по-моему, богиня эта премного сильна в делах божеских и человеческих». Тогда Аполлоний в восторге возгласил: «Постановим, о мужи, увенчать его за скромность превыше скромности Ипполита, сына Тесея! Поистине, Ипполит обижал Афродиту и потому-то, пожалуй, ни любострастию не поддавался, ни любовным влечением никогда обуян не был, так что был нрав его груб и жесток, а этот юноша говорит, что почитает богиню, и все же не ответил на страстные домогательства, но, убоявшись самой богини, бежал, дабы уберечься от порочной любви. Попросту отвергнуть одного из богов, как Ипполит отверг Афродиту, — это я не называю смиренномудрием, ибо куда как смиренномудреннее восхвалять всех богов, а тем паче в Афинах, где даже неведомым божествам воздвигнуты алтари». Столь пространно было рассуждение Аполлония о Тимасионе, коего он, впрочем, прозвал Ипполитом за обращение с мачехой, а еще, пожалуй, за попечение о телесной своей крепости и приверженности к упражнению силы.

4. Вот с таким-то проводником и добрались путешественники до святилища Мемнона. О Мемноне Дамид пишет нижеследующее. Был он сыном Зари, но под Троей не погиб, да и не ходил ни к какой Трое, но опочил в Эфиопии, процарствовав пять поколений, а эфиопы оплакивают его юность и скорбят о якобы безвременной его смерти, потому что они из всех людей — самые долгоживущие. По словам Дамида, место, где воздвигнут кумир Мемнона, похоже на старинную вечернюю площадь: такие площади еще остались в заброшенных ныне городах, а попадаются там осколки каменных столбов и остатки стен, и скамьи, и дверные косяки, и Гермесовы кумиры, — иное разорено руками человеческими, а иное временем. Мемнон изображен безбородым юношей с ликом, обращенным к восходу, а изваян он из черного камня со сдвинутыми ступнями — таков был способ ваяния при Дедале — и с руками, упертыми в престол, так что он словно бы еще сидит, но уже порывается подняться. Достославны и общий вид изваяния, и выражение его очей, и уста, будто готовые заговорить, однако, по свидетельству путешественников, дивиться всем упомянутым свойством надобно не

иначе, как при полном их раскрытии, а именно когда падет на изваяние рассветный луч, что и случается при восходе солнца — и уж тут не сдержать восторга, ибо от прикосновения луча тотчас же уста Мемнона словно отверзаются, а очи словно зажигаются блеском в ответ восходу, как бывает у солнцелюбивых людей. Тут путешественники, по их же словам, уразумели, что Мемнон изваян встающим навстречу Солнцу — совсем как те, кто из вежливости поднимается на ноги. Затем принесли они жертвы Гелиосу-Эфиопу и Мемнону-Восходу — такие имена называли жрецы, ибо первое-де произведено от «сиять» и «пылать», а второе от материнского прозвания — и, наконец, отправились на верблюдах в край нагих мудрецов.

5. По дороге встретился им человек, одетый на мемфисский лад, однако глядевший скорее бродягой, чем путником. Товарищи Дамида стали спрашивать встречного, кто он таков и почему странствует, но Тимасион им сказал: «Лучше спрашивайте не его, а меня — он вам нипочем не расскажет о своей беде, ибо стыдится приключившегося с ним несчастья, а я человека этого знаю, жалею и все вам о нем поведаю. Он по нечаянности убил кого-то в Мемфисе, а мемфисские законы велют тому, кто изгнан за нечаянное убийство, — за это положено изгнание, — пребывать у Нагих, пока не очистится от преступления, и домой воротиться чистым, да прежде еще посетить могилу убитого и заклать там какую-нибудь мелочь. А пока не попал еще изгнанник к Нагим, надобно ему бродить по этому краю, покуда не сжалются над ним мудрецы, точно как над просителем». Тогда Аполлоний спросил Тимасиона, какого мнения мудрецы об этом вот изгнаннике. «Не знаю, — отвечал юноша, — по только бродит он тут просителем уже седьмой месяц, а разрешения не сподобился».

На это Аполлоний промолвил: «Не назовешь мудрецами мужей, отказывающих человеку в очищении и не ведающих, что убитый им Филиск возводил род свой к египтянину Фаму, опустошившему некогда страну Нагих». Удивленный Тимасион воскликнул: «О чем это ты?» — «О том, что и вправду было, дитя мое! — отвечал Аполлоний. — Поистине, упомянутый Фам злоумышлял некогда против жителей Мемфиса, а Нагие разоблачили и окоротили его, и тогда он, обозленный неудачей, разорил обитель мудрецов, ибо разбойно угнетал все земли близ Мемфиса. Я вижу, что Филиск, убитый этим вот человеком, был потомком Фама в тринадцатом колене и, без сомнения, заслужил проклятье тех, чью страну во время оно опустошил Фам. Неужто мудро поступают Нагие, отказывая в очищении человеку, который ради них же и постарался? Хотя бы и умышленно совершил он убийство, его увенчать за это пристало, а он к тому же сделался убийцей по нечаянности!»

Тут юноша в ошеломлении спросил: «Кто ты, чужеземец?» «Я тот, кого ты узнаешь у Нагих, — отвечал Аполлоний, — а сейчас, поелику завет мой не дозволяет мне говорить с оскверненным кровью, вели ему, дитя мое, бодриться, ибо он будет очищен без промедлений, ежели придет в пристанище мое». И когда человек этот явился, Аполлоний совершил над ним очищение по уставу Пифагора и Эмпедокла, а после велел ему возвращаться домой, ибо он уже чист от своего преступления.

6. Снявшись с привала на восходе солнца, путешественники к полудню прибыли в обитель Нагих. Нагие живут на невысоком холме почти на берегу Нила, а мудростью не столько обгоняют египтян, сколько отстают от индусов, а нагота их принаряженная, словно у греющихся на солнышке афинян. Деревья в этом краю немногочисленны, однако имеется небольшая роща, куда Нагие собираются на сходки, а храмы у них — в отличие от индусов — воздвигнуты не там же, по в разных частях холма и, по мнению египтян, храмы эти достойны внимания. Более всего Нагие угождают Нилу, почитая реку сию сразу землею и водой. Никакие укрытия и строения им не надобны, ибо живут они на воздухе и под открытым небом, однако для посетителей устроен у них соответственный приют — небольшой навес размером с элейскую стую, где ристатели ожидают полуденного возглашения.

7. Тут же Дамид описывает одно предприятие Евфрата — по нашему разумению, не столько ребяческое, сколько недостойное звания философа. Евфрату не раз доводилось слышать, что Аполлоний хочет сравнить египетскую мудрость с индийской, и вот он послал к Нагим Фрасибула из Навкратиса, дабы тот оклеветал тианийца. Тот явился — якобы для беседы с мудрецами — и рассказал, что собирается-де к ним тианиец и что будет-де у него с ними изрядное прение, ибо мнит он себя мудрее премудрых индусов, коих поминает при каждом слове, и что готово-де у него для Нагих десять тысяч обвинений и что не уступит-де он ни солнцу, ни небу, ни земле, ибо сам ими движет и правит, и ворочает, как хочет.

8. Измыслив все это, навкратиец ушел, а Нагие поверили, что рассказал он правду. Итак, когда Аполлоний явился, они от бесед с ним напрямик не отказывались, но ввали, будто у них важные дела, коими они очень заняты, а потому с гостем могут поговорить, только когда найдется у них досужее время и когда будут они знать, чего он хочет и ради чего пришел. Посланный к путешественникам гонец приглашал их разместиться под навесом, но Аполлоний отвечал: «Не стоит говорить о крове, ибо небо в этих краях всем дозволяет оставаться голыми», — этими словами он попрекнул Нагих за то, что нагота их не от стойкости, но для удобства. А еще он сказал: «Я не удивлен, что им неведомо, чего я хочу и зачем пришел, однако индусы меня об этом не спрашивали».

9. Как-то раз, когда Аполлоний возлежал под одним из деревьев, отвечая на вопросы товарищей, Дамид отвел Тимасиона в сторонку и спросил: «Вот эти Нагие, приятель, — ты ведь с ними знаком, — так в каком роде их мудрость?» — «Она превосходна и могуча», — отвечал Тимасион. «Однако же, голубчик, поступать с нами так, как они поступают, вовсе не мудро! Не поговорить о мудрости с таким великим человеком, а вместо этого заносится перед ним — уж и не знаю, товарищ, что это, если не спесь?» — «Спесь? Ничего подобного я за ними не замечал, хотя побывал здесь уже дважды — они всегда учтивы и любезны с посетителями. Совсем недавно — пожалуй, дней пятьдесят назад — гостил тут некий Фрасибул, любомудрием отнюдь не примечательный, однако и его приняли с распростертыми объятиями, когда он сослался на Евфрата».

«Что ты говоришь, парень? Неужто видел ты в этих краях навкратийца Фрасибула?» — «Да, и более того — я привез его сюда па своем собственном корабле!» — «Клянусь Афиною, я все понял! — воскликнул Дамид в возмущении. — Похоже, тут не обошлось без подлого плутовства!» На это Тимасион возразил: «Я давеча спрашивал твоего друга, кто он таков, однако он еще не удостоил меня ответом. Ежели это не тайна, скажи мне, кто сей муж — тогда, быть может, я сумею помочь тебе отыскать желательное решение». И услышав, наконец, от Дамида имя тианийца, он сказал: «Ты верно уловил суть дела! Когда мы с Фрасибулом плыли обратно, я спросил, какова была цель его путешествия, а он, признавшись, что о науке не слишком радеет, рассказал мне, как внушил этим вот Нагим подозрения против Аполлония, — теперь-де, когда бы тот к ним ни явился, они на него и глядеть не пожелают. С чего пошла у них эта ссора, я не знаю, но Фрасибул, по-моему, повел себя подло и по-бабьи. Впрочем, я поговорю с нашими хозяевами и объясню, как было дело, ибо я с ними в дружбе». Итак, под вечер Тимасион воротился, сказав Аполлонию только, что переговорил с Нагими, однако Дамиду он потихоньку сообщил, что Нагие переполнены услышанным от Фрасибула и намерены явиться поутру.

10. Проведя вечер в незначительных и кедостопамятных разговорах, улеглись они спать там же, где ужинали. На рассвете Аполлоний, помолившись по своему обыкновению Солнцу, погрузился в размышление, и тут Нил, младший из Нагих, подбежал к нему со словами: «Мы пришли к тебе». — «Отлично, — отвечал Аполлоний, — ибо я-то ради вас шел от самого моря». Сказавши так, он последовал за Нилом.

Собеседники встретились около навеса и после взаимных приветствий Аполлоний спросил: «Где мы будем разговаривать?» — «Здесь», — промолвил Феспесион, указывая на рошу. Упомянутый Феспесион был у Нагих главным, так что и тут пошел впереди, а остальные пристойно и неспешно брели ему вслед — совсем как судьи в Олимпии за своим старейшиной.

Усевшись как придется, уже без соблюдения прежнего порядка, все усталились на Феспесиона, будто на хозяина беседы, и он начал свою речь такими словами: «Говорят о тебе, Аполлоний, будто ты посетил Пифийское и Олимпийское святилище — доносил нам об этом и Стратокларосец, якобы повстречавший тебя там. Так вот: в Дельфах для гостей и на флейтах дудят, и на струнах бряцают, и песни поют, да еще ублажают их комедиями и трагедиями, так что только под самый конец дают им лицезреть состязания нагих ристателей, а из Олимпии, напротив, все перечисленные развлечения изгнаны как бесполезные и несообразные с обычаем, так что гостям по установлению Гераклу показывают лишь нагих ристателей — и только. Знай, что между нашей мудростью и индийской различие такое же: индусы наподобие пифийских зазывал увлекают толпу многовидным чародейством, а мы предстаем в наготе своей словно на Олимпийском ристалище. Нам здесь земля постелей не стелит и не поит нас вином и молоком, как вакхантов, да и воздух не возносит нас ввысь — нет! мы спим на голой земле и кормимся природными ее плодами, кои дарует она нам не в насильственных муках, но по доброй воле. Впрочем, пошутить и мы умеем. А ну-ка вот ты, дерево!» — так обратился он к вязу, третьему по порядку от того, под коим велась беседа. «А ну-ка, дерево, поздоровайся с премудрым Аполлоном!» И названное дерево поздоровалось, как было велено — голос у него оказался ясный и звуком подобный женскому. Этим способом Феспесион хотел унижить индусов и возвыситься во мнении Аполлония, ко всякому слову поминавшего индийские чудеса.

К сказанному Феспесион добавил нижеследующее: «Мудрецу надлежит блюсти чистоту пищи, гнушаясь всякой убоины, а еще не распалить очи похотью, а еще избегать зависти, научающей неправедным делам и речам, — вот и довольно. Что же до чародейства и колдовства, то они истине вовсе не надобны. Взгляни на Аполлона Дельфийского, ради прорицалища своего завладевшего серединой Эллады: там, как тебе, пожалуй, и самому известно, паломник задает короткий вопрос, и Аполлон безо всяких чудодействий отвечает, что знает. Уж ему-то легче легкого сотрясти весь Парнас, заставить Кастальский ключ источать вино, запрудить воды Кефиса — а он являет одну лишь истину, ничем из перечисленного ее не приукрасив! Так что не следует нам воображать, будто по собственной воле Аполлона стекается к нему все это золото и прочие блистательные подношения или будто ему было бы приятно, расширив его святилище хоть вдвое против нынешнего, — поистине, некогда сей бог обитал в убогом жилище и: вылепили для него лишь малую хижину, и, для постройки этой, по преданию, пчелы несли соты, а птицы — перья. Невзыскательная простота есть наставница мудрости и пестунья истины, а потому будь привержен простоте, позабудь об индийских сказках и прослынешь ты совершенномудрым! Стоит ли голосить из-за «делай так» или «делай сяк», «ведомо» или «неведомо», «такое» или «сякое?» Что толку от всего этого шума, а лучше сказать — ото всех этих попусту бряцающих перунов?

Тебе случалось видеть в книжках с картинками Продикова Геракла. Этот Геракл юн и не успел еще избрать себе жизненный путь, а Подлость и Доблесть вцепились в него и тащат каждая в свою сторону. Подлость разукрашена золотом и побрякушками, одета в пурпур, щеки у нее румяные, волосы кудрявые, глаза подмалеваны и даже сандалии на ней золоченые, ибо в такой вот обуви выступает она на рисунке; а Доблесть, напротив, кажется измученной и глядит горько, неприбрана, одета убого, а не блюди она женской стыдливости, была бы и вовсе нагой. Так вот, вообрази, Аполлоний, будто это ты сам стоишь между индийской мудростью и нашей и слушаешь, кто тебе что обещает. Индийская мудрость обещает устлать ложе твоё цветами, напоить тебя молоком и накормить медом, а еще г— свидетель Зевс, ты только захоти! — будет

тебе нектар и будут крылья, и на пиру будут тебе услужать ходячие треножки, и воссядешь ты на золотой престол, а уж делать-то тебе ничего не придется, ибо все само собой поплывет тебе в руки. Другая мудрость, напротив, велит тебе спать в грязи на голой земле и, подобно нам, удручаться наготой, и ничего милого или приятного не добудешь ты без тяжкого труда, да притом нельзя тебе будет ни лелеять свою спесь, ни гоняться за почестями, а еще придется избегать сонных видений, увлекающих от надежной земли. Ежели будет твой выбор подобен Гераклову и примешь ты твердое решение истинною не пренебрегать и природной простоты не отвергать, то по праву скажешь о себе, что множество львов полонил и множество гидр порубил, и многих одолел Герионов и Нессов, и все свершил Геракловы подвиги! Ну, а ежели нравится тебе скоморошничать, то угодишь ты и зрителям и слушателям, да только окажешься не умнее любого человека и превзойдет тебя всякий нагой египтянин».

11. После этих слов все оборотились к Аполлонию: товарищи его заранее знали ответ, а вот товарищам Феспесиона было любопытно, найдется ли гость возразить. Однако Аполлоний, похвалив египтянина за плавность и звучность речи, спросил: «Больше ничего не скажешь?» — «Клянусь Зевсом, я все сказал!» — отвечал тот. Аполлоний вновь спросил: «Может быть кто-нибудь из египтян добавит?» — «Выслушав меня, ты выслушал всех».

Тогда Аполлоний, чуть помедлив и словно бы разглядевши сказанное, промолвил так: «О премудрый египтянин! Твоя речь о выборе, который, по словам Продика, в юности свершил Геракл, была по мысли здоровой и по духу философской, да только мне она без пользы! Я пришел к вам отнюдь не для того, чтобы советоваться, как жить мне дальше, ибо давным-давно избрано мною верное решение, а я старше вас всех, кроме разве Феспесиона, так что, явившись сюда, я бы и сам — мне это более пристало! — дал вам совет насчет выбора мудрости, когда бы не оказалось, что вы уже успели выбрать. Впрочем, годы мои столь преклонны и мудрость моя столь превосходна, что я без колебаний изложу перед вами причины своего решения, дабы объяснить, как сумел я верно выбрать жизнь, лучше которой и придумать нельзя.

Поистине, великое мое научение было от Пифагора, ибо Пифагор сокровенной своей мудростью познал самого себя — и не только кто он есть, но и кем он был прежде; и к алтарям приходил он, блюдя чистоту, — не сквернил утробу свою мертвечиною и не марал тело свое одеждой, выделанной из убиенных тварей; а еще он первым из людей замкнул уста свои и так обрел завет, называемый «щитом молчания», да и в остальном философия его была истинной и пророческой. Вот и стал я твердить сию науку, но совсем не потому, что избрал одну премудрость из двух, как советуешь ты, любезный Феспесион, а потому, что представляла мне философия учения свои, сколько их ни есть, наделяя каждое подобающим ему чином и тем повелев мне поглядеть на них самому и свершить здравый выбор. Все сии учения блистали величием и святостью — порою блеск иного из них слепил очи, — однако все я рассмотрел со вниманием, ибо сами они побуждали меня к этому, завлекая и суля каждое свое. Одно учение обещало, что безо всякого труда окунуться я в море наслаждений, другое — что даст мне отдых от трудов, третье — что к трудам моим добавится веселье, — итак, всюду удовольствия и обжорство без узды, и ладонь для денег открыта, и нет препоны похоти, но дозволено хоть влюбляться; хоть домогаться, хоть что угодно в этом роде, и лишь одно учение хвастливо возглашало воздержание от подобных страстей, но было дерзко, злоречиво и гнало в толчки всякую другую науку.

Тут узрел я несказанную красоту мудрости, обаявшей некогда и самого Пифагора — наука сия не стояла в толпе, но держалась в стороне, молчала и, наконец поняв, что все остальные мне не годятся, а с нею я не знаком, молвила так: «Нет во мне, отрок, пригожести, но избыточна я тяготами: ежели согласится кто с моим уставом, то придется ему «отвергать всякую пищу, ради коей убита живая тварь, и о вине придется позабыть, дабы не замутить премудрого кубка, воздвигнутого в трезвых душах, и не согреет его плащ или иная одежда тканая из животной

шерсти, а сандалии достанутся ему тростниковые, а спать он будет где случится, а ежели узнаю я, что привержен он любострастию, так есть у меня гиблые ямы, куда препроводит его и низвергнет сопутствующее мудрости правосудие; столь сурова я с ревнителями своими, что даже и уста их держу на замке! А теперь узнай, какова награда тому, кто все эти тяготы стерпит: сразу вступит он во владенье праведностью и благомысленностью, и зависти ему никто не внушит, и будет он тиранам страшен а сам перед ними не склонится, и малые жертвы его будут слаще богам, чем потоки бычьей крови! Ежели будешь ты чист, то дарую я тебе знание грядущего, а очи твои так просветлю светом, что распознаешь ты бога, узнаешь героя и уличишь призрачную нежить, сокрытую под личиною человечьей». И вот, о премудрые египтяне, я избрал именно эту жизнь, а свершив сей верный выбор вослед Пифагору, не обманул и не был обманут, ибо сделался я таким, каким должно быть философу, и получил все, что философу назначено. Доводилось мне размышлять и о происхождении чародейства, и об основаниях его, а решение мое таково: к чародейству способны те, у кого святости в избытке и кто превосходит в познании души, первопричина коей неуничтожима и безначальна.

Я понимал, конечно, что все это не для афинян — когда Платон изрек о душе совершенномудрое и богодухновенное слово, то афиняне слово сие отвергли, а приняли обратные и ложные мнения. Надобно мне было разузнать, есть ли на свете город или народ, где рассуждали бы не по-нашему — один так, другой этак, но все — хоть стар, хоть млад — держались бы единого учения о душе. Сам-то я, руководимый незрелостью и неопытностью, любопытствовал именно о вас, ибо множество слышал рассказов о сверхъестественных ваших познаниях, но когда изъяснил я это наставнику своему, он прервал речи мои нижеследующими словами: «Предположим, что ты — из влюбчивых и питаешь страсть к юной миловидности, а тебе повстречался красивый отрок и, очарованный пригожестью его, принялся ты расспрашивать, чей он сын, и вот оказалось, что отец у него — воевода и богат конями, а деда у него — хороводители, однако же ты его именуешь «о потомок корабельщика!» или «о сын окружного старосты!». Как, по-твоему, привлечешь ты этим способом расположение отрока или, напротив, опротивеешь ему вконец, ибо не зовешь его по отческому чину, но измышляешь ему в предки каких-то безвестных ублюдков? Ну, а ежели питаешь ты страсть к мудрости, постигнутой индусами, то неужто будешь именовать ее порождением не отцов, но вотчимов? Это было бы для египтян даже лучшим подарком, чем если бы Нил снова — как в баснословные времена — при разливе затопил бы их медом!» После такого разговора я и поворотил от вас к индусам в рассуждении того, что наука их изощреннее, ибо солнце светит им яснее, а мнение их о природе и богах ближе к истине, ибо обитают они в соседстве с богами, рядом с первоначалом всякого тепла и всякого живорождения.

Наконец добрался я до индусов, и поучения их оказали на меня то же действие, какое, по преданию, оказывала на афинян премудрость Эсхилова. Упомянутый Эсхил был сочинителем трагедий — и вот, увидев, как недостает еще трагическому искусству изысканности и правильности, заставил он хор держаться строем, убавил длительность песен и так нашел место для лицедейских словопрений, а смертоубийство придумал изгнать с подмостков, дабы не свершалось оно на глазах у зрителей. Нельзя умалить мудрость названных нововведений, но все же следует признать, что могли они придти в голову и другому, худшему сочинителю. Однако Эсхил умел подумать не только о том, как бы самому прослыть отличным сочинителем трагедий, а умел он подумать и о том, как бы придать трагическому искусству еще больше величия и не низводить его до обыденности: ради этого он установил разным героям разные и соответственные личины, определил высоту котурнов сообразно с каждой ролью, впервые навел порядок в одежаниях лицедеев, отличив убором героев от героинь. Вот потому-то афиняне, называя Эсхила отцом трагедии, и приглашали его на Дионисии даже после смерти, ибо приняли они закон о трагедиях его: да будут допущены к соисканию первенства по праву

новосочиненных. И все-таки даже и от отлично составленной трагедии радость недолгая, не долее Дионисий, а от философии связной — это по уставу Пифагорову — и притом богодухновенной — это было у индусов и прежде Пифагора — радость не на краткий миг, но на веки вечные.

Итак, по-моему, ничего нет странного в том, что я предался благоустроенному любомудрию, которое индусы вознесли на сообразную ему высоту и движут божественною машиною, — а теперь пора объяснить, почему я прав, восхищаясь индусами и почитая их премудрыми и блаженными. Увидел я мужей, обитающих на земле и не на земле, без крепости обороненных, ничем не владеющих и всем обладающих, — а ежели покажется, будто говорю я загадками, то мудрость Пифагорова сие допускает, ибо сам Пифагор дозволил окольные намеки, когда обрел в речи наставницу молчания. Вы тоже совещались с Пифагором об упомянутой премудрости в те времена, когда чтили индийскую науку, ибо в древности вы и сами были индусами, но затем, устыдившись повести о переселении своем из земли, постигнутой божьим гневом, пожелали вы называться кем угодно, лишь бы не явившимися из Индии эфиопами, — чего вы только ради этого не делали! Именно по этой причине вы совлекли одежды, в коих пришли сюда, — словно снимали с себя свое эфиопство; именно по этой причине порешили вы почитать богов на египетский лад — только бы не по-своему; именно по этой причине воспретили вы говорить хоть что-то хорошее об индусах — будто, гнушаясь индусами, не гнушаетесь вы собственным своим происхождением. И в последнем вы ничуть не изменились, ибо еще и сегодня злоречиво и язвительно утверждали, что нет-де от индусов никакого толку, кроме разве способности поражать и развлекать зрителей и слушателей. А так как ничего еще не ведая о моей мудрости, вы уже являете полное равнодушие к ее славе, то о себе самом я и говорить не стану — с меня довольно мнения обо мне индусов, — но на индусов нападать не позволю! Неужто нет ни в ком из вас и малой доли от здравомыслия Гимерийца, который, сочинив песнь о Елене, затем сочинил еще и другую — по смыслу противоположную предыдущей — и эту последнюю назвал «песневоротом?» Вот и вам самое время признаться в ошибке своей и перемелить нынешнее свое мнение об индусах на лучшее, а ежели не способны вы сочинить песневорот, то хотя бы не злословьте о мужах, чьею властью не пренебрегают даже боги, удостоившие их участия в божественности своей! В твоей речи, Феспесион, ты поминал простоту и непритязательность Пифийского прорицалища и приводил в пример храм, слепленный из воска и перьев» но мне он не кажется непритязательным, ибо стих:

Пчелы! Несите мне воск, и птицы! несите мне перья!

свидетельствует об изощренном замысле постройки. Впрочем, и ее-то бог, по разумению моему, счел тесною и недостойною мудрости своей, так что пожелал себе новых и новых храмов, на сей раз величественных и просторных: один из них, говорят, был еще и украшен золотыми вертишейками, чарующими, словно Сирены. Да и наряжая Пифийскую свою обитель, бог собрал туда славнейшие подношения, не отвергая ни изваяний — а дарили святилищу исполинские истуканы богов, людей, лошадей, быков и прочих тварей, — ни принесенного Главком поставца, ни Полигнотовой картины, на коей изображено взятие Троянского кремля. Воистину не почитал бог прикрасою храму лидийское золото, но принимал его ради эллинов, показывая им варварскую роскошь, как я мыслю, для того чтобы прельщались они чужеземным богатством более, чем междоусобными распрями, а в остальном поощрял он соприродный мудрости своей эллинский вкус и блистанием его прославил Пифийское прорицалище. По-моему, и пророчествует он стихами тоже для красоты, ибо, не будь у него такого намерения, отвечал бы он «делай так» или «не делай так», «иди» или «не ходи», «ищи союзников» или «не ищи союзников», — ответы эти и вправду краткие или, как вы выражаетесь, нагие, однако же бог, желая явить витийство свое и усладить вопрошающего, изъясняется стихами. А еще не допускает он, будто есть что-либо ему неведомое, но говорит, что и о песке знает, сколько в

нем песчинок, и бездну морскую измерил хоть вширь, хоть вглубь. Может быть, по-твоему, Аполлон, вещая столь велеречиво и выпендренно, тоже скоморошничает? Вот что я скажу, Феспесион, ежели не наскучил еще тебе своей речью. Порою к овчарам, а то и к волопасам приходит бабка с решетом, обещая вылечить волхвованием заболевшую скотину и почитая себя не просто мудрою, но даже и помудрее подлинных волхвов. Пред индийской премудростью вы кажетесь мне точь-в-точь такими бабками: у индусов и святость, и устройство на пифийский лад, а у вас — но нет, довольно! Поистине, не менее, чем индусам, мила мне благопристойность, так что останусь я ей предан как помощнице и водительнице речей моих: позволительно мне чтить индусов любовью и хвалою, но хула для меня под запретом, а потому оставлю я без внимания достойное хулы. Ты слышал, как сказано у Гомера о стране киклопов, что жестоких и неправедных тварей вскормил бесплодный и дикий край, — тебе, конечно, стихи эти нравятся. Когда какие-нибудь эдоны или лидияне впадают в вакхическую ярость, ты готов верить, будто отверзаются для них молочные и винные источники и будто они из них пьют. Но в таком случае зачем отрицаешь ты произвольные дары земли, обретаемые премудрыми индийскими вакхантами? А самоходные треножки движутся и на пирах у богов — уж насколько груб и злобен Арей, но даже он не бранит за них Гефеста, и никто никогда не слыхивал от богов обвинения вроде: «Ты преступен, Гефест, ибо украсил пир богов и уснастил его чудесами», да и за золотых кукол никогда Гефеста не осуждали, будто портит-де он вещество, вдыхая в золото живой дух. Поистине, всякое искусство радеет о порядке и красоте, для коих оно и предназначено! И босые ноги, и рубище, и сума — это тоже обретение красоты и порядка, да и нагота ваша, хоть и кажется простой и безыскусной, тоже придумана для красоты — точно по слову «всякому своя спесь». Предоставим обычаю идти своим чередом, и пусть служат индусы Солнцу так, как Солнцу угоднее, ибо подземным богам милы пропасти и пещерные обряды, но у Солнца колесницею воздух, и ради подобающей ему хвалы надлежит, вознесясь от земли, парить вместе с богом — многие этого хотят, а могут одни индусы».

12. Дамид говорит, что, услышав все вышесказанное, вздохнул с облегчением, ибо на египтян речь Аполлония произвела столь сильное действие, что Феспесион, несмотря на черноту свою, зримо покраснел, да и остальные были словно ошеломлены силою и складностью услышанного рассуждения, а младший из египтян — звался он Нил — в восхищении вскочил на ноги, кинулся к Аполлонию и, схватив того за руку, попросил рассказать о беседах с индусами. «От тебя я ничего таить не стану, — отвечал Аполлоний, — ибо вижу, что ты усердный слушатель и рад всякой премудрости, но ни с Феспесионом, ни с кем другим, кто почитает индусов болтунами, я разглагольствовать об этих предметах не намерен». Тут Феспесион спросил: «А будь ты купцом или корабельщиком и привези ты к нам товары из Индии, ты, стало быть, решил бы, что ежели товар от индусов, так неблагонадежным покупателям нельзя ни поглядеть его, ни пощупать?» — «Я показал бы свой товар тому, кто попросит, — возразил Аполлоний, — но если бы кто-то, придя на пристань еще до подхода корабля, принялся бы хаять поклажу, а меня самого корить и бранить, что явился-де я из страны, из коей ничего путного не возят, и что товар-де у меня плевый, да если бы он к тому же и остальных в этом убеждал — вот в подобном случае, неужто ты думаешь, будто найдется дурак, чтобы бросить в такой гавани якорь или причальный канат? Нет, всякий тут же подымет паруса и уйдет в открытое море, ибо куда как приятнее вручить поклажу свою ветрам, лишь бы не досталась она бестолковому и негостеприимному племени!» «Ну, а я, — воскликнул Нил, — ловлю твой причальный канат и прошу тебя, корабельщик: поделись со мною привезенным товаром, дабы взошел я на твое судно добровольным спутником и зрителем поклажи твоей!»

13. Тут Феспесион, желая покончить с разговором, сказал: «Я рад, Аполлоний, что ты огорчен услышанным: авось поймешь, что и нам было огорчительно, когда бранил ты нашу мудрость, еще не побывав здесь и ничего о ней не зная». Несколько мгновений Аполлоний оставался в

изумлении от этих слов, ибо ничего не слышал об изветах Фрасибула и Евфрата, но затем, как и всегда с ним бывало, сообразил, что именно случилось и отвечал: «А вот индусам, Феспесион, и огорчаться бы не пришлось, ибо в мудрой своей прозорливости они и слушать бы не стали Евфратова вранья! Что до меня, то никакой личной вражды с Евфратом у меня нет, но поначалу отвращал я его от стяжательства и порицал за страсть из всего выколачивать деньги, а затем понял, что советы мои ему без пользы и следовать им он не в силах, — однако же он почел это для себя бесчестьем и теперь не упускает повода меня оклеветать. Ежели все его изветы против нрава моего показались вам убедительны, знайте: вас опозорил он больше, чем меня. Поистине, хотя оклеветанному и грозит немалая опасность, ибо безвинно становится он жертвою ненависти, но внемлющие клевете тоже, по-моему, не избегают опасностей: во-первых, они будут уличены в том, что уважили вранье и предпочли его истине, а во-вторых, в том, что по глупости и легкомыслию, кои даже мальчишкам постыдны, уподобились завистникам, допустив к себе зависть и с её слов затвердив ложные слухи — вот и опозорились, поверивши молве о чужом позоре. Легковерие в делах присуще самой природе человеческой, однако никак нельзя быть легковерным ни самодержцу, ни народному вожаку — у такого даже демократия обернется тиранией, ни судье — не доискаться ему до правды, ни корабельщику — будет на его судне раздор, ни полководцу — разве что для пользы неприятеля. И философу тоже нельзя быть легковерным, ибо не сумеет он постигнуть истину, — а значит, из-за Евфрата вы перестали быть мудрецами! Разве могут почитать себя мудрецами обманутые вралем? Разве не отступились они от мудрости ради лжи лжеца?» Желая унять Аполлония, Феспесион возразил: «Довольно о Евфрате и о пустопорожних слухах! Хочешь, мы тебя с ним помирим? У нас в правилах, чтобы мудрец помогал мудрецам». — «Ну, а с вами кто меня помирят? Я оклеветан и надобно мне отбиться от клеветников!» — воскликнул Аполлоний. <.. .> «Да будет так, — отвечал Аполлоний, — и приступим к ученой беседе, ибо это лучше послужит примирению».

14. Тут Нил, в жажде послушать Аполлония, сказал: «Вот тебе и положено начать беседу и рассказать нам о странствиях своих среди индусов и о своих с ними разговорах — толковали-то вы, конечно, о возвышенных предметах». — «Да и мне бы хотелось услышать о премудрости Фраотовой, ибо вы вроде бы привезли к нам из Индии образцы речей его», — присовокупил Феспесион. Тогда Аполлоний, начав повествование свое от вавилонских происшествий, рассказал египтянам все как было, а они прилежно и усердно ему внимали, хотя с наступлением полудня прервали беседу — в эту пору и у Нагих свершаются священнодействия.

15. Когда Аполлоний и спутники его собрались обедать, Нил принес им овощи, хлеб и сушеные плоды — кое-что он сам, а кое-что и прочие египтяне, — учтиво промолвив: «Мудрецы посылают эти гостинцы вам, а также мне, ибо я буду трапезовать вместе с вами, не то, чтобы без приглашения, но — как они выразились — сам себя пригласивши». «Милый юноша, — отвечал Аполлоний, — ты сам и нрав твой — приятнейший из гостинцев, ибо приверженность твоя индусам и Пифагору свидетельствуют о неподдельности любомудрия твоего. Займи место — прошу! и кушай на здоровье». «Вот я, — сказал Нил, — да только не хватит у тебя еды, чтобы мне насытиться». — «Неужто ты обжора и сладкоежка?» — «Еще какой обжора! Хотя прежде твое угощение было столь обильно и столь роскошно, я все-таки не наелся досыта и почти сразу воротился, чтобы еще поесть. Можно ли назвать меня иначе, как ненасытным и прожорливым чревоугодником?» — «Я напитаю тебя досыта, — сказал Аполлоний, — а что до предметов беседы, то одни выберешь ты, а другие я сам».

16. После обеда Нил сказал: «До сего времени я был наг, держась с Нагими в едином строю, словно лучник с лучниками или пращник с пращниками, но ныне вздену я тяжелый доспех, и твой щит снарядит меня». — «Однако же, египтянин, — возразил Аполлоний, — будет тебе, пожалуй, предъявлен от Феспесиона и товарищей его иск, ибо переметнулся ты к нам без долгих сомнений, а, стало быть, предпочел наш обычай не таким способом, каким положено

избирать жизненный путь». — «Я так мыслю, что выберешь — виноват, не выберешь — опять же виноват, — отвечал Нил, — но остальных потом осудят еще строже, потому что они старше и умнее, а я успел выбрать раньше — вот сейчас! Так что к ним иск будет справедливее, ибо, при всех своих предо мною преимуществах, не сумели они толком разобраться, куда лучше поворотить». — «Знатно сказано, мой мальчик! — промолвил Аполлоний. — Однако смотри: ни мудрость, ни старость не пригодились им не только для верного выбора, но и для пристойного отказа, а ты в речах смелее и потому кажешься скорее предводителем их, нежели последователем».

На эти слова египтянин отвечал нижеследующим возражением: «Молодому человеку положено слушаться старших — я и слушался, не сомневаясь, что упомянутым мужам ведома мудрость, коей никто более не постиг. А еще был я всецело им предан вот по какой причине. Некогда отец мой отправился по делам своим в Ерифрейское море — он начальствовал над кораблем, посылаемым египтянами в Индию — и там познакомился с прибрежными индусами и воротился с рассказом о тамошних мудрецах, весьма сходным с твоими рассказами. Слушая батюшку, я узнал, что индусы мудрее всех людей на свете и что эфиопы хоть и ушли из Индии, но мудрость индийскую унаследовали и приверженность к отечественным обычаям сохранили. Поэтому, едва достигнув юности, я отдал наследственное свое имение тем, кто на него зарился, а сам поспешил сделаться нагим среди Нагих, дабы постигнуть индийскую или родственную индийской науку. Нагие показались мне мудрыми, хотя и не на индийский лад, но когда спросил я их, почему отказались они от индийских заветов, они принялись бранить индусов примерно теми же словами, какими и перед тобою давеча бранились, а меня, совсем еще, как видишь, молодого, приняли в свое общество — по-моему, они боялись, что я от них сбегу и подобно батюшке пушусь в Красное море. Честное слово, я бы непременно так и поступил и дошел бы до самой твердыни мудрецов — но тут некий бог послал тебя мне на помощь, и теперь изведаю я индийской премудрости без плаванья в Красное море и без скитаний среди прибрежных туземцев. Не сегодня совершил я свой выбор, нет! я выбрал себе жизнь давным-давно, однако не мог сделать, как решил, — но неужто надобно дивиться, когда заплутавший охотник наконец-то снова берет след? А ежели я попробую увлечь за собою и остальных и обратить их в свою веру, скажи: неужто покажусь я наглым хвастуном? Не следует пренебрегать юностью — и юноша подчас рассудит лучше старца, да притом, советуя другим принять мудрость, мною уже избранную, я по крайней мере избегну обвинения, будто всех-де уговариваю, а сам-то не верю! Если кто-либо, присвоив ниспосланное Случаем Благо, пользуется им в одиночку, то ругается он над Благом, ибо отнимает сладость его у многих!»

17. Когда Нил закончил эту свою речь, — а была она ребячливой, — Аполлоний промолвил: «Ты столь привержен к моей науке, что не обсудить ли нам прежде, какая будет мне за нее плата?» — «Пожалуйста, проси чего хочешь!» — воскликнул Нил. «Я прошу тебя держаться избранного решения, но не докучать Нагим неубедительными для них советами». — «Ладно, я согласен уплатить». Вот таков был между ними разговор, а под конец Нил спросил, долго ли еще останется Аполлоний у Нагих. «Пробуду столько, сколько заслуживает их мудрость, — отвечал тот, — а после мы собираемся пойти к Порогам ради нильских родников, ибо приятно не только глянуть на истоки реки, но и услышать голос водопада».

18. Побеседовав и еще кое-что вспомнив об Индии, путешественники улеглись спать прямо на траве, а поутру после обычных молитв отправились вслед за Нилом, который и привел их к Феспесиону. Обменявшись приветствиями, все расположились в роще и приступили к разговору, а затеял его Аполлоний, промолвив: «Вчерашняя беседа обнаружила, насколько важно не держать мудрость под спудом: воистину, когда индусы научили меня всему, что я почитал для себя годным, то я, памятуя о наставниках своих, принял и сам учить людей постигнутой мною науке. Да и вам, ежели, наконец, усвою я премудрость вашу, будет от меня

польза, ибо без передышки стану я возвещать ваше учение: элинам — устно, индусам — письменно».

19. «Спрашивай, ибо ответ идет вослед вопросу»,— сказали египтяне, и Аполлоний приступил так: «Во-первых, хочу я спросить, с чего вы взяли и внушили местным жителям, будто у многих богов столь несуразные и смехотворные образы? Впрочем, почему у многих? Почти у всех! Лишь несколько кумиров имеют вид мудрый и богоподобный, а остальные ваши капища устроены словно бы и не для богов, но для нелепых и презренных скотов». На это Феспесион возразил с неудовольствием: «Разве ваших истуканов делают иначе?» — «Иначе — у нас такая работа превосходна красотой и богоблагодатностью». — «Ты, наверно, говоришь об Олимпийском Зевсе, о пресловутой Афине, о кумирах Книдском, Аргосском и прочих прекрасных и исполненных прелести изваяниях?» — «Нет, не только: я говорю, что все и повсюду соблюдают пристойность, и одни вы выставляете богов своих более для осмеяния, нежели для почитания». — «Неужто всякие ваши Фидии и Праксителы возносились на небеса, чтобы запомнить, как выглядят боги, а затем изваять их точно такими? Или резцом их водило что-нибудь иное?» — «Иное — и в этом ином была вся полнота мудрости». — «Что же именно? О чем тут можно говорить, кроме подражания?» — «О воображении! Все это и работа воображения, и она куда искуснее подражания, ибо подражание создает лишь виденное, а воображение — еще и невиданное, творя возможные, хотя и небывалые образы. Подражанию частою помехою бывает изумление, а воображению нет помехи, ибо не смутят его собственные мечтания. Помышляя об упомянутом кумире Зевса, надобно видеть его вместе с небом и временами года и звездами — таким Зевсом и вдохновился некогда Фидий! А ежели собрался кто изваять Афину, то надобно ему помнить о битвах и о хитроумии, и о ремеслах, и о том, как выпрыгнула богиня из отчей главы! Ну, а ежели вместо Гермеса, Афины и Аполлона сработаете ты и притащишь в храм сокола или сову, или волка, или пса, то хотя бы все твои звери и птицы и отличались завидным правдоподобием, однако же славе божьей выйдет от этого унижение». — «Ты взял себе в привычку бранить наши обычаи, ничуть в них не разобравшись! — возразил Феспесион. — Если уж что у египтян мудро, так это их богобоязненное почтение к кумирам, святость коих преумножается посредством вымысла и намека». Тут Аполлоний со смехом воскликнул: «Ох, люди! Вдоволь извели вы египетской и эфиопской науки, ежели кажутся вам святыми и богоподобными ибисы, псы и козлы, как услышал я сейчас от премудрого Феспесиона. И эти-то святыни внушают благоговейный трепет? Похоже, что всяческому богохульству, святотатству и шутовству такие боги внушают не страх, но презрение! Если уж обиняки преумножают святость, то больше было бы пользы египетскому благочестию, когда бы вы и вовсе не воздвигали кумиров, но направили бы богословие свое по иному пути, который куда как мудрее и заповеднее: пусть бы строились для богов храмы и ставились бы в этих храмах алтари, и были бы уставы и запреты касательно порядка и чина жертвоприношений и возгласений и прочих обрядов, но кумиров бы никаких не водружали, а кто пришел в храм, тот пусть сам и вообразит обличье божества, ибо разум рисует и ваяет искуснее художника, — но вы-то отнимаете божью красоту и у взоров, и у помыслов!» На это Феспесион сказал: «Жил когда-то в Афинах некий Сократ — тоже старый дурак, ну, совсем как мы! — и вот почитал он богами хоть пса, хоть гуся, хоть явор, да еще и божился ими». — «Не дураком он был, — отвечал Аполлоний, — но истинным и божественным мудрецом, ибо поминал он в клятвах псов и гусей не ради святости их, а во избежание божбы».

20. Тут Феспесион, желая переменить предмет беседы, спросил Аполлония о лаконских плетях — правда ли, что спартанцев секут принародно? «Еще как секут, Феспесион! — отвечал Аполлоний, — а особенно — именитых и почтенных». — «Тогда что же делают они с негодными рабами?» — «В старину по Ликургову дозволению их убивали, а теперь тоже секут». — «И какого же мнения о таких делах держатся в Элладе?» — «Такого, что все отовсюду сбегаются

ради этого зрелища — оно увлекает и радует не меньше, чем Гиакинфии или Гимнопедии». — «Неужто достойным эллинам не стыдно глядеть, как секут всех их будущих начальников? Неужто не зазорно им слушаться начальников, коих принародно высекли? А ты-то, говорят, позаботился и о спартанцах — почему же ты обошел исправлениями своими такое непотребство?» — «Я советовал им исправить все, что возможно исправить, а они усердно исправляли. Поистине, спартанцы вольнее и благороднее всех эллинов и поэтому согласны внимать лишь доброму советчику, а обряд бичевания совершается в угождение Артемиде Скифской и, как говорят, установлен вещими предначертаниями, ну, а перечить богам, по-моему, — сущее безрассудство». — «Не слишком мудрыми выходят по словам твоим, Аполлоний, эллинские боги, ежели велят они плеткой упражнять благородство!» — «Не плеткой, но людскою кровью, коей кропят алтарь: у скифов людей убивали, однако просвещенные лакедемоняне заменили столь жестокою жертву состязанием в стойкости — это не смертельно, а первины крови богине по-прежнему достаются». — «Тогда почему вы не приносите в жертву Артемиде чужеземцев? У скифов был и такой обычай!» — «Потому что никакой эллин не станет в точности подражать дикарским нравам». — «Твои лакедемоняне проявили бы больше человеколюбия, застав на алтаре двух-трех чужестранцев, но не изгоняя их поголовно». — «Давай не будем ругать Ликурга, Феспесион, — надобно и его понять! Он воспретил чужестранцам селиться в Спарте не потому, что был нелюдимым бирюком, но для сохранности спартанских правил и ограждения их от сторонней порчи». — «Ну, а я согласился бы, пожалуй, почитать спартанцев такими, какими хотят они казаться, когда бы они жили рядом с чужестранцами и все же не отступились бы от отеческого обычая — вот тут-то и стало бы очевидно, что остаются они тверды в добродетели даже и при гостях. Однако они, хоть и гонят чужестранцев, а правила свои нарушают и живут точь-в-точь как те самые эллины, от коих они всегда воротили нос! Взять к примеру их морские дела или закон о налогообложении, или повод для войны с афинянами — все по афинскому образцу, не сказать больше! Да и военная победа над афинянами досталась им не прежде, чем их самих победили афинские нравы. А почитать таврических и скифских богов — это разве не означает приятия чуждых обычаев? Хотя бы совершилось такое и по божьему слову, но плети-то тут зачем? Неужто для умножения рабской стойкости? По-моему, было бы куда согласнее с лаконскими заветами заклать на алтаре юного добровольца и так явить бесстрашие перед лицом смерти, — вот это лучше обнаружило бы спартанскую твердость и отвратило бы эллинов от соперничества со спартанцами. Ну, а ежели надобно им приберечь молодцов своих для войны, то и для такого случая имеется скифский закон об умерщвлении всех, кто старше шестидесяти лет, — этот закон подошел бы спартанцам даже лучше, чем скифам, когда бы искренне, а не ради пустого бахвальства славили они смерть. Не спартанцам перечу я, Аполлоний, по тебе: поистине, ежели станем мы язвить древние обычаи, по ветхости своей нам уже не понятные, да еще примемся позорить богов, коим в угождение обычаи сии установлены, то от подобных мудрствований произойдут в изобилии одни лишь нелепости! Тогда возьмемся кстати и за Елевсинские мистерии — почему они такие, а не сякие, давай придирайтесь к Самофракийским таинствам — почему свершаются они вот таким способом, а не вот таким, давай прицепимся к Дионисиям и к плодородному члену, и к Килленским истуканам — только бы успеть все охаять! Обратимся-ка лучше к любому другому предмету и будем уважать Пифагоров завет, согласный и с нашими правилами: обо всем промолчать не можем, так хоть об этом помолчим». — «Если бы ты, Феспесион, был прилежен и любознателен, — возразил Аполлоний, — то открылись бы тебе премногие доблести Лакедемона, а также истинные преимущества спартанских правил сравнительно с прочими эллинскими обычаями. Однако тебе подобные беседы противны до того, что находишь ты неприличным даже говорить о таких вещах! Ладно, потолкуем о другом предмете, в важности коего я убежден, ибо я намерен расспросить тебя о праведности».

21. «Отлично, — отвечал Феспесион, — ибо такая беседа уместна не только для наделенных мудростью, но и для обделенных. Но дабы не увязнуть нам в индийских мнениях и там окончательно не запутаться безо всякого толку для разговора, Расскажи-ка ты сначала, что думают индусы о праведности, — ты ведь, кажется, выпытал у них все доподлинно. Ежели мнение их верно, мы с ним согласимся, а ежели сумеем мы сказать что-нибудь поумнее, то соглашайся с нами ты, — это будет по справедливости». — «Превосходна и усладительна для меня, Феспесион, твоя речь! — сказал Аполлоний. — Итак, слушай, о чем беседовал я с индусами. Я поведал им о том, как был кормчим большого корабля — это в те времена, когда душу мою питало другое тело, — и как почитал я себя праведником из праведников, потому что разбойники деньгами прельщали меня предать им судно — пускай-де я поведу корабль напрямик к засаде, а они-де возьмут груз, — и вот я, во избежание погони, пообещал все исполнить, а сам обошел условное место и миновал засаду стороной». — «Ну и как, — спросил Феспесион, — согласились индусы, что ты поступил праведно?» — «Они только посмеялись надо мною, ибо не почитают праведностью воздержание от неправедности». — «Суждение индусов здраво: поистине, умному мало не измышлять глупостей, смелому мало не удирать из строя, скромному мало не предаваться разврату — ничего нет похвального в том, чтобы просто сторониться зла. Не может почитаться доблестью посредственность, равно далекая и от чести, и от нечестия». — «В этом случае, Феспесион, за какие же дела увенчаем мы праведника?»

Однако Феспесион переспросил: «Неужто не случилось у вас более подробного и более полезного разговора о праведности, когда государь столь обширной и счастливой державы беседовал с вами о праведно обретенном царстве?» — «Твой укор справедлив, — отвечал Аполлоний, — если ты имеешь в виду то, что я не поговорил о праведности с Фраотом, но ежели разумеешь ты царя, упомянутого во вчерашнем моем повествовании, то разве не ясно, что этот пьяница ненавидит всякое любомудрие? Ну, скажи, стоило ли из-за него суетиться? Невелика честь понравиться самовлюбленному хлыщу! Впрочем, мудрецам вроде нас праведность даже необходимее, чем царям и полководцам, а потому давай обсудим, каков бывает подлинный праведник, потому что ни я сам в происшествии с кораблем, ни кто-либо другой, воздержавшийся от преступления, не может, по вашим словам, почитаться праведным, и хвалить такого человека не за что!» — «Вот именно! — воскликнул Феспесион. — Это было бы похоже на иные афинские и спартанские постановления: «увенчать имярека, ибо он не повинен в блудодействе», или «удостоить имярека гражданства, ибо он не повинен в святотатстве». Кто же тогда праведник и каковы дела его? От роду я не слыхивал, чтобы кого-то увенчали за праведность и постановили бы о праведнике что-нибудь вроде «увенчать имярека, ибо явил он праведность свою в таких-то и таких-то делах». А ежели вспомнить, что случилось с Паламедом под Троей и с Сократом в Афинах, так и вовсе окажется, что праведность счастья не приносит, ибо чем праведнее человек, тем больше терпит он обид. Упомянутых Паламеда и Сократа по крайности казнили за нарушение закона, хотя бы и по облыжным изветам, а вот Аристида, сына Лисимахова, погубила некогда лишь праведность его — только великая доблесть увела в изгнание великого мужа! По-моему, праведность просто смешна, ибо поставили ее Зевс и Мойры для противления грехам человеческим, а она и себя-то защитить не умеет. Пожалуй, нам хватит Аристида, чтобы объяснить, какое различие между праведным и непроступным. Скажи, не тот ли это Аристид, о коем вы, эллинские гости, рассказываете, будто уплыл он взимать дань с островов и собрал все подати исправно, а воротился в прежних лохмотьях?» — «Тот самый, — отвечал Аполлоний, — ибо чрез него некогда процвела любовь к бедности». — «А ежели так, — продолжал Феспесион, — то положим, что двое афинских витий намерены произнести каждый по хвалебной речи по случаю возвращения Аристида от союзников: и вот один призывает увенчать его, ибо воротился он, отнюдь не разбогатеv и не составив себе никакого состояния, но остался беднейшим из афинян и даже обнищал против прежнего, а другой вития предлагает нижеследующее постановление: «Поелику Аристид обязал союзников даяниями не чрезмерными,

но с именем их сообразными, и поелику явил он попечение о верности их афинскому народу, дабы без обиды платили они уставные подати, да будет увенчан за праведность свою». Не кажется ли тебе, что сам Аристид воспротивился бы первому предложению, как позорящему все его житейские правила и унижающему его почестями за несодеянное преступление, и что со второю речью он вернее всего согласился бы, найдя в ней точное изъяснение замыслов своих? Поистине, радея об умеренности податей, Аристид позаботился не только о данниках, но в равной степени и об афинянах, что сделалось вполне очевидно после его смерти, когда афиняне отступились от Аристидовых правил и обложили острова слишком тяжкими податями, — тут-то и пришел конец морскому владычеству, в коем заключалось главное преимущество афинян, тут-то спартанцы и захватили море, и так от Афинской державы ничего не осталось, ибо все афинские данники восстали и отложились от Афин. Стало быть, Аполлоний, праведник — в прямом смысле этого слова — не тот, кто не преступен, но тот, кто и сам в делах праведен, и чужой неправедности противится, а уж от такой праведности происходят и прочие добродетели и более всего честность в суде и справедливость в законодательстве. Праведник и судить будет куда честнее, чем присяжные, хотя бы присягали они на алтаре, и законы установит не хуже, чем Солон и Ликург, чьи законы были начертаны тою же праведностью».

22. Вот такой разговор о праведности был у Аполлония с Феспесионом, и, по словам Дамида, Аполлоний согласился с египтянином, ибо нашел суждение его здравым. Еще они беседовали о бессмертии души и о природе — приблизительно в духе Платонова «Тимея», однако больше всего рассуждали об эллинских законах. Наконец Аполлоний сказал: «Свое путешествие я предпринял, во-первых, ради вас, а во-вторых, чтобы поглядеть на истоки Нила, о коих еще извинительно не полюбопытствовать, оказавшись в Египте, но я-то добрался до самой Эфиопии, так что было бы просто стыдно не побывать у нильских родников и не зачерпнуть из них речей». — «Счастливого пути, — отвечал Феспесион, — и молись истокам обо всем, что тебе мило, ибо они святы! Вожатым ты возьмешь, конечно, Тимасиона, в Навкратисе рожденного и в Мемфисе обитающего, — он в этих делах знает толк и в очищении не нуждается, потому что чист. Ну, а с тобою, Нил, нам желательно кой о чем переговорить без посторонних ушей!» Смысл последних слов был Аполлонию вполне понятен, ибо он уже догадался, как раздражает египтян любовь к нему Нила, так что он оставил их препираться, а сам приступил к сборам, чтобы на рассвете пуститься в путь; Нил пришел вскоре, однако ничего из услышанного не пересказал, но только потихоньку ухмылялся, а остальные из уважения к его скрытности не стали выспрашивать, над чем это он посмеивается.

23. Пообедав и поговорив обо всяких мелочах, путешественники улеглись спать, а с наступлением дня попрощались с Нагими и пошли в сторону гор, держа Нил по правую руку. Наконец они увидели кое-что достойное описания, а именно нильские пороги. Пороги эти суть земляные горы, весьма похожие на лидийский Тмол, а низвергающиеся с них потоки вместе со смытою почвою приемлет Нил и так творит землю египетскую. Шум горного водопада вместе с грохотом от низвержения его в Нил производят звук грозный и для слуха нестерпимый, так что многие, слишком близко подойдя к порогам, совершенно оглохли.

24. Отсюда Аполлоний и товарищи его продолжили свой путь, пока не явились перед ними округлые холмы, поросшие деревьями, от этих деревьев у эфиопов идут в дело и листья, и лыко, и смола. Путешественники чуть ли не натыкались по дороге на львов, барсов и прочих хищников, но никакого ущерба не понесли, ибо звери пускались наутек, словно пугались облика человеческого. Еще они видели несчетных оленей, серн, страусов и онагров, а также превеликое множество буйволов и козлотуров: сии последние суть помесь двух пород, по коими именуются. Путешественникам попадались на дороге не только кости, но и полубглоданные туши козлотуров, ибо львы пренебрегают объедками, до отвала насыщаясь свежатиной и навряд ли тревожась о легкой добыче.

25. В этих краях обитают кочевые эфиопы, живущие в кибитках, а рядом — слоноловы, торгующие битыми слонами и получившие имя по этому своему промыслу. Еще имеются в Эфиопии племена насамонов, людоедов, пигмеев и шалашеногов, населяющие пространства вплоть до Океана, однако же к Эфиопскому берегу никакой моряк по доброй воле пока не плывал.

26. Беседуя о встречаемых зверях и рассуждая о том, как природа различно питает различных тварей, путешественники услышали, наконец, раскаты грома — еще не разящего, но словно сокрытого в тучах, — и Тимасион объявил: «Государи мои, рядом с нами Порог — от устья он самый дальний, а к истокам ближайший». Пройдя стадиев десять, они увидели низвергающуюся с горы реку, ничуть не более полноводную, чем Марсий в первом своем слиянии с Меандром. Помолясь Нилу, они пошли вперед, и тут уж никаких зверей им не попадалось, ибо животные по природной своей робости боятся шума и предпочитают селиться близ тихих вод, подальше от грохочущих стремнин. Еще через пятнадцать стадиев до путешественников донесся звук следующего водопада, на сей раз ужасный и для слуха нестерпимый, ибо этот водопад был вдвое обильнее прежнего и низвергался с более высоких гор. Дамид рассказывает, что у него самого и у одного из спутников от грохота зазвенело в ушах, поэтому он повернул назад и попросил Аполлония не ходить далее, однако тот вместе с Тимасионом и Нилом упорствовал и пошел к третьему порогу, а воротясь, поведал нижеследующее. В этом месте над Нилом громоздятся горные отроги высотой до восьми стадиев; отроги эти совершенно отвесны, словно в некоей странной каменоломне, и к ним обращен высокий берег Нила. Питающие реку ключи струятся по кромке гор, а затем низвергаются оттуда на скалистый берег и пенистым полноводным потоком падают, наконец, в Нил. Этот двойной водопад во много раз оглушительнее прочих, и в горах от него такой гул, что любопытный наблюдатель может лишиться слуха. Добраться до первоистока реки нельзя: говорят, об этом нечего и мечтать из-за демонских полчищ, о коих гласят местные предания. Впрочем и Пиндар в премудрости своей также повествует о божестве, приставленном к нильским истокам для надзора за мерою речных вод.

27. Миновав пороги, путешественники сделали привал в эфиопской деревушке. Там они и ужинали, перемежая ученую беседу шутками, когда вдруг услышали, как по всей деревне женщины кричат друг другу: «Держи! Лови!» — и мужей своих зовут на помощь, а мужчины хватают, что подвернется — кто палку, кто камень — и вопят, будто гонятся за насильником. А причина была в том, что уже десять месяцев по деревне незримо гулял сатир, лютый до женщин: двух, внушивших ему особенную страсть, он якобы уже убил. Товарищи Аполлония были напуганы, однако он утешил их: «Не бойтесь, тут какой-то сатир балует». — «Вот именно, клянусь Зевсом! — воскликнул Нил. — Некоторое время назад он же озоровал в нашей обители, по мы утихомирить буяна не сумели». — «Есть средство даже на таких буянов, — возразил Аполлоний, — и средство это, говорят, некогда применил Мидас. Упомянутый Мидас был в некотором родстве с сатирами, о чем свидетельствовали его уши, и вот один сатир принялся шутить над родичем, распевая об его ушах охальные песенки, да еще и на свирели играл. Ну, а Мидас слышал — по-моему, от матери своей, — что ежели сатир упьется вином и уснет, то становится смирен и добронравен. Близ дворца был пруд; царь добавил в воду вина и пустил сатира напиться, а тот упился и так был побежден. Давайте докажем истинность предания — пойдем к деревенскому старосте и, ежели имеется у жителей вино, плеснем его сатиру, а он попадется, точно как Мидасов насмешник». На том и порешили: Аполлоний вылил в корыто, откуда пил деревенский скот, четыре кувшина египетского вина, и позвал сатира, произнеся некое тайное заклинание, — и вот, хотя сатир был невидим, вино стало убывать, словно кто-то его пил. Когда корыто опустело, Аполлоний сказал: «Сатир уснул, пора с ним мириться!» С этими словами он повел жителей к пещере Нимф, которая находилась шагах в тридцати от деревни, и

показал спавшего там сатира, однако велел не бить его и не ругать, ибо навсегда-де он покончил со своей дурью.

Описанный подвиг Аполлоний свершил не мимоходом, но походя, и ежели доведется кому-нибудь прочитать послание его к бесстыжему юнцу, то следует помнить, что имеется в виду именно это приключение. Нет повода сомневаться ни в действительном существовании сатириков, ни в их склонности к любострастию. Есть у меня на Лемносе один знакомец, одногодок мой, так вот, к его матери якобы похаживал сатир, и это правдоподобно, ибо к спине у приятеля моего словно бы приросла оленья шкура, концы которой были связаны на шее и спускались на грудь. Но довольно подробностей. Приключение Аполлониново — истинное, да и я не вру.

28. Когда Аполлоний воротился из Эфиопии в Александрию, то начался у него с Евфратом раздор хуже прежнего, так что дня не проходило без спора. Впрочем, словопрения Аполлоний доверял Мениппу и Нилу, а сам лишь изредка тратил время на Евфрата, ибо был слишком занят воспитанием юного эфиопа.

29. Когда Тит, загубив несчетное множество людей, взял наконец Иерусалим, то соседние с иудеями народы хотели было почтить его венком, но Тит от почестей отказался, объяснив, что не своим-де произволом свершил упомянутое деяние, но явился-де тут божий гнев, коим и была-де направлена его, Тита, десница. Аполлония такой ответ порадовал, ибо стало ясно, что Тит рассудителен, сведущ в делах божеских и человеческих, да притом скромнен и благоразумен, ежели не хочет венка за пролитие крови. И вот Аполлоний отрядил Дамида передать Титу послание, в коем написано было нижеследующее: «Аполлоний Титу, полководцу римскому — радуйся! Не взыскуешь ты честей ни от брани, ни от кровопролития, а я венчаю тебя венцом смиренномудрия, ибо знаешь ты, какие венцы тебе надобны. Будь здоров!» Тит весьма порадовался посланию и отвечал так: «Я знаю и запомню милость твою к родителю моему и ко мне. Я полонил Иерусалим, а ты меня!».

30. В Риме Тит удостоился почестей, подобающих содеянным подвигам и был провозглашен самодержцем сделавшись соправителем отца своего, — итак, он пустился обратно в Рим, однако же и в этих обстоятельствах не забывал Аполлония, полагая желанной даже краткую встречу с ним, а потому пригласил его в Таре. Аполлоний пришел. Обняв гостя, Тит промолвил: «Батюшка в подробностях описал мне, как советовался с тобой, — гляди, вот письмо его! Он пишет, что ты — наш благодетель и что мы всем тебе обязаны. Мне тридцать лет, отцу шестьдесят, а я званием ему равен и призван править, хотя еще и подчиняться-то толком не научен, — вот я и боюсь, не досталось ли мне больше, чем положено». Тогда Аполлоний потрепал Тита по затылку — а шея у того была крепкая, точно как у настоящего силача, — и возразил: «Да кто же сумеет вздеть ярмо на такого здоровенного быка?» — «Тот, кто заботился обо мне, когда был я теленком!» — отвечал Тит, разумея, что подначален только родителю своему, коего привык слушаться с малолетства. «Мне особенно приятно видеть, — сказал Аполлоний, — что ты готов повиноваться отцу, коему рады повиноваться даже и неродные дети, и что считаешь ты престол того, с кем делишь почет. Совместная власть юности и старости слаще самых согласных созвучий хоть лиры, хоть флейты, ибо от согласия старшего с младшим старость наберет силы, а молодость убавит дерзости!»

31. «Ну, а меня, о тианский гость, неужто не научишь ты править и государить?» — спросил Тит. «Ты уже сам всему научился, — отвечал Аполлоний, — ибо из сыновнего твоего послушания ясно, что будешь ты похож на отца. Расскажу-ка я тебе лучше нечто полезное и достославное об Архите. Упомянутый Архит жил в Таренте, был искушен в премудрости Пифагоровой и написал книгу о воспитании детей. Так вот, в этой книге сказано: «Да будет отец для детей примером в добродетели, ибо и отцы вернее пойдут благим путем, ежели сыновья послушно за ними последуют». Впрочем, я могу познакомить тебя с моим товарищем Деметрием, который

останется при тебе, сколько ты того пожелаешь, и преподаст тебе правила, потребные доброму государю». — «А скажи, Аполлоний, какого рода мудрость у этого Деметрия?» — «Такого, чтобы рубить напрямик и говорить правду безо всякого страха — в этом и состоит киническая сила», — отвечал Аполлоний и, заметив, что Тит недоволен песьим именем, добавил: «О молодом Телемахе сказано, что были при нем два пса, и Гомер даже посылает их вместе с юношей на итакийское вече, хотя тут речь идет о неразумных тварях, а с тобою будет пес, который и других, и тебя самого облает, ежели ты в чем ошибешься, да облает мудро, не станет брехать попусту». — «Ладно, давай мне в спутники пса, — согласился Тит, — а я позволю ему даже кусаться, ежели учует он какой-нибудь мой грех». — «Я напишу ему в Рим, где он сейчас любомудрствует». — «Напиши! Хоть бы и за меня кто-нибудь похлопотал и написал тебе, чтобы отправился ты со мною в Рим». — «Я навещу тебя, когда нам обоим это будет поудобнее», — отвечал Аполлоний.

32. Затем Тит удалил присутствующих и сказал Аполлонию: «Теперь мы одни, тианиец, а потому ответь, можно ли задать тебе наиважнейший для меня вопрос». — «Спрашивай — и чем важнее дело, тем смелее спрашивай». — «Я хочу спросить, как уберечь мне свою жизнь и кого больше всех опасаться. Не кажусь ли я трусом, перепуганным прежде времени?» — «Совсем напротив: ты стоек и предусмотрителен, ибо о таких вещах воистину надо думать заранее», — с этими словами Аполлоний, оборотясь к Солнцу, поклялся, что и сам безо всяких вопросов собирался побеседовать об упомянутом предмете, ибо получил от богов наказ остеречь Тита, дабы боялся он при живом отце отцовских врагов, а после смерти отца — родичей. «А мне какая смерть назначена?» — спросил Тит. — «Та же, что и Одиссею, ибо сказано, что вышла его гибель от моря». Дамид толкует это пророчество в том смысле, что Титу следовало остерегаться смерти от рыбы тригоны, каковая рыба якобы погубила Одиссея. И правда, унаследовав отцовскую власть, Тит два года спустя умер, отравившись морским зайцем — названная рыба содержит в себе некий неведомый яд, из всех ядов земных и морских самый убийственный. Нерон травил этим кушаньем своих врагов, а Домициан отравил брата, но не потому, что не желал по-братски делить власть, а потому, что не желал делить ее с кротким и милосердным правителем.

Итак, побеседовав с глазу на глаз, Аполлоний и Тит принародно обнялись и Аполлоний сказал на прощанье: «Победы тебе, государь! Одолевай врагов оружием, отца — добродетелью!»

33. Вот послание Аполлония к Деметрию: «Аполлоний-философ Деметрию-псу — радуйся! Я вручаю тебя государю нашему Титу, дабы наставил ты его в подобающих самодержцу правилах, так что ты меня не подведи и предайся ему всецело, — да не кусайся! Будь здоров».

34. В былую пору жители Тарса не терпели Аполлония за его язвительные попреки, коим по беспечной своей изнеженности и возразить-то толком не умели, однако после описываемых ниже происшествий они прониклись к нему столь великой приязнью, что почитали его градодержцем и домоустроителем. Было это так. Когда император принародно совершил жертвоприношение, горожане обратились к нему с ходатайством о весьма важном деле, а он отвечал, что передаст-де их просьбу отцу и сам-де тоже за них похлопочет. Тут выступил вперед Аполлоний и спросил: «Ну, а если бы я уличил кого-либо из присутствующих в сговоре против тебя и отца твоего и в связях с Иерусалимскими мятежниками, то есть в тайной помощи явным твоим недругам, скажи, что бы им от тебя досталось?» — «Что же, как не смерть!» — воскликнул Тит. — «Неужто не стыдно, — возразил Аполлоний, — карая без промедлений, откладывать благоденствие? Неужто прилично казнить в одиночку, а миловать вместе?» Обрадованный такими словами Тит отвечал: «Я согласен даровать искомое, ибо отец мой не прогневается, что покорен я истине и тебе».

35. По рассказам, Аполлоний обошел множество племен, обо всем любопытствуя и всем внушая любопытство. Однако последующие его странствия — а странствовал он много — не идут в сравнение с прежними, ибо в новых местах он уже не бывал, но посещал знакомые. Воротясь из

Эфиопии, он долго жил в приморском Египте, а затем вновь отправился в путешествие по Финикии, Киликии, Ионии, Италии и Ахайе, нигде не упуская возможности показать, что отнюдь не изменился.

Поистине, трудно познать самого себя, и потому, как я полагаю, мудрецу особенно трудно остаться самим собой, ибо не сумеет он заменить дурные свои наклонности добрыми, не научившись прежде не изменять самому себе. Впрочем, обо всем этом я довольно сказал в других моих сочинениях, из коих усердный учебник может понять, что настоящего человека ни переделать, ни поработить нельзя. Нет нужды растягивать наше повествование излишними подробностями о том, как рассуждал Аполлоний и кого наставлял, и все же постараемся не упустить ни единого рассказа о его приключениях — многим они неизвестны, а собрать все эти сведения нелегко и, по-моему, они куда важнее и достопамятнее всего прочего, ибо нельзя нам не согласиться, что странствия Аполлония весьма похожи на скитания Асклепиадов.

36. Некий юноша, сам безо всякого образования, воспитывал птиц, обучая их у себя дома разным разностям, так что птицы его умели говорить человеческими голосами и свистеть наподобие флейты. Повстречавшись с ним, Аполлоний спросил: «Каким делом ты занят?» — и юноша тут же принялся рассказывать о своих соловьях и дроздах, и как витийствуют у него щеглы, однако самый говор его выдавал совершенное невежество. «По-моему, ты только портишь птиц! — сказал Аполлоний. — Во-первых, ты не даешь им щебетать по-своему, хотя птичий щебет столь сладостен, что никакие свирели и флейты не способны вполне подражать его звуку, а во-вторых, сам ты говоришь по-гречески хуже некуда и от того питомцы твои косноязычны. Право, молодец, ты себе же пакостишь! Вот поглядел я на твой наряд и на челядь твою и решил было, что ты — юноша благовоспитанный и из семьи порядочной, но тут же сразу объявились доносчики и уличили тебя, ибо язык у них ядовитее змеиного жала. Что тебе толку от этих птичек? Никакими на свете соловьиными песнями не отпугнешь ты назойливых приживальщиков, которые выкачают из тебя все твое добро, и будешь ты им швырять деньги, словно подачки псам, — давать и давать, покуда сам с голоду не пойдешь побираться! Надобно тебе поворотить на пристойный путь и переменить привычки, а иначе сам не заметишь, как слиняет твое богатство, и будет птичкам твоим уместнее не петь, но причитать. А средство для потребной тебе перемены простое: во всех городах обитает племя, с коим ты пока не знаком, и зовется это племя — учителя; давши им малую часть имения своего, получишь ты верную прибыль, потому что научишься держать речь принародно или в суде — дело-то это нехитрое. Повстречай я тебя раньше, когда был ты помоложе, я бы посоветовал тебе отправиться на выучку к философам и софистам, дабы огородил ты свой дом всяческой премудростью, однако возраст твой для этого уже непригоден, а потому научись хотя бы простому разговору. Знай, что завершено образование уподобило бы тебя грозному и щитоносному латнику, но и с образованием начальным добудешь ты легкий доспех и станешь пращником, разгоняющим доносчиков, словно собак». Эта речь оказала на юношу желаемое действие: он бросил забавляться с птицами, отправился к учителям, и разум его укрепился, а речь исправилась.

37. Рассказывают в Сардах два предания: одно — будто воды Пактола несли некогда Крезу золотые зерна, другое — будто деревья старше земли. Касательно первого Аполлоний сказал, что око кажется достоверным, ибо в древности на Тмоле действительно водился золотой песок, дождями увлекаемый в Пактол, однако же со временем — как и всегда в подобных случаях — он был вымыт без остатка. Второму рассказу он только посмеялся, промолвив: «По-вашему, деревья сотворены раньше земли, а мне вот не довелось узнать, что звезды сотворены прежде неба, хотя и посвятил я наукам многие годы». Этими словами дал он понять, что невозможно возрасти, ежели возрасти не на чем.

38. Правитель Сирии ссорил антиохийцев, внушая им взаимные подозрения, так что на городской сходке начался раздор, но тут случилось сильное землетрясение, и обыватели,

устрашенные знаменем, принялись, как велит обычай, просить друг у друга прощения. Аполлоний, выступив вперед, возгласил: «Явным примирителем вашим сделался бог, а потому не ссорьтесь более! Неужто не осталось у вас страха божьего?» Такими словами побудил он горожан прийти к согласию, ибо враждующие стороны были одинаково напуганы.

39. Расскажу еще об одном достопамятном происшествии. Некий обыватель свершал жертвоприношения Земле, желая отыскать клад. С такою же просьбой обратился он безо всякого стеснения к Аполлонию, а тот, распознав его склонности, сказал: «Ты, я вижу, опытный делец». — «Это так, да только нет мне удачи — на мой скудный доход и семьи-то не прокормить». — «Похоже, что домочадцев у тебя множество и все лентяи, ибо сам ты вроде бы вовсе не дурак». Обыватель со слезами отвечал: «У меня четыре дочери, каждой подавай приданое, а у меня сейчас всего-то денег — двадцать тысяч драхм. Выдели я дочерям приданое, так и того не останется! Девицы думают, что я мало даю, а мне придется околевать с голоду». Тут Аполлоний, проникшись состраданием, пообещал: «Мы с Землей — ты, говорят, приносил ей жертвы — о тебе позаботимся!» С этими словами он повел обывателя в предместье, точно как если бы собрались они за товаром к огороднику. Там Аполлоний увидел участок, густо посаженный оливами, и порадовался, ибо деревья были рослые и хорошо ухоженные, а еще он заметил цветник и пасеку — итак, он зашел в сад словно бы по важному делу, а затем, помолвившись Пандоре, воротился в город. В городе он отправился к владельцу имения — а тот разбогател наиподлейшим способом, ибо получил свою долю за доносы на финикиян — и спросил: «Во сколько обошлась тебе покупка такого-то участка и сколько ты вложил в него сам?» Тот отвечал, что купил землю в прошлом году за пятнадцать тысяч, а вложить пока ничего не успел — и Аполлоний уговорил его продать имение за двадцать тысяч, получив таким образом пять тысяч чистой прибыли. Между тем кладоискатель все еще не понимал, какая ему привалила удача, полагая сделку невыгодной и даже убыточной: двадцать-то тысяч были у него в руках, и деньги эти были верные, а урожай новоприобретенного имения мог погибнуть от мороза, града и прочих бедствий. Однако же, едва вступив во владение землей, он нашел на пасеке горшок с тремя тысячами золотых, а затем собрал отличный урожай маслин, хотя повсюду в тот год земля родила плохо, а к дочерям его стало свататься несметное множество женихов — вот тут-то и принялся он славословить Аполлония.

40. Отыскал я рассказ и о другом достославном приключении. Некий человек решил, будто влюблен в изваяние нагой Афродиты, — такой кумир воздвигнут в Книде. Итак, этот влюбленный подносил истукану дары, твердя, что подарит еще больше, ибо намерен жениться. В иных обстоятельствах Аполлоний счел бы все это просто нелепостью, однако обитатели Книды не разделяли такого мнения, но, напротив, утверждали, что богиня воссияет ярче прежнего, ежели заведет себе любовника. Тогда Аполлоний решил изгнать из святилища подобные глупости и на вопрос горожан, намерен ли он исправить что-нибудь в порядке жертвоприношений и обетов, отвечал: «Я намерен вправить вам глаза, а что до храмовых обрядов, то пусть будут, как были!» Затем, призвав к себе развратного мечтателя, он спросил: «Почитаешь ли ты богов сущими?» Тот отвечал, что почитает-де их сущими и даже влюблен в богиню, супружества коей домогается, надеясь вскоре сыграть свадьбу. «Это стихотворцы заморочили тебе голову, — возразил Аполлоний, — сказками о всяких Пелеях и Анхизах, женившихся на богинях! А вот я касательно всех этих любовных дел знаю одно: боги любятя с богами, люди с людьми, звери — со зверями, и так повсюду подобное влечется к подобному ради сходного с родителями и здорового потомства. У созданий несходных и разнопородных никакого супружества и никакой любви получиться не может — вспомни об Иксионе и перестань мечтать о чуждой возлюбленной! Иксион на картинках катится по небу на пыточном колесе, а тебе, ежели не уйдешь ты из храма, по всей земле будет погибель — и тогда уж не жалуйся, что боги осудили тебя несправедливо». Этой речью Аполлоний утихомирил безумие

так называемого влюбленного, и тот покинул святилище, прежде принеся жертву, дабы простила его богиня.

41. Был год, когда весь левый берег Геллеспонта дрожал от землетрясений, а египтяне и халдеи бродили по тамошним городам, вымогая деньги, — надобно-де пожертвовать десять талантов Посейдону и Гее. Жители, одолеваемые страхом, собирали требуемую мзду частью из городской казны, частью из собственных средств, однако вымогатели отказывались свершить умиловительную жертву, ежели деньги не будут отданы их доверенным менялам. Тут Аполлоний решил помочь горожанам: пришел и выгнал всех, кто наживался на чужой беде, а затем доискался до причин божьего гнева, принес подобающие случаю жертвы и малою ценою отвел напасть — земля успокоилась.

42. В ту же пору император Домициан издал законы против оскпления и против насаждения новых виноградников, а имеющиеся виноградники велел вырубать. Явившись к ионянам, Аполлоний сказал: «Все эти запреты не для меня, ибо мне — наверное, единственному из людей! — вино и эта штука безо всякой надобности. А вот придурку нашему и невдомек, что у людей-то мужество он бережет, но землю холостит!» После этих слов ионяне отважились отрядить к императору посольство в защиту виноградников, дабы отменил он закон, повелевавший земле пребывать в бесплодии и запустении.

43. А в Тарсе об Аполлонии рассказывают вот что. Некого юношу покусала бешеная собака, и от того сделался он сам вроде пса: лаял, скулил и бегал на четвереньках, так что и руки шли у него в ход, — и когда Аполлоний, придя в Таре, встретил больного, тот маялся уже тридцатый день. Аполлоний велел отыскать собаку, сотворившую такое зло, но жители отвечали, что собаку найти не было возможности, ибо накинута-де она на юношу за городской стеной, когда он упражнялся с копьем, и что узнать у больного, как собака выглядит, тоже не было возможности, ибо он теперь и себя-то не узнает. На миг призадумавшись, Аполлоний сказал Дамиду: «Собака белая, лохматая, породы пастушеской, похожа на амфилохийских псов, а сидит она сейчас около такого-то ручья, — сидит и дрожит, потому что пить хочет, а воды боится. Приведи мне ее на берег реки — туда, где ристалище, но только скажи ей, что это я зову». Дамид приволок собаку, и она припала к стопам Аполлония, завывая, словно проситель у алтаря. Аполлоний ее погладил и так окончательно усмирил, а рядом с нею, придерживая за руку, поставил юношу и затем возгласил, не тая от народа сокровенного знания: «Душа Телефа Мисийского воплотилась в этом отроке, и такую же участь судила ему Судьба!». Сказавши так, он велел собаке вылизывать укушенное место, дабы вновь уязвитель обернулся целителем, — и сразу юноша признал отца, вспомнил мать, заговорил со сверстниками и, наконец, испил воды из Кидна. Не позабыл Аполлоний и о собаке: помолился Кидну и погнал ее в плывь. Переплыв реку, собака стала на берегу и залаяла — такое с бешеными собаками случается весьма редко, — а потом зашевелила ушами и завиляла хвостом, поняв, что выздоровела, ибо бешенство можно вылечить водою, если только хватит у больного храбрости глотнуть лекарства.

Вот таков был Аполлоний — таков он бил в городах и храмах, таков был с чернью и со знатью, таков был с мертвыми и недужными, таков был с мудрецами и невеждами, таков был и с самодержцами, соделавшими его наставником своим в добродетели.

КНИГА СЕДЬМАЯ

1. Я знаю, что тирания — наиглавнейшее испытание для философа, и поэтому решил рассмотреть, кто проявил в таких обстоятельствах больше отваги и кто меньше, а говорю я об этом вот зачем. Во время Домицианова тиранства Аполлония донимали извещениями и доносами — кто, почему и для чего доносил, я подробно объясню ниже и расскажу, что отвечал Аполлоний, когда надобно было ответить, и с какою честью покинул он судилище, оказавшись пред тираном не столько ответчиком, сколько обвинителем. Однако прежде я желал бы кратко перечислить все, что отыскал я касательно стойкости мудрецов пред тиранами, и сравнить эти сведения с подвигами Аполлония, ибо именно таким способом надлежит постигать истину.

2. Зенон Элейский, коего почитают основателем диалектики, был схвачен по обвинению в заговоре против мисийского тирана Непарха. Вздернутый па дыбу, утаил он имена сообщников своих, зато оговорил тех, кто был тирану верен, так что по облыжному обвинению были они казнены, будто и вправду изменили, а Зенон лишил тиранию опоры и освободил мисиян.

Платон утверждает, что боролся за свободу сицилийцев, соучаствуя в замыслах Диона.

Фитон Регийский, изгнанный из отечества, бежал к Дионисию, тирану сицилийскому, у коего стяжал почести, несообразные с положением изгнанника, и отсюда понял, что тиран зарится на Регий, о чем и намеревался уже оповестить сограждан, но был схвачен вместе с письмом. Дионисий привязал его живьем к тарану и двинул этот таран на регийскую стену в уверенности, что регияне поберегут Фитона и машину не разобьют, однако Фитон крикнул: «Пристреливайтесь по мне, как по цели свободы вашей».

Гераклид и Пифон, убившие Котиса Фракийского, были совсем молоды и оба через приверженность свою к беседам в Академовых садах обрели мудрость и свободу.

Кто не знает о Каллисфене Олинфийском? За один лишь день он успел и похвалить и охаять македонян, кои были в ту пору на вершине могущества своего, — и так за бранчливые свои речи принял смерть.

А Диоген Синопский и Кратет Фиванский? Диоген, явившись прямиком в Херонею, изругал Филиппа за афинян, ибо тот-де, хотя и признает афинян Геракловым потомством, однако же истребил на бранном поле тех, кто шел в бой за Гераклов дом. А когда Александр обещал Кратету ради него одного отстроить Фивы, тот отвечал, что не надобно-де ему отечества, которое возможно разорить оружною силою.

Нетрудно перечислить еще множество подобных примеров, но повесть моя не бесконечна, а потому пора оспорить хотя бы вышеприведенные случаи — не для того, чтобы умалить их красоту и славу, но для того, чтобы даже наилучшие деяния померкли в сравнении с подвигами Аполлония.

3. Итак, ни в деле элеата, ни в убийстве Котиса ничего достославного нет, ибо поработить фракийцев и гетов так легко, что освобождать их, по-моему, просто глупо, — кому свобода не в радость, тому и рабство не в тягость.

Можно было бы сказать, что Платону отчасти изменила мудрость его, когда принялся он вместо афинских обычаев исправлять сицилийские, или когда, обманутый и обманувший, был он в согласии с Законом продан, — но обо всем этом я говорить не стану, дабы не раздражать слушателей.

Что же до Фитона, то подвиг его отнюдь не прекратил злого тиранства па Сицилии, да притом Дионисий все равно казнил бы региянина, хоть и не побитого согражданами, — итак, Фитон, по моему, не свершил ничего примечательного, ежели предпочел умереть ради свободы других, а не собственного ради рабства.

Ну, а Каллисфен и ныне не избегнул бы дурной славы за свою хвалу и хулу, ибо выходит, что то ли он обругал тех, кого сам же почитал достойными похвал, то ли расхвалил тех, кого следовало проклинать, — так и сяк тот, кто набрасывается с бранью на добрых людей, непременно покажется завистником, а тот, кто льстит негодьям, делается соучастником их преступлений, ибо от похвал злодеи еще пуще злеют.

Диогену следовало говорить с Филиппом до Херонейской битвы — вот тогда он мог бы его предостеречь от нечестивой брани с афинянами, — однако же он дождался, пока дело было сделано, и тут уж исправлять было нечего, но оставалось только упрекать.

Кратет был бы осужден всяким благонамеренным гражданином, ибо не поддержал Александра в его решении отстроить Фивы.

Не то Аполлоний! Не боялся он опасности для отечества, не тревожился о жизни своей, не предавался праздному витийству, не усердствовал ради каких-то мисиян или гетов, а тиран, коему он противился, владел не островом или округой, но начальствовал надо всей вселенной на суше и на море — и все же ради народного блага восстал Аполлоний против жестокого тиранства с такою же отвагою, с какою восстал против Нерона.

4. Кое-кто может возразить, что с Нероном-де Аполлоний лицом к лицу не сходил, но целил в него издали: бодрил Виндекса, пугал Тигеллина и так колебал тиранство Нероново. А еще можно порою услышать празднословные рассуждения, будто невелика-де честь уязвить Нерона при его-то бабьем нраве, да при его-то бряцании и дудении, — но что скажут эти пустомели о Домициане? Уж он-то телом был могуч, уж он-то воротил нос от усладительных игр и напевов — оттого, что отвагу-де они умаляют, и главное его удовольствие было в чужих бедах и слезах; а еще он говорил, что недоверие хранит народ от тиранов и тира нов от всего света и что по ночам самодержцу надобно ото всех дел отдыхать, но для убийства это время очень даже годится. Вот почему знатнейшие сенаторы были обезглавлены, а философы до того перетрусили, что, позабыв о чести своей, разбежались кто куда: одни на Запад к кельтам, другие в ливийские и скифские пустыни, меж тем как оставшиеся принялись сочинять оправдания тиранским злодеяниям. Один Аполлоний оказался схож с Тиресием, который в Софокловой трагедии говорит Эдипу:

Я не тебе служу, но Аполлону!

Так и Аполлоний, сделав госпожою свою мудрость, остался свободен от гнета Домицианова, так что вышеприведенные слова Тиресия оказались для него вещими, ибо, отнюдь не боясь за себя самого, сострадал он гибнущим. Итак, он привлек к себе всех, сколько их было, молодых сенаторов, этим способом собравши воедино здравый смысл, коим некоторые из них, по его мнению, обладали; а еще посещал он провинции и объяснял наместникам, что тиранская сила не бессмертна и что самая подозрительность тиранов есть наилучшее свидетельство их обреченности. Он рассказывал магистратам об аттических- Панафинях, на коих возглашаются славословия Гармодию и Аристокитону, и о том, как вышел Фрасибул из Филы и разом низверг всех Тридцатерых, а еще рассказывал он о старопрежних деяниях римлян, кои некогда с оружием в руках изгнали тиранов и учредили народоправство.

5. Как-то раз в Ефесе заезжий лицедей разыгрывал трагедию под названием «Ино». Между слушавших был проконсул Азии — человек еще молодой и среди вельмож заметный, однако проявивший чрезмерную робость в беседе о вышеназванных делах. И вот, когда лицедей

закончил пение ямбов, в коих Еврипид говорит, что тираны возвеличиваются долго, а низвергаются мигом, Аполлоний вскочил с места и крикнул наместнику: «Да ты, трус, ни Еврипида, ни меня не разумеешь!»

6. Пришло известие о том, сколь блистательное очищение устроил Домициан римской Гестии и как казнил он трех весталок, преступивших обет и осквернивших свое целомудрие, хотя надлежало им блюсти непорочность ради служения Афине Илийской и очагу её. Услышав новости, Аполлоний воскликнул: «О Солнце! Да очистишься и ты от скверны нечестивых убийств, коими полнится ныне вселенная!» И сказал он это не в сторонке, как свойственно трусам, но возглашал и воссылал молитву в окружении целой толпы народа.

7. Убивши родича своего Сабина, Домициан вознамерился жениться на вдове его Юлии, которая к тому же была одной из дочерей Тита и соответственно доводилась Домициану родною племянницею. По случаю этой свадьбы в Ефесе свершилось жертвоприношение, однако Аполлоний остановил священный обряд, промолвив: «Ночь древних Данаид — о! ты была лишь однажды!»

8. А вот каковы были подвиги Аполлония в Риме. Он полагал, что державу подобает вручить Нерве, который и вправду после смерти Домициана здравомысленно ею овладел. Орфит и Руф соучаствовали в этом замысле, и потому Домициан обвинил их обоих в заговоре и сослал на острова, а Нерву поселил в Таренте. С ними со всеми Аполлоний был в дружбе еще в ту пору, когда Тит правил сначала совместно с отцом и затем без отца; итак, он постоянно писал им о здравомыслии, дабы держали они сторону достойных самодержцев, и он же отвращал их от жестокого Домициана, ободряя для борьбы за общую свободу. Однако тут он решил, что письменные его наставления для ссыльных небезопасны, ибо многие вельможи оказались тогда преданы собственными рабами, друзьями и женами, так что ни единому домочадцу ничего доверить было нельзя. Поначалу Аполлоний, отведя в сторону то одного, то другого из товарищей своих, говорил: «Я вручаю тебе превеликую тайну: надобно пойти в Рим к имяреку, побеседовать с ним и вполне убедить, как убедил бы я сам». Но когда услышал он, что друзья его выказали тирану неблагонамеренность и за то изгнаны, а с исполнением замыслов своих медлят, то стал он поучать о Судьбе и Доле и беседы свои вел в роще близ Смирны на берегу Мелёта.

9. Зная наверное, что Нерва вскорости получит державу, Аполлоний рассказывал о том, как ни один тиран не волен одолеть Судьбу. Затем, обратив взоры слушателей к медному изваянию Домициана, воздвигнутому рядом с кумиром Мелета, он сказал истукану: «А ты, дурак, сколько глупостей натворил с Судьбою и Долею! Ежели кому назначено после тебя править, так он и убитый воскреснет». Об этих словах по Евфратовым извещениям донесли Домициану, однако никто не понимал, к которому из изгнанников относилось вышеприведенное пророчество, так что тиран ради успокоения страха своего вознамерился убить всех, а чтобы убийство не показалось беспричинным, призвал Аполлония ответчиком по обвинению в тайных сношениях со ссыльными. Он рассуждал так: ежели Аполлоний явится, то будет осужден, и тогда изгнанников убьют вроде бы вместе с Аполлонием. Ну, а ежели философ исхитрится избежать открытого дознания, то изгнанникам тем более не миновать гибели, ибо будут они осуждены заодно со своим сообщником.

10. С таким вот умыслом Домициан и отписал проконсулу Азии, веля схватить тианийца и доставить его в Рим. Однако же Аполлоний с прищущей ему божественной прозорливостью все узнал наперед и сказал товарищам, что пора-де ему отправляться в некое сокровенное странствие.

Тем слова его напомнили древнюю славу Абариса, и решили они, что и у Аполлония сходные намерения, хотя он не объяснил решения своего даже Дамиду, с коим и уплыл в Ахайю. Сойдя

на берег в Коринфе и почтив полуденное Солнце обычными обрядами, он в тот же вечер отбыл в страну италов и сиколов и так при попутном ветре и доброй волне на пятый день плавания достиг Дикеархии. Там он повстречал Деметрия, почитавшегося храбрейшим из философов, ибо жил он неподалеку от Рима. Зная, что Деметрий трусит перед тираном, Аполлоний все же шутливо промолвил: «Вот я и поймал тебя! Роскошествуешь в счастливой Италии, если только Италия счастлива, и проводишь дни свои в блаженствах — так и Одиссей, говорят, позабыл в объятиях Каллисто родимый дом и отчий дым!» Деметрий обнял друга и после приветственных слов воскликнул: «Боги, что же станется с философией, ежели подвергает она опасности столь великого мужа?» — «А какая опасность?» — спросил Аполлоний. «Та самая, которую провидя, ты и явился сюда, — отвечал Деметрий, — ибо ежели не разгадал я твоего замысла, то, стало быть, и самого себя не знаю. Давай-ка обсудим все эти дела, только пойдем в такое место, где можно нам побыть наедине, а Дамид пусть останется с нами, — клянусь Гераклом, я так понимаю, что он состоит Иолаем при твоих подвигах».

11. С такими, словами Деметрий повел их туда, где прежде была усадьба Цицерона, а место это неподалеку от городской черты. Все уселись под платаном. Цикады звенели среди усладительных благоуханий, и Деметрий, глянув на певцов, воскликнул: «О блаженные и невинномудрые твари! Научили вас музы песням, за которые никто не оговорит вас и никто не осудит, и возвысили вас музы над утробного похотью, да еще и уберегли вас в древесном вашем жилище от зависти человеческой — вот и поете вы тут, счастливые, о совместном с музами благоденствии вашем». Поняв, к чему он клонит, Аполлоний возразил, укоряя товарища за малодушие: «Стало быть, желая похвалить цикад; ты даже и об этом-то открыто не сказал, но в страхе забился сюда, словно издан общеобязательный указ, в коем цикад хвалить воспрещается?» — «Да не хвалил я их, — отвечал Деметрий, — но изъяснял, что они распевают себе тут спокойно, а нам уже и пискнуть не позволено, ибо мудрость теперь под судом! В извете Анита и Мелета было сказано, что Сократ-де преступен, ибо растлевает юношество и внедряет новых богов, а нас винят за то, что имярек-де учен, праведен, постигнул божеское и человеческое и в законах сведущ весьма. А что до тебя, так насколько ты всех нас мудрее, настолько же и оговорен ты хитрее, ибо Домициан хочет приобщить тебя к тому самому делу, по коему был сослан Нерва и товарищи его». — «За что же их сослали?» — «За величайшее из возможных ныне преступлений — во всяком случае, так полагает тот, кто их сослал! Он утверждает, будто они уличены в посягательствах на власть его, а ты-де их к тому подстрекал и для того-де резал мальчишку». — «Как это резал? Неужто власть может сокрушиться скопцом?» — «Нет, не в этом винят нас доносчики, а будто ты волхвования ради заклял отрока, дабы прозреть грядущее по внутренностям его. И за одежду твою тебя винят, и за пищу, и за поклонение, какое тебе оказывают, — все перечислено в доносе! Так я слыхал от Телесина, нашего с тобою знакомца». — «Вот была бы удача свидеться с Телесином, ежели говоришь ты о том любомудре, который был консулом при Нероне!» — «Я говорю именно о нем, да только как сумеешь ты с ним встретиться? Вельможа для тирана всегда подозрителен, а уж тем более подозрителен вельможа, когда он ведет знакомство с людьми вроде тебя — ты только вспомни, в чем тебя винят! Притом Телесин подчинился указу, воспрещающему ныне всякую философию, а потому, чем оставаться с консулярами, он предпочел уйти в изгнание с философами». — «Тогда не стану подвергать его опасности — довольно с него бед от философии».

12. Но скажи мне, Деметрий, как, по-твоему, следует мне говорить и действовать, чтобы поменьше бояться?» — «Брось свои шутки и не ври, будто боишься того, о чем знал заранее, — когда бы ты и вправду боялся, ты бы уже удрал подальше от всех доносов». — «А ты бы удрал, когда бы тебе вот так угрожали?» — «Клянусь Афиной, я не удрал бы ни от какого суда, но тут-то никакого суда и нет — хоть защищайся, хоть не защищайся, никто и слушать не станет, а ежели и выслушают, так все равно убьют, даже и безо всякого приговора. Неужто ты согласен, чтобы я

хладнокровно избрал столь рабскую и философу непристойную смерть? По-моему, философу прилично умереть ради свободы отечества или ради спасения родителей, детей, братьев и прочих сородичей, или ради друзей, кои мудрецам дороже собственного семейства, ибо обретены по любви. Но умирать ради пустого краснословия, тем помогая тирану казаться поумнее, — это куда несноснее, чем подобно Иксиону терзаться на небесном колесе! Я так понимаю, что ежели ты здесь, то прения сторон уже начались, хотя ты, конечно, объяснишь свое появление чистой совестью — дескать будь ты виновен, ты бы ни за что не отважился на такое путешествие, — да только Домициан этому не поверит и решит, что великая твоя отвага проистекает от некоей сокровенной силы. Скажут, что и десяти дней не прошло с тех пор, как призвали тебя к ответу, а ты уже явился в суд, хотя и о суде-то не слыхал, — вот так являя свою прозорливость, ты только поддерживаешь обвинение, ибо подтверждаешь донос о заклании отрока. Берегись, как бы все то, что ты наговорил в Ионии о Судьбе и Доле, не обернулось против тебя самого, — вдруг у Промысла дурные намерения, а стало быть, назначено тебе переть на рожон, и ты прешь, того не понимая, что всегда разумнее остеречься. Ежели не забыл ты Нерона, то знаешь, что я и сам не трепещу перед смертью, и все же в те времена жилось чуть полегче, ибо хотя кифара Неронова не ладила с подобающими самодержцу приличиями, однако кое в чем звучала она не без согласной приятности, развлекая тирана и отвращая его от убийств, — тут-то людям и выходила передышка. Вот ведь не убил он меня, хотя из-за наших с тобой речей против бань я прямо-таки шею под меч подставил, а не убил потому, что был тогда в голосе и думал, будто достиг в песнях своих отменного благозвучия. А нынче за чью кифару и за чей голос будем мы свершать всеожжения? Все кругом полнится не пением, но одною лишь злобою, и нынешний наш тиран ни своими, ни чужими песнями не обольщается! Пиндар, восхваляя лиру, говорит, что она-де чарованием своим усмиряет даже ярость Арееву и в бой бога не пускает, а наш-то, хотя и учредил здесь мусические игры и принародно венчает победителей, однако кой-кого из них уже прикончил, так что лебединую свою песню многие кифареды и флейтисты спели именно на этих состязаниях. Подумай, наконец, об опальных сенаторах — ежели покажешься ты дерзким и ежели не будет веры словам твоим, то непременно погибнут вместе с тобою и изгнанники. Спасение рядом, ты только глянь, сколько тут кораблей: иные отправляются в Ливию, иные в Египет, иные в Финикию и на Кипр, иные прямо в Сардинию, а иные в Сардинию и дальше, — взойди на любой и плыви, куда пожелаешь, так будет лучше всего! Поистине, всякий тиран смягчает суровость свою к именитому мужу, когда видит, что тот рад пребывать в безвестности».

13. Вполне убежденный речью Деметрия Дамид воскликнул: «Ты верный друг, и очень хорошо для Аполлония, что ты тут! Когда я ему советую не кидаться грудью на острый меч и не переть против тирана, грозней которого свет не видывал, то от моих разговоров толку выходит немного. Не встреться мне ты, я бы даже не знал, зачем мы сюда явились: вот так и покорствую я ему, как иной себе-то не покорствует, а спроси меня, куда я плыву и для чего, только посмеешься надо мною, ибо отмахал я Сицилийское море и Тирренский залив, ведать не ведая, куда держу путь, и ежели опасность такова, как ты говоришь, то я, значит, должен, ежели спросят, отвечать, что Аполлоний-де влюблен в смерть, а я-де в этой любви ему наперсник, — потому-то и плывем вместе! Однако же об этих делах я не знаю, и пора мне сказать, что я знаю, и сказать ради друга моего. Ежели я умру, то с философией ничего ужасного не случится, ибо я — вроде оруженосца у знатного воителя, и для разговора нашего вся моя цепа в том, что я с ним рядом. Ну, а ежели кто-нибудь убьет вот его? Тираны очень даже хитры на затеи и умеют кого надобно убрать — боюсь, как бы не вышло, что воздвигнется над сгнувшею философией курган и что наилучший из любомудров тому поможет. Вон сколько на нас нашлось Анитов и Мелетов и сколько доносов со всех сторон: будто бы один знакомец Аполлония смеялся, когда тот бранил тирана, а другой-де подзуживал говорить еще, а этот-де предложил предмет для речи, а тот-де, уходя, расхваливал услышанное. Вот что я скажу. Умирать за философию

надобно, как умирают за храмы и за стены и за отчие могилы, — поистине, ради спасения их многие славные мужи отдали жизнь с радостью! — но не стану я умирать ради гибели философии, да и всякий, кто предан любомудрию и Аполлонию, тоже такой смерти не захочет!»

14. Аполлоний отвечал так: «Дамид судит о нынешних обстоятельствах с опаскою, однако же робость его достойна сочувствия — все-таки он ассириянин и жил в соседстве с мидянами, а в тех местах тиранам покорствуют и о свободе не слишком мечтают. Но что до тебя, Деметрий, так уж и не знаю, сумеешь ли ты оправдаться перед философией! Ты охвачен страхом, и будь даже этот страх основателен, надлежало тебе его преодолеть, а ты, напротив, стараешься увлечь своими страхами меня, которого и настоящим-то страхом не запугать! Пусть мудрец умирает ради всего, тобою перечисленного, — чтобы ради этого умереть, не надобно быть мудрецом, ибо умирать за свободу велит закон, а умирать за родичей, друзей и милых понуждает природа. Весь род людской поработен природою и законом — природою по доброй воле, законом помимо воли, — а мудрецам более пристало гибнуть за собственные правила, хотя они ни законом не предписаны, ни природою в человека не вложены. Вот эти-то правила и блюдут мудрецы рьяно и дерзновенно, а ежели кто попытается помешать, тогда пусть жгут мудреца огнем и пусть рубят топором — никакая казнь его не сломит и не склонится он ни к какой лжи, но будет держаться за свои заповеди так же крепко, как если бы воспринял их вместе с таинством. Знанием я больше всех людей, ибо постиг все сущее, а из известного мной иное — для учеников, иное — для мудрецов, иное — для меня, иное — для богов, но для тиранов ничего нет! Неужто не ясно, что явился я сюда вовсе не сдуру? Жизни моей ничто не грозит, и смерти от тирана я не приму, даже если бы сам того пожелал.

Я понимаю, что из-за меня попали в беду изгнанники, к коим определил меня тиран то ли в начальники, то ли в помощники, — пусть называет как хочет; да только ежели подвел бы я этих своих друзей, замешкавшись или сплеховав перед обвинением, что подумали бы обо мне порядочные люди? Всякий мог бы по праву убить меня за то, что надсмеялся я над мужами, коим препоручил вымоленное от богов! Неизбежно ославили бы меня предателем — а почему, это я и хочу объяснить.

Тираны бывают двух родов: одни убивают без суда, другие — после судебного дознания, так что те похожи на зверей проворных и дерзких, а эти ленивее и сонливее, но нет сомнений, что жестокость присуща и тем и другим. Пусть примером разнузданного беззакония будет у нас Нерон, а примером коварства Тиберий — оба убивали, но Нерон убивал неожиданно, а Тиберий прежде запугивал. Сам я полагаю, что более жестоко создавать видимость суда и казнить человека словно бы по закону, ибо смысла в этом нет, и безо всякого суда приговор был бы такой же, так что тут тиран именуется законом всего лишь отсрочку гнева своего, — а между тем смертный приговор лишает несчастливцев даже и всеобщей жалости, коей несправедливо осужденные заслуживают не менее, чем надгробного камня. Нынешний наш тиран, как я вижу, сейчас следует именно такому образцу, однако же кончит он, по-моему, беззаконием, ибо приговоры выносит прежде дознания, а потом призывает людей к ответу, словно суда еще не было. Конечно, осужденный таким приговором почитается жертвою беззакония, но такого же приговора не избегнет и уклонившийся от суда.

Вот сейчас от меня зависит участь столь знатных мужей, а я сбегу от опасного всем нам суда — да найдется ли тогда на земле место, где сумел бы я избавиться от бесчестия? Положим, что ты все сказал верно, и я тебя послушался, а изгнанников прирезали, — неужто и тогда пожелает мне хоть кто-нибудь доброго плавания? К какому берегу мне править? Куда деваться? Боюсь, впору мне тогда вовсе покинуть Римскую державу и искать гостеприимства у таких друзей, которые живут подальше, — у Фраота или у вавилонского царя, или у божественного Иарха, или у почтенного Феспесиона. Но ежели и доберусь я до эфиопов, что, по-твоему, любезный, скажу я Феспесиону? Утаив действительные происшествия, окажусь я лгуном, хуже того — подлецом, а

признаваясь во всем, должен буду говорить так: «О Феспесион! Евфрат оклеветал меня перед вами, однако я не ведаю за собою названных им пороков, ибо он сказал, будто я хвастун, колдун и в науках разбойник, а я во всем этом не повинен, но зато я предатель и убийца друзей своих, верности ни в чем не соблюдаю и прочее в этом роде. А пришел я сюда, дабы увенчаться венком праведности — ежели есть такой венок, — ибо настолько разорил я лучшие римские дома, что в них теперь и жить-то некому». Ну, каково тебе, Деметрий, это слушать? Ты вроде бы покраснел? А вообрази-ка, что бежал я в Индию и явился к Фраоту, — как я ему в глаза погляжу? Как объясню свое бегство? Уж не сказать ли ему, что в прежнее свое посещение был я честным человеком и не колебался умереть ради друзей, а после знакомства с ним по дешевке спихнул тебе наисвятейшую из доблестей людских? Что до Иарха, то он, ежели приду я к нему, и спрашивать ни о чем не станет, но обойдется со мною, как некогда Эол с Одиссеем. Эол с позором прогнал Одиссея с острова своего за дурное обращение с дарованным ему попутным ветром, а меня в тычки спустят с холма за дурное употребление питья Танталова, ибо мудрецам угодно, дабы всякий, кто испил из Танталовой чаши, соучаствовал в бедах друзей своих.

Я знаю, Деметрий, как хорошо умеешь ты ловить на слове, и уже готов к такому, например, твоему возражению: «А ты и не ходи к ним, иди к»незнакомым, и тогда бегство твое будет успешным, ибо куда проще затаиться среди чужих». Что ж, обсудим, стоит ли доверять подобному мнению, и думаю я по этому поводу вот что. Мудрец ничего не делает сам по себе и ради себя, так что даже мыслям его непременно найдется свидетель, хотя бы этот свидетель был он сам. Потому-то и начертано на Пифийском храме «познай самого себя», а начертал это то ли сам Аполлон, то ли некий здравомысленный муж, таким способом сделавший сии слова всеобщим достоянием. По-моему, мудрецу, познавшему самого себя и взявшему в наперсники собственный разум, невозможно ни разделять страхи большинства, ни допускать себя до подлостей, бесстыдно совершаемых прочими людьми, кои, поработаясь тирану, готовы предать лучших друзей, — пустяков боятся, а настоящего страха не ведают! Мудрость такого не позволяет и вдобавок к дельфийским письменам славит слова Еврипида:

*Едва поймешь содеянное зло,
Губительным недугом станет совесть*

Воистину, совесть-то и начертала древле перед Орестом образы Евмепид, когда обезумел он из-за матери, ибо разуму дано замышлять, но судит эти замыслы совесть. Ежели хватит у кого ума затеять доброе дело, то такого человека водит совесть по всем храмам и по всем улицам, по всем заповедным святыням, и по всем на свете странам, — всюду она ему рукоплещет, всюду его хвалит и даже спящего не устанет ласкать, окружая его сонмом благоприветных сновидений. А ежели чей ум уклоняется ко злу, то такому человеку совесть не позволяет ни людям прямо в глаза глядеть, ни вести привольный разговор, ни к алтарям и молитвам его не допускает, ни даже не дает коснуться кумира, поражая ударом едва протянутую руку, — точно как закон поражает преступника. И гонит совесть злодеев ото всякого общества, да еще во сие терзает их ужасами, так что все взаправду виденное или слышанное, или сказанное ими днем обращает она в летучий морок, а за то придает смутным и призрачным томлениям устрашающее правдоподобие. Вот и выходит, что ежели сделаюсь я предателем друзей своих, то изобличит меня совесть всюду, куда я ни пойду, — хоть к знакомым, хоть к незнакомым! По-моему, объяснения мои весьма вняты и доказательствами изрядно уснащены, а я к тому же и самого себя предавать не намерен, но воспротивлюсь тирану — как сказано у славного Гомера «Общий у смертных Арей!»

15. Дамид, по собственным его словам, был столь увлечен вышеприведенною речью, что вновь взбодрился и осмелел, да и Деметрий бросил увещевать Аполлония, но напротив, сочувственно похвалил сказанное, сопроводив добрыми напутствиями как опасное предприятие, так и самую философию, ради коей явилась столь великая отвага. Затем он позвал товарищей туда, где сам

был на постое, однако же Аполлоний приглашения не принял, возразив: «Уже смеркается, а мне надобно отчалить в Римскую гавань, пока зажигают светильники, — в этот час отправляются корабли, назначенные в Рим. Пообедаем-ка лучше потом, когда все уладится, а сейчас против тебя очень даже могут состряпать обвинение, будто ты откушал с государственным изменником! Ты и на пристань нас не провожай, а то еще донесут, что ты со мною в сговоре и замышляешь непотребные дела». Деметрий и с этим согласился: обнял обоих и ушел, то и дело оглядываясь и утирая слезы.

Между тем Аполлоний, оборотясь к Дамиду, сказал: «Ежели у тебя силы и смелости столько, сколько у меня, то пора нам вместе взойти на корабль, а ежели не хватает у тебя духу, то лучше оставайся здесь: Деметрий нам обоим приятель — вот и поживешь у него». — «Да что же я тогда сам о себе думать буду? — воскликнул Дамид. — Ты давеча столько рассуждал насчет друзей и как надобно делить с ними все опасности, какие им грозят, а я, стало быть, ничего не послушаю, сбегу и брошу тебя в беде? Вроде бы прежде я не был подлецом, как по-твоему?» — «Ты прав, — отвечал Аполлоний, — идем! Но только я пойду, как есть, а тебе следует выглядеть попроще — длинные твои космы ни к чему, да и обувь лучше поменять, а вместо рубища надень этот вот холщовый плащ. Сейчас объясню, для чего мне все это надобно. Хорошо бы нам подольше продержаться на воле, да притом я и не хочу, чтобы тебя схватили вместе со мной, а в нынешнем твоём наряде тебя непременно уличат и схватят. Я хочу, чтобы ты был при мне и о делах моих свидетельствовал, но так, словно ты вовсе и не товарищ мой по любомудрию, — мало ли почему мы в дружбе?» Вот как лишился Дамид пифагорейского своего обличья, ибо сам он говорит, что сделал это не по трусливому малодушию, но признавая нужду в подходящей к случаю хитрости.

16. Отплыв из Диксархии, они на третий день достигли устья Тибра, откуда уже совсем близко до Рима. Держателем государева меча был в ту пору Элиан, который познакомился с Аполлонием еще в Египте и прежде весьма его любил, хотя и не выступал в защиту его перед Домицианом, ибо должность ему того не позволяла, — поистине, как было ему заступаться за человека, коего император вознамерился предать суду, иначе, чем хлопоча за приятеля своего? Однако же все уловки, коими можно было неявно помочь Аполлонию, он употребил еще до прихода его, возражая поносной клевете такими речами: «Государь, у этих умников одна работа — пыжиться напоказ, и одно ремесло — брехать попусту! От жизни им толку мало, вот они и норовят помереть, да притом не могут дожидаться, пока смерть к ним сама явится, а прямо-таки зазывают ее к себе и для того дразнят власти предержащие. По-моему, именно в рассуждении вышесказанного Нерон не поддался Деметрию и не казнил его: право же, Деметрий слишком хотел умереть — вот Нерон и оставил его жить, но не потому, что простил, а потому, что и убить-то побрезговал. А Мусоний Тирренский? Уж сколько он перечил властям, однако и его Нерон только заключил на острове, именуемом Гиара — впрочем, эллины до того обожают этих своих софистов, что стали тогда плавать к Мусонию, лишь бы с ним повидаться. Они и сейчас плавают на Гиару, но теперь уже из-за пресловутого источника, ибо остров прежде был безводный, а Мусоний отыскал там источник, о коем эллины трещат не меньше, чем о Конском ключе на Геликоне».

17. Все эти разговоры Элиан вел с самодержцем еще до прихода Аполлония, а когда тот пришел, то исхитрился лучше прежнего и сделал так. Аполлония он велел схватить и доставить к себе, а доносчику, обвинявшему того в чародействе и колдовстве, сказал: «Прибереги себя самого и свои речи для государева судилища». Тут Аполлоний возразил: «Ежели я колдун, как меня можно судить? А ежели можно меня судить, то какой я колдун? Видно, есть у доносчиков сила, коей даже и колдуны противиться не властны!» Тот хотел было говорить свои глупости дальше, но Элиан прервал его: «Оставь-ка ты меня в покое до суда! Я намерен самолично без твоей помощи дознаться, каков нрав у этого умника, так что ежели признает он свою вину, то

прение можно будет сократить, и ты уйдешь с миром, а ежели станет он запираяться, то будет ему судьей государь». Затем, удалившись в скрытную палату, где тайно вершились важные дознания, он отослал всех, сказав: «Уйдите прочь и не смейте подслушивать — такова государева воля».

18. Оставшись, наконец, наедине с Аполлоном, Элиан обратился к нему с такими словами: «Был я, Аполлоний, совсем молод в ту пору, когда отец государя нашего, явившись в Египет, приносил жертвы и совещался с тобою о своей судьбе. Я был тогда войсковым трибуном, но в бою уже проверен, и потому император взял меня с собою, а ты встретил меня весьма приветливо, и пока государь решал городские дела, отвел меня в сторону и, назвавши мое отечество, имя и род, предрек мне нынешнюю мою должность, почитаемую среди людей наивеличайшей и важнейшей всех прочих, вместе взятых. Да только мне от- нее одни хлопоты и несчастья, ибо оказался я стражем жестокого тирана, а присяги нарушить не могу — боюсь гнева божьего! Однако же к тебе я расположен, что и так ясно из рассказа моего о начале нашего знакомства, — все это я помню и почтение мое к тебе неизменно. Когда я сказал, что хочу без свидетелей допросить тебя о деле, в коем уличает тебя обвинитель, это была лишь невинная уловка, чтобы нам с тобой побеседовать с глазу на глаз, — итак, взбодрись моим доброжелательством и узнай о намерениях государя. Какой будет тебе от него приговор, мне неизвестно, да только по нраву своему он из тех, которые осудить-то хотят, но без достоверных улик казнить стыдятся, а он притом собирается через тебя погасить сенаторов, — желая запретного, он при этом ищет достигнуть желаемого законным путем. Что до меня, то мне надобно выказывать тебе притворный гнев, ибо ежели заподозрит меня государь в небрежение должностью, то уж и не знаю, который из нас с тобою погибнет первый!»

19. Аполлоний отвечал так: «Разговор у нас честный: ты высказал все, что у тебя на сердце, речь твоя праведна и о делах своих ты рассуждаешь точно, как мои единомышленники, и притом — свидетель Зевс! — ты столь благорасположен ко мне, что и опасность делить со мною готов, — а коли так, то и я открою тебе свои замыслы. Поистине, я мог бежать от вас в любую отдаленную область, куда власть ваша не простирается, и мог я отправиться к мудрецам помудрее меня самого, и мог по должному чину служить богам, удалясь в страну, обитатели коей любезнее богам, чем здешний народ, и где нет никаких дознаний и доносов, ибо нет там ни обидчиков, ни обиженных, а потому и в судилищах пет надобности. Однако я побоялся, что ежели не явлюсь я в суд, то буду повинен в вероломстве, ибо тогда погибнут мужи, коим из-за меня же и грозит опасность. Вот я и пришел оправдаться — а теперь скажи, в чем надобно оправдываться!»

20. «Донос составлен из многих и различных статей, — отвечал Элиан, — так что винят тебя и за твой наряд, и за прочие твои житейские правила, и за оказываемое тебе поклонение, и за то, что в Ефесе ты когда-то предсказал мор, да еще за словесное оскорбление величества, каковое совершал ты как тайно, так и явно, а порою якобы и по божественному наущению. Но более всего государь доверяет извету, коему я в особенности не доверяю, ибо я-то знаю, что ты брезгуешь даже жертвенною кровью, а извет этот такой: ты якобы навел Нерву в его усадьбе и там якобы помогал ему наводить порчу на государя — заклал какого-то аркадского мальчишку и этим-де жертвоприношением еще пуще раззадорил Нерву, а дело-де было темной безлунной ночью, — вот каков извет! Рядом со столь важным обвинением нет нам нужды разбираться в прочих доносах, хватит и этого, а уж сюда можно заодно притянуть и все прочее — наряд, привычки и пророчества, каковые, стало быть, и довели тебя до государственной измены, поощрив вышеуказанное жертвоприношение. Итак, тебе надобно защищаться от всех перечисленных обвинений — только говори с государем поучтивее!» — «Я уже засвидетельствовал свою учтивость, явившись в суд, — возразил Аполлоний, — а ежели при всем при том у меня и достанет отваги перечить тирану, зато тебе-то я послушен, ибо человек

ты хороший, да и меня любишь. Право, ничего нет страшного в том, чтобы внушить отвращение врагу, — враги ненавидят нас не за явные и подсудные преступления, но за свои собственные и тайные обиды. Куда тягостнее дать другу повод для дурного о нас впечатления — уже лучше любая вражья напасть, ибо от бремени содеянной подлости подлецу бежать никак невозможно!»

21. Элиан с этой речью согласился и, пожелав Аполлонию бодрости духа, сам остался в уверенности, что тот неуязвим и что хоть лик Горгоны ему покажи — все ему нипочем. Затем, призвавши к себе чиновников, коим поручено было дело, он сказал: «Приказываю человека этого задержать и доложить государю о его прибытии и обо всех его разговорах», — при этом он прикинулся, будто весьма разгневан, а затем воротился во дворец и приступил к обычным своим обязанностям.

Тут Дамид вспоминает о происшествии, сразу похожем и не похожем на случай, приключившийся некогда в Афинах с Аристидом. Когда Аристида за добродетель его изгоняли черепками, то еще за городской чертою повстречал он некоего селянина, и тот попросил написать на черепке имя Аристида — невежда не знал, ни как выглядит Аристид, ни даже как имя-то это пишется, но лишь позавидовал чужой праведности. А тут войсковой трибун, отлично знавший Аполлонию, затеял с ним разговор и задорно спросил, как это он попал в такую беду, и когда Аполлоний ответил, что не знает, возразил: «Зато я знаю: люди тебе поклонялись, и потому пошел на тебя донос, будто почитают-де тебя наравне с богами». — «Кто же это?» — «Да хотя бы я — еще в дни юности, когда ты лечил у нас в Ефесе моровое поветрие». «Что ж, это оказалось весьма полезно и тебе самому, и исцеленному Ефесу». — «Именно поэтому я и придумал способ, как тебе оправдаться. Давай выйдем за городскую стену и я тебе там отрублю голову — тут-то обвинению конец, а ты на воле! Ну, а ежели ты меня припугнешь до изумления, и выроню я меч, тогда непременно следует тебя почитать священной особою, а стало быть, и судят тебя верно». Этот грубиян был куда грубее неуча, который изгонял некогда Аристида, да к тому же говорил с глумливою ухмылкой, как что Аполлопий, словно бы ничего не слышав, продолжал беседовать с Дамидом о Дельте, близ коей Нил якобы разливается по двум руслам.

22. Наконец Элиан снова призвал Аполлонию и велел поместить его в темницу, но содержать без оков, объяснив: «Это пока государь не выберет для тебя времени, ибо желательно ему прежде увидиться с тобою наедине». Итак, Аполлоний покинул судилище и по дороге в тюрьму сказал Дамиду: «Побеседуем с узниками — больше-то нам заняться нечем! Придется ждать, пока тиран соберется поговорить со мною о своих надобностях». — «Они скорее всего назовут нас пустомелями, ежели отвлечем мы их от сочинения оправдательных речей, — отвечал Дамид, — да и глупо вести ученые разговоры в столь унылых обстоятельствах». — «Напротив, — возразил Аполлоний, — как раз в таких обстоятельствах люди особенно нуждаются в беседе и утешении. Вспомни стих Гомера — тот, где сказано о Елене, мешающей в чаше египетские зелья для облегчения душевных скорбей! По-моему, Елена, сведущая в египетской науке, заговорила эту чашу, исцелив отчаявшихся воителей смесью вина и речей». — «Похоже на то, ибо побывала она в Египте и толковала с Протеем или, ежели верить Гомеру, познакомилась с Полидамною, супругою Фона. Но не будем сейчас об этом — мне надобно кое о чем тебя расспросить». — «Знаю, о чем ты меня спросишь! Ты хочешь услышать о моем разговоре с Элианом, и что он сказал, и был ли он грозен или приветлив», — и сказавши так, Аполлоний поведал Дамиду обо всем, что было. Тут Дамид пал ему в ноги и воскликнул: «Теперь поверю, что и Левкофея некогда протянула свой покров Одиссею, когда упал он с корабля и мерил море саженками! Поистине нам, пропадающим в столь же горькой безысходности, словно протянул руку некий бог, дабы не остались мы вовсе беспомощны!» Аполлоний с укором спросил: «Да будет ли конец этим твоим страхам? Когда же ты поймешь, что мудрость разит наповал всякого, кто ее узрит, а сама не смущаема ничем?» — «Однако мы-то пришли к незрячему, — возразил

Дамид, — и к такому, который не только из-за нас не смутится, но и ничто на свете не удостоит смущения своего». — «Неужто ты не понимаешь, Дамид, что он — сумасшедший дурень?» — «Понимаю, как не понять?» — «Ну, а насколько понимаешь тирана, настолько же его и презирай!»

23. Пока они так беседовали, подошел к ним некий узник — кажется, то был киликиянин — и сказал: «А вот я, господа хорошие, попал в беду из-за своего богатства». — «Ежели богатство твое несправедливо, — промолвил Аполлоний, — и нажито разбоем или отравительством, или разорением древних царских могил, полных золота и самоцветов, тогда тебя надобно не только судить, но и казнить, ибо все твое богатство происходит от зверства и непотребства. Но ежели богатство твое наследственное или нажито вольною и честною торговлею, то у кого достанет подлости оттянуть законное твое имение, да еще прикрывать этот грабег личиною закона?» — «Имение мое — от многочисленных родичей, — отвечал киликиянин, — но оказалось в моем единоличном владении, так что трачу я не чужое, а свое, однако трачу не только на себя, а еще и с хорошими людьми делюсь. Но вот доносчики клеветают, будто разбогател я не на пользу тирану, потому что ежели соберусь я затеять заговор, то будет мне богатство подспорьем, а ежели примкну к чужому заговору, то и его весьма подкреплю своими деньгами. Все эти обвинения составлены в роде пифийских пророчеств, например, что от чрезмерного-де богатства родится дерзость и что богач-де голову несет высоко, а умом залетает далеко, и что деньги-де помеха законопослушанию и верноподданности, ибо богачи разве что по морде не бьют продажных проконсулов, а те за деньги все им спускают с рук.

В юности, когда не было в имении моем даже и сотни талантов, я лишь беззаботно веселился и за добро свое не слишком дрожал, но затем, после смерти дяди моего по отцу, получил я разом пятьсот талантов, и тут в мыслях моих произошла великая перемена — так укротители коней уздою меняют их дикий и непокорный нрав. Пока богатство мое приумножалось, стекаясь ко мне с земли и с моря, меня одолевал страх за него, а потому принялся я раздавать деньги: давал доносчикам, дабы подачкою заткнуть им рот, давал начальникам, дабы заступились они за меня перед зложелателями, давал родичам, дабы не завидовали они моему богатству, давал рабам, дабы не развращались и не жаловались на небрежение мое. А еще кормилось около меня целое стадо друзей, которые тоже заботились обо мне — и дела делали, и советами подсобляли. Вот так огородился я богатством моим и схоронился за надежною стеною, а все же попал сейчас в беду из-за этого самого богатства и уж не знаю, уйду ли отсюда живым». — «Крепись, — сказал Аполлоний, — ибо и жизнь твою выручит то же богатство: из-за него ты в оковах, но оно же — будучи потрачено — не только вызволит тебя из этой темницы, а еще и избавит от угождения доносителям и рабам, к коим попал ты в кабалу из-за того же богатства».

24. Другой узник рассказал, что вызван в суд за жертвоприношение, которое по должности своей свершил в Таренте, а винят его в том, что в общей молитве не помянул-де он Домициана отпрыском Афины. «Ты-то, видно, думал, что у Афины детей нет из-за вековечного ее девства, — отвечал Аполлоний, — однако же совершенно упустил из виду, что сия богиня некогда родила афинянам дракона!».

25. Еще один узник был заключен в темницу по нижеследующему обвинению. Усадьба его была в Акарнании близ устья Ахелоя, а потому случалось ему плавать в лодке около Ехинских островов — и вот, приметив среди них один, уже вполне соединившийся с сушею, он засадил его плодовыми деревьями и виноградом сладкой породы, так что, наконец, возделанный участок оказался достаточным для прокормления, а сколько надобно было ему воды, столько он доставлял на свой островок с побережья. Из всего этого произошел донос, будто у сего акарнанянина совесть нечиста и не дают-де ему покою некие преступления, и потому-то пришлось-де ему бежать сюда, а на всей остальной земле нельзя-де ему быть, ибо он ее сквернит, вот и поступил-де он как Алкмеон, сын Амфиараев, который после убийства матери

своей жил в Ахелоевых протоках, а у этого земледельца преступление может быть иное, но — уж конечно! — не менее ужасное и вроде Алкмеонова. Акарнанянин все отрицал и говорил, что поселился на островке единственно ради спокойной жизни; тем не менее, и он был призван к ответу, в конце концов оказавшись в узилище.

26. И еще многие подходили к Аполлонию с подобными жалобами, а содержались в темнице до пятидесяти узников и были среди них недужные, были отчаявшиеся, были готовые к смерти, были и такие, что причитали о детях своих, родителях и женах. «Думается мне, Дамид, — промолвил Аполлоний, — что люди эти нуждаются в том самом лекарстве, о коем уже поминал я поначалу, — в одном ли Египте зелье это родится или произрастает повсюду, собираемое мудростью в ее же вертоградах, — так или сяк, давай попотчuem им этих злосчастных, дабы не сгнули они прежде времени от собственных чувствований». — «Разумеется, попотчuem, — согласился Дамид, — ибо сдается мне, что им только того и надобно». Тут Аполлоний, созвавши к себе узников, сказал: «Почтенные соседи мои и сотоварищи, мне вас жаль! Вы губите себя сами, не успевши узнать, погубит ли вас обвинитель, и чуть ли не готовы казнить себя прежде приговора, касательно коего вы заранее уверены, что приговор будет смертный. Итак, вы храбритесь на то, чего боитесь, и боитесь того, на что храбритесь, — это не годится! Помните, что говорил Архилох Паросский, называвший стойкость в несчастьях страстоносностью и от богов милостью, — пусть же слова эти взбодрят вас среди ваших бедствий, кормчим искусством удержав на плаву, хотя волны и вздымаются выше корабля! Не бойтесь тягости нынешнего нашего положения, в коем вы оказались поневоле, а я добровольно. Право, ежели согласны вы со взводимыми на вас обвинениями, то лучше уж вам оплакивать день, когда были вы увлечены заблуждением к преступному злодейству. Но вот ты, например, неужто согласишься признать, что поселился на Ахелоевом островке с тем самым умыслом, о коем говорит обвинитель? А вот ты — неужто ты и вправду тратил богатство свое во вред императору? А ты — неужто ты преднамеренно отнял у государя звание сына Афины? Все вы попали в беду по таким доносам, кои сами же называете облыжными, — по тогда что толку в этих ваших причитаниях? Чем рыдать о чадах и домочадцах, лучше бы вам набраться стойкости, ибо в этом-то и состоит подвиг страстоносности! Быть может, вы опасаетесь, как бы не стали тяготы эти началом иных и худших страданий? Или неможугу вам уже и от нынешних бед, хотя бы за ними и не последовали новые? Так или сяк, я хорошо знаю природу человеческую, а потому наставление мое не будет похоже на лечебную кашицу, но насытит вас силою и не допустит погибнуть! Мы, люди, заключены в темнице на весь срок, именуемый жизнью, ибо сама душа наша, опутанная узами брэнного тела, хотя и многое сносит, однако же порабощается всем человеческим склонностям. По-моему, первым строителям жилищ было и невдомек, что городят они вокруг себя еще одну тюрьму в дополнение к имеющейся; а уж тем более это относится к обитателям царских палат, укрывающимся в чертогах своих ото всех па свете опасностей, — право же, эти жители дворцов опутаны узами куда теснее, чем узники, ими же заточенные в узилище. А ежели помыслить о городах и городских стенах, то я вижу, что и тут темница, да притом общественная, ибо и торгующие на рынке, и собравшиеся на сходку, и устроители зрелищ, да и зрители — все влачат железы! Даже у кочевых скифов оковы не легче наших, ибо запеты они Петром и Фермодонтом и Танаисом, а переправиться через эти реки нелегко, пока не оледенит их стужа, — и вот скифы, поставив дома на колеса, кочевать-то кочуют, но прячутся со страху в своих кибитках. А еще говорят — ежели это не сказки, — будто и Океан окружает Землю, дабы удержать ее в плену. Сюда, стихотворцы, это уже для вас: спойте отчаявшимся узникам о Кроне, древле по воле Зевса ввергнутом в оковы, и об Арее, первом среди богов воине, коего сначала на небесах связал Гефест, а затем на земле Алоей! Памятуя обо всем вышесказанном, а также и обо многих премудрых и преблагих мужах, брошенных в темницу бесчинством черни или втоптаннх в грязь пятою тирана, давайте смиримся с нынешними нашими обстоятельствами, дабы не отставать нам от наших предшественников». Эта речь произвела в узниках столь

сильную перемену, что почти все они утерли слезы, принялись за еду и обрели надежду спастись вместе с Аполлоном.

27. На следующий день Аполлоний толковал в таком же духе, однако был уже подослан к нему осведомитель, дабы оповещать Домициана о речах его. Вид у этого осведомителя был мрачный, и твердил он, будто грозит Аполлонию некая превеликая опасность, а говорил он обиняками, как то в обычае у доносчиков, успевших добыть десяток улик. Аполлоний понял уловку и повел беседу так, чтобы доносителю от нее толку не было: вспомнил о горах и реках, рассказывал о зверях и деревьях — итак, слушатели развлеклись, а соглядатай ничего не добился. Тогда, затащив рассказчика в уголок, он принялся было подстрекать его к поношению тирана, однако Аполлоний возразил: «Ты, голубчик, говори, что хочешь, — я-то на тебя доносить не стану, — а вот я все, что хочу сказать против императора, скажу ему в лицо!»

28. Случались в эту пору в темнице и другие происшествия — иные по злоумышлению, иные по нечаянности, но среди них не было ничего важного и для повести моей достопамятного. Впрочем Дамид, дабы ничто не забылось, записывал и всякую малость, так что имеется у него нижеследующий рассказ. Шел уже пятый день заключения, и вот вечером явился в темницу некий человек — по языку эллин — и позвал:

«Где тианиец?» Затем, отведя Аполлонию в сторону и представившись гонцом Элиана, он предупредил, что завтра-де с Аполлоном будет говорить государь. «Я понимаю, что сведения эти тайные, — отвечал Аполлоний, — ибо знать о таком может только известная нам особа». — «А еще велено главному надзирателю доставлять тебе все, что пожелаешь», — продолжал гонец. «Вы весьма любезны, однако я живу здесь точно так же, как и на воле, — беседую обо всем, что придет на ум, а нужды ни в чем не имею». — «Неужто, Аполлоний, не имеешь ты нужды даже и в совете, как говорить тебе с императором?» — «Пожалуй, но только ежели не станет советчик подбивать меня к лести». — «Ну, а ежели он лишь посоветует тебе не выказывать государю грубости и высокомерия?» — «Отличный совет — я ему согласен следовать!» — «Ради этого-то я и приходил, — сказал гонец, — и теперь рад видеть тебя в столь сообразном расположении духа. Да еще надобно тебе быть заранее готовым к звуку государева голоса и к суровости лица его, ибо даже учтивый разговор ведет он громогласно, брови у него насулены, взгляд хмур, а ланиты — и это всего заметнее — желты от разлившейся желчи. Все эти его свойства природные и неизменные, так что не стоят ни страха нашего, ни удивления!» — «А вот Одиссей, отправляясь в киклопову пещеру, — отвечал Аполлоний, — не знал заранее ни о том, сколь велик Полифем, ни о том, чем он кормится, ни о том, как грохочет его голос, — и все-таки отважился войти: поначалу испугался, зато из пещеры вышел, вполне явив мужество свое. Что же до меня, то с меня хватит уйти целым и невредимым, выручив друзей, ради коих и отважился я на сие опасное предприятие». Вот так побеседовав с гостем и пересказав вышеприведенный разговор Дамиду, Аполлоний улегся спать.

29. На заре пришел императорский посыльный писарь и возвестил: «По государеву повелению ты, Аполлоний, обязан в присутственное время явиться в Судебную палату, однако еще не ответчиком, но желает государь взглянуть, каков ты есть, и побеседовать с тобою наедине». — «А чего ради ты мне все это рассказываешь?» — спросил Аполлоний. «А ты разве не Аполлоний?» — «Свидетель Зевс, да! И притом из Тианы». — «Ну, а тогда кого же мне оповещать?» — «Тех, кто меня сюда запер, — иначе как прикажешь мне выйти из темницы?» — «Надзирателям уже велено, да и я приду в положенный час, а сейчас явился уведомить тебя о приказе, ибо отдан он был вчера поздней ночью».

30. Наконец писарь ушел, а Аполлоний снова улегся на постель, сказав: «Надобно мне вздремнуть, Дамид, а то ночь выдалась беспокойная — я все старался припомнить кое-что, слышанное от Фраота». — «Лучше бы тебе не спать, — возразил Дамид, — а вместо того

приготовиться к назначенной встрече, ибо дело тебе предстоит весьма важное». — «Как же готовиться, когда я и ведать не ведаю, о чем меня спросят?» — «Стало быть, ты собираешься защищать жизнь свою наобум?» — «Клянусь Зевсом, Дамид, именно так — жил-то я тоже наобум! Лучше я расскажу тебе, что вспомнил давеча из речей Фраота, и, право же, ты сам увидишь, сколь полезен этот рассказ в нынешних обстоятельствах. Фраот воспретил укротителям бить львов, ибо битые львы злопамятны, однако же воспретил также и ублажать их, ибо от того становятся они строптивы, а лучше-де им пригрозить, да потом их приласкать и так приучить к послушанию. Не об укрощении зверей шла у нас беседа и не о львах говорил Фраот, но разумел он узду, коею возможно удержать тиранов от безрассудств и злодейств». — «Знатно молвил Фраот о тиранском нраве!» — отвечал Дамид. — Впрочем, и у Эзопа есть басня о некоем льве, не вылезавшем из своего логова. Эзоп говорит, что этот лев прикидывался хворым и так добывал себе в корм зверей, приходивших навестить мнимого больного, покуда лиса не сказала: «Ни один из тех, кто там был, не воротился к нам, да и по следам не видать, чтобы хоть кто-нибудь вышел назад, — зачем же нам лезть в львиное логово?» — «А вот я, — возразил Аполлоний — почитал бы лису куда умнее, когда бы она забралась в логово, но ушла бы оттуда целой и невредимой, да еще и обозначила бы следом своим возвратный путь!»

31. Сказавши так, он смежил глаза и ненадолго уснул, а на рассвете помолился Солнцу, насколько это было возможно в темнице, и побеседовал с соузниками, ответив на все их вопросы. Так провел он время, пока не наступил назначенный час и не явился посыльный писарь, зовя скорее отправляться к императору, иначе придется-де тому их торопить, а это-де негоже. «Идем», — сказал Аполлоний и смело пошел вперед. По дороге сопровождали его четверо из охраны, но не стерегли каждый его шаг, а держались на приличествующем расстоянии. Следом шел Дамид, хотя и напуганный, однако по виду погруженный в раздумье. Все встречные глазели на Аполлония, любопытствуя его нарядом, да и святость самого его облика внушала изумление, но более всего обращало к нему сердца даже и прежних его недоброжелателей то, что отважился он явиться в Рим ради спасения опальных сенаторов.

Так дошли они до дворца, и тут Аполлоний, увидев снующую взад-вперед крикливую толпу служителей и просителей, сказал: «По-моему, Дамид, это заведение похоже на баню: одни спешат войти, другие выйти, иные вроде бы успели дочиста отмыться, а иные вроде бы и вовсе неумыты». Эти его слова я настоятельно прошу запомнить безо всяких искажений и никоим образом не приписывать их каким-либо другим лицам — сказал так именно Аполлоний и притом еще повторил в одном из своих писем.

Затем увидел он дряхлого старика, сверх меры желавшего получить должность, а для того заранее лебезившего перед императором, и сказал Дамиду: «Вот уж кого никакой Софокл не убедил бы бежать от жестокого и лютого хозяина!» — «Так ведь и мы, Аполлоний, ломимся к этому самому хозяину, а иначе зачем бы нам стоять теперь у его дверей!» — отвечал Дамид. «Сдается мне, Дамид, что ты полагаешь, будто двери здесь сторожит такой же Эак, какой стоит привратником у Аида, — поглядеть на тебя, так ты уже помер!» — «Не помер, так помру». — «Ты высказываешь мне, Дамид, свое неумение умирать — и это ты, мой товарищ, с юных лет предавшийся любомудрию! А я-то думал, что ты готов к смерти и знаешь все известные мне битвенные хитрости, — ибо точно как воителям и ратникам мало одной лишь отваги, но надобно еще и уметь в бою в надлежащее время перестроиться, так же и философам положено загодя позаботиться о смертном своем часе, дабы не попасться врасплох, но и не спешить навстречу гибели, а самолично избрать для кончины своей подобающий случай. Вот и я выбрал для смерти — ежели захочется кому меня убить — превосходный и согласный с философией повод, что и объяснил уже в твоём присутствии, а сейчас объясню это же самое одному тебе».

32. Так они беседовали, покуда не выдался у императора досужий час, так что, избавясь ото всех дел, вознамерился он, наконец, поговорить с Аполлоном, который и был препровожден в государеву палату дворецкими служителями, не позволившими, однако же, Дамиду идти следом. Император был в масличном венке, ибо как раз перед тем приносил жертву Афине в Адонисовом дворе, а двор этот весь был уставлен цветочными горшками — такие цветы ассирияне растят у себя дома под крышей, готовя их к Адонисовым игрищам. Прервав священнодействие, император поворотился к посетителю и, изумленный его обликом, воскликнул: «Элиан, да ты привел ко мне какого-то небожителя!» Безо всякого смущения Аполлоний тут же, придравшись к слову, возразил: «А вот я, государь, полагал, что попечительствует о тебе Афина, да не меньше, чем древле о Диомеде под Троей, ибо отвела она от очей Диомеда пелену, затмевавшую взоры прочих бойцов, и тем помогла ему отличить людей от богов. Однако же твоих очей, государь, богиня, пожалуй, еще не прояснила таковою ясностью, — а жаль, ибо тогда ты и самое Афины разглядел бы получше, и человеческий облик не путал бы с божественным». — «Ну, а ты, философ, успел уже прояснить свой взор от мглы?» — спросил император. «Давным-давно — еще с той поры, как занялся философией». — «А ежели так, то отчего считаешь ты богами злейших моих врагов?» — «Изо всех людей лишь двух индусов почитаю я достойными звания богов — но какая же у тебя вражда с Иархом и Фраотом?» — «Не морочь мне голову индусами, а лучше скажи о своем драгоценном Нерве и его сообщниках!» — «Должен я говорить в его защиту, или . . .?» — «Нечего защищать — он уже застигнут на месте преступления! Ты мне докажи, что сам не виновен — я-то знаю, что ты сочувствовал замыслам его!» — «Ежели тебе желательно слышать, чему я сочувствовал, так слушай — правды скрывать я не стану!» Тут император решил, что сейчас предстоит ему услышать превеликие тайны и что для врагов его все эти тайны окажутся окончательною погибелью.

33. Между тем Аполлоний с первого взгляда понял, что на уме у тирана, и продолжал: «Сколько я знаю, Нерва изо всех людей самый скромный и самый благонамеренный, а из подданных твоих самый верный — потому-то, быв отличным консулом, он так убоился бремени государственных должностей, что совершенно отошел от дел. Сотоварищи его — ежели спрашиваешь ты о Руфе и Орфите — также, насколько мне известно, отменно смиренны, презируют богатство и по возможности предаются безделью. Никому из них и в голову не придет затеять заговор или соучаствовать в какой бы то ни было затее этого рода». Разгневанный услышанным, император воскликнул: «Уж не винишь ли ты меня в облыжном доносительстве? Выходит именно так, ибо я самоличным дознанием обнаружил, что названные лица суть отребья рода человеческого, нечестиво посягающие на мою державу, а ты мне тут доказываешь, будто они всего лишь добропорядочные лентяи! Ясно наперед, что ежели стану я допрашивать этих негодяев о тебе, то ни один из них не подтвердит ни что ты колдун, ни что ты наглец, ни что ты бахвал, ни что ты сребролюбец, ни что ты знать не желаешь никаких законов, — да вы, сволочь, не иначе, как заранее успели сговориться! Погодите, обвинение так или сяк выведет вас, подлецов, на чистую воду, потому что обо всех ваших клятвах и жертвоприношениях я все знаю ничуть не хуже, чем очевидец и соучастник!» Аполлоний, нимало не убоившись таких угроз, отвечал: «Стыдно государь, да и законам противно, ежели станешь ты судить заранее осужденных или осуждать прежде суда, — по коли так, то позволь тогда и мне без отлагательств приступить к оправдательной речи. Ты обо мне, государь, дурного мнения и обижаешь меня хуже доносителя, ибо тот хотя бы обещает представить улики, а ты вполне веришь этим уликам, ничего еще о них не зная». — «Когда хочешь, тогда и оправдывайся, — я-то знаю, как заткнуть тебе рот и с чего мне лучше начать!» — и тут

34. император жестоко надругался над Аполлоном — велел остричь и обрить его, а затем заковать самым злодейским способом. О волосах Аполлоний сказал: «Я и позабыл, государь, что

шерсть моя в опасности!», а о кандалах: «Ежели я, по-твоему, колдун, что тебе толку в этих оковах? А ежели ты меня сковал, то неужто я, по-твоему, все-таки колдун?» — «Вот и я отпущу тебя не прежде, чем обратишься ты в воду или в дерево, или в какого-нибудь зверя!» — «Хотя бы и умел, ни за что не стану, дабы не предавать безвинно притесняемых! Я пребуду таков, каков теперь, — делай с этим моим телом что угодно, покуда не защищу я друзей моих». — «А тебя-то кто защитит?» — «Время, дух божеский и страсть, сочетавшая меня с мудростью!»

35. Вот так описывает Дамид встречу, которая была у Аполлония и Домициана с глазу на глаз еще до суда. Однако же кое-кто злонамеренно искажает названное происшествие, утверждая, будто Аполлоний прежде оправдывался, а лишь затем был заключен в оковы и острижен. Эти-то клеветники и состряпали некое послание, сочиненное по-ионийски, в котором представляют Аполлония падающим в ноги Домициану со слезною мольбою, дабы тот совлек с него кандалы. Но Аполлоний изъяснял по-ионийски лишь заповеди свои, а писем его на ионийском наречии мне видеть не случилось, хотя и собрал я их множество, да к тому же не видывал я, чтобы письма его были многословны, — напротив, все они отличаются краткостью, словно намотаны на спартанскую булаву. И еще: Аполлоний ушел из суда, выиграв дело, — как же мог он быть закован в кандалы после оправдательного приговора? Впрочем, о самом суде я пока рассказывать не стану, а расскажу, что говорил Аполлоний касательно стрижки и прочего, — право, речи эти весьма достойны внимания.

36. Итак, уже два дня был Аполлоний в оковах, когда явился к нему в темницу некий незнакомец, якобы подкупивший стражу, чтобы добраться до узника и посоветовать ему, как можно спастись. Человек этот был уроженцем Сиракуз и состоял наушником и лазутчиком при Домициане, коим и был подослан вослед первому соглядатаю, однако же с поручением попроще — прежний осведомитель заводил беседу издали, а этот приступил напрямик, воскликнув: «Боги! Ну, кто бы мог помыслить Аполлония в оковах?» — «Тот, кто его в эти оковы заключил, — отвечал Аполлоний, — ибо, не помысливши, и заковать нельзя». — «А кто бы мог подумать, что сии святоблагоуханные кудри будут столь грубо острижены?» — «Я мог бы — волосы-то мои». — «Как же ты такое стерпел?» — «Так же, как всякий, кто попал в подобные обстоятельства не добровольно и не помимо воли». — «Но как сносишь ты бремя кандалов?» — «Не знаю, потому что голова у меня занята иными думами». — «Возможно ли не думать о телесной скорби?» — «Почему нет? У людей вроде меня боль или вовсе до ума не доходит, или прекращается умом». — «О чем же ты думаешь?» — «О том, как бы не думать о нынешних обстоятельствах». Тут лазутчик вновь помянул о волосах и принялся было сводить разговор к сему предмету, однако Аполлоний отвечал: «Повезло тебе, молодец, что не побывал ты вместе с ахейцами под Троей, — уж то-то пришлось бы тебе причитать над Ахилловыми кудрями, остриженными ради Патрокла, ежели и вправду он их тогда остриг! Да тебя не иначе как удар хватил бы из-за этих его кудрей! Ты тут твердишь, будто жалеешь мои седые нечесанные космы, — так насколько же сильнее скорбел бы ты об Ахилловой златокудрости?» Сиракузянин, конечно же, вел свои речи со злодейским умыслом, надеясь узнать, чем бы скорее измучить Аполлония, а заодно желая разведать, не клянет ли узник государя, от коего претерпевает муки. Однако же ответы Аполлония совершенно сбили лазутчика с толку, а потому он объявил: «Государь злобится на тебя по многим причинам, но более всего за то, за что уже изгнаны преступные сообщники Нервы. До императора дошли кой-какие ябеды касательно речей твоих в Ионии — будто говорил ты о нем враждебно и дерзко, — однако же он вроде бы придает упомянутым доносам мало значения, ибо разгневан другими и куда более важными твоими преступлениями, тем паче, что донес ему о них муж, стяжавший превеликую славу». — «Ты, стало быть, назвал новый способ победить в Олимпии, — воскликнул Аполлоний, — да и как иначе, ежели сказано, что славу может стяжать тот, кто силен в доносительстве? Речь идет о Евфрате — это понятно! Я-то знаю, как он во всем старается мне навредить, однако же

случалось мне терпеть от него и худшие обиды. Вот, например, проведал он когда-то, что намерен я посетить нагих эфиопов, и тут же оклеветал меня перед ними, так что не распознай я вовремя его подлый замысел, пришлось бы мне уходить, даже не взглянув на эфиопских мудрецов». Удивленный таким ответом, сиракузянин спросил: «Что ж, по-твоему, лучше пусть государь гневается, лишь бы из-за Евфратовой клеветы эфиопы не усомнились в твоей добропорядочности?» — «Клянусь Зевсом, именно так, ибо туда я ходил учиться, а сюда пришел учить». — «О чем же ты будешь учить?» — «О доброте и лепоте своей, коих император еще не постиг». — «Но тогда почему не изъявил ты пред ним свою благонамеренность прежде? Объяснив все, как есть, ты не был бы сейчас под замком!» Аполлоний, догадавшись, что сиракузянин подстрекает его дать подходящие императору показания и думает, будто он, истомленный оковами, как-нибудь да согласится оговорить друзей своих, промолвил: «Слушай, любезный! Я уже сказал Домициану правду и вот я в оковах — что же будет со мною, ежели отступлюсь я от правды? Он присуждает кандалы правде, а я — лжи!»

37. Сказавши так, Аполлоний повернулся к сиракузянину спиной, а тот, раздосадованный превосходством мудрости его, покинул темницу.

Тут Аполлоний, оборотясь к Дамиду, спросил: «Ну как, уразумел ты этого Пифона?» — «Я уразумел, что он морочил и завлекал тебя, однако не понимаю, при чем тут Пифон и чего ради помянул ты это имя». — «Жил когда-то византиец Пифон, — отвечал Аполлоний, — и был он, говорят, отменным витией. И вот Филипп, сын Аминты, отрядил его послом к эллинам, коих желал поработить. Всюду Пифон преуспел и наконец явился в Афины, где в ту пору процветало красноречие. Там он принялся твердить афинянам, что они-де обижают Филиппа к плохо-де поступают, добиваясь волн для эллинов. Долго разливался посол в витийстве своем, но отвечив на наглые его речи один Демосфен Пеанийский, который числит противление Пифону среди подвигов своих. Я-то отнюдь не почитаю подвигом, ежели не поддался уговорам этого нашего гостя, а должность его уподобил Пифоновой просто потому, что он — точно как тот — явился сюда лазутчиком тирана и со столь же несуразными советами».

38. Аполлоний еще много рассуждал в таком же роде, однако Дамид, по собственным его словам, был слишком удручен обстоятельствами, ибо не видел из них никакого выхода, разве что богам помолиться, — вдруг да выручат, как выручали порой тех, кому пришлось еще хуже. Наконец, незадолго до полудня Дамид спросил: «Как по-твоему, тианиец, — это потому, что Аполлонию весьма нравилось такое обращение, — как по-твоему, тианиец, что с нами станется?» — «Что мы претерпели, то претерпели, — отвечал Аполлоний, — а сверх этого ничего нам не будет, и тем паче никто нас не убьет». — «Неужто мы столь неуязвимы? И когда же выйдешь ты на волю?» — «По приговору суда — вскорости, а ежели захочу — хоть сейчас!» С этими словами он стряхнул с ног оковы и промолвил: «Вот тебе, Дамид, зримое доказательство свободы моей, так что не унывай!» Тут-то Дамид, как сам рассказывает, в первый раз вполне уразумел, что природа Аполлония божественная и сверхчеловеческая, ибо он, не приносивши жертвы — да и какие жертвоприношения в тюрьме? — не молившись и слова не сказав, насмеялся над оковами своими, а затем вновь приладил их к ногам и опять сделался узником.

39. Люди ума недалекого полагают, будто такие дела творятся колдовским искусством, каковым объясняют они и многие другие человеческие подвиги. Что правда, то правда: обращаются к сему искусству и ристатели и все, состояющиеся ради желанной победы, однако же колдовство отнюдь не помогает им победить, хотя иные из этих злосчастных, победивших по чистой случайности, сами себя обкрадывают, приписывая победу свою чародейству, коему, впрочем, продолжают доверять, даже и потерпев поражение. «Ничего не убудет от победы моей, ежели пожертвовать то или се, да покадить тем или сем», — вот так они говорят и так думают. Не обходит чародейство также и купеческих дверей, и часто случается видеть купцов, кои

объясняют торговые свои удачи искусством колдуна, а неудачи — собственной скупостью, ибо не принесли-де жертв, сколько было надобно. Более же всего привержены колдовству влюбленные, коих любовный недуг доводит до такого легковерия, что они готовы идти за помощью хоть к бабкам-ворожеям, и, право же, меня отнюдь не удивляет, когда, побывав у сих премудрых дев и наслушавшись их болтовни, получают они и носят вышитый пояс или какой-нибудь камень, добытый то ли из земных бездн, то ли с Луны, то ли со звезды, или все, какие ни есть, индийские злаки — денег на эти приворотные средства тратится прорва, да толку от них никакого. Ежели красавчик становится с обожателем чуть поласковой или, обольщенный подарками, отдается ему вполне, то влюбленный восхваляет всемогущество колдовской науки, а ежели искательство его безуспешно, то он объясняет неудачу свою каким-нибудь важным упущением: дескать, вот эти благовония он не воскурил, а вот эту жертву принести позабыл, да еще и зелья не сварил — потому-де ничего и не получилось. Впрочем, разнообразные способы, коими устраиваются небесные знаменья и многие ложные чудеса в этом роде, уже описаны моими предшественниками, довольно посмеявшимися над всяческим чародейством, так что мне остается лишь предостеречь молодых людей от сношения с колдунами даже из озорства, дабы не сделалось это озорство привычкою. Но я слишком отвлекаюсь от повести своей — стоит ли так долго бранить ремесло, и без того запрещенное природою и законом?

40. Итак, Аполлоний обнаружил перед Дамидом истинную свою природу и потом еще некоторое время беседовал с ним, а около полудня явился гонец с нижеследующим поручением: «Государь разрешает тебя, Аполлоний, от этих оков по ходатайству Элиана и позволяет тебе пребывать в узилище вольного распорядка, пока не придет тебе срок держать ответ в суде, а будет это дней через пять». — «Кто же меня отсюда выведет?» — спросил Аполлоний. «Я, — отвечал гонец, — следуй за мною!» Когда узники вольной тюрьмы вновь увидели Аполлония, то окружили его, будто уже и не чаяли, что он к ним воротится, ибо стосковались по нему, словно дети по ласковому отцу, вразумляющему их кротко и утешительно, да еще и рассказывающему о собственных молодых похождениях, — вот кем был для них Аполлоний, и они ему непрестанно об этом твердили, а он никогда и никому не отказывал в совете.

41. На следующий день, подозвав Дамида, Аполлоний сказал: «Я буду защищаться перед судом в назначенный день, а ты ступай в Дикеархию — проще добраться туда пешком, — передай привет Деметрию и повороти к морю, в ту сторону, где остров Калипсо, чтобы увидеть, когда я к тебе явлюсь». — «Живой или как?» — спросил Дамид. Аполлоний с улыбкой отвечал: «По-моему — живой, а по-твоему — оживший». Дамид говорит, что ушел без охоты, ибо не то, чтобы вовсе отчаялся в спасении Аполлония, однако же и твердой веры в таковое спасение у него не было. На третий день он пришел в Дикеархию, где услышал, что все эти дни бушевала зимняя буря, и по морю пронесся смерч, от коего многие корабли, плывшие к Дикеархии, потонули, а направляющиеся к Сицилии и Проливу сбились с пути, — тут-то Дамид и понял, почему Аполлоний велел ему тогда идти пешком.

42. Нижеследующее происшествие записано со слов Аполлония, рассказ коего слушал также и Деметрий. Некий отрок из Мессены Аркадской, явившись в Рим, привлек там все взоры своею молодою пригожестью, и многие в него влюбились столь страстно, что хотя в числе влюбленных оказался и Домициан, не побоялись быть ему соперниками. Между тем отрок был скромен и соблюдал юность свою в чистоте. Когда бы презрел он золото или деньги, или копей и прочие подобные приманки, коими порой завлекают красавчиков, то не заслужил бы он похвалы нашей, ибо именно в таких правилах и должен быть воспитан всякий мужчина; по юный аркадянин, стяжав почестей больше, чем все на свете царские любимцы вместе взятые, все-таки не соблазнился тем, чем был соблазняем — и так, наконец, по воле самодержавного своего обожателя оказался он в темнице. Там он подошел к Аполлонию, очевидно желая о чем-

то поговорить, однако же от стыда оробел и не решался слова молвить. Поняв причину его робости, Аполлоний сказал: «Молод ты еще быть преступником, а сидишь под замком, совсем как мы, злодеи». — «И притом суждено мне умереть, — отвечал отрок, — ибо по нынешним нашим законам за скромность положена смерть». — «Так же было при Тесее, когда Ипполита за скромность его погубил родной отец». — «Вот и меня погубил отец! Я аркадянин из Мессены, однако он не стал воспитывать меня на эллинский лад, но прислал сюда изучать правоведение, — я и приехал за наукою, а император неверно меня разглядел». Аполлоний, будто не понимая, спросил: «Скажи, мой мальчик, уж не полагает ли государь, что глаза у тебя голубые, хотя — сколько я вижу — ты черноглаз? Или он думает, что нос у тебя кривой, хотя нос-то у тебя прямой, как по линейке, точно у Гермесова кумира? Или он как-нибудь ошибся касательно волос? По-моему, кудри у тебя густые и блестящие! Да и уста твои столь соразмерны, что равно пристало им хоть молчать, хоть говорить, а шея у тебя стройная и голову несешь ты гордо. Неужто государь решил, будто выглядишь ты как-то иначе, ежели жалуешься ты, что он неверно тебя разглядел?» — «Как раз вид-то мой меня и погубил, ибо из-за него император в меня влюбился; но он настолько не щадит предмета своих же восхвалений, что задумал меня опозорить и хочет любиться со мною, словно с женщиной!» Аполлоний был слишком восхищен отроком, чтобы приступить к нему с расспросами, полагает ли он зазорным вместе спать и прочее в этом духе, тем более, что видел, как краснеет юный аркадянин и как тщится выражаться попристойнее. Поэтому Аполлоний спросил только: «Владеешь ли ты у себя в Аркадии рабами?» — «Клянусь Зевсом, конечно — и многими». — «Как по-твоему, кем ты им приходишься?» — «Я — их законный хозяин!» — «А должны рабы слушаться хозяев или могут они пренебрегать повелениями своих господ?» — Тут юноша, сообразив, к какому ответу подводит его Аполлоний, возразил: «Я знаю, сколь сурова и неумолима тиранская сила, посредством коей желают тираны быть господами даже и вольным гражданам, однако я сам себе хозяин и уберегу свою неприкосновенность». — «Но как? Возможно ли защититься словами от влюбленного, который уже с мечом ломится к твоим прелестям?» — «Лучше подставить шею, ибо мечу того и надобно!» — «Я вижу, что ты — истинный аркадянин!» — похвалил Аполлоний. Позднее он упоминал об этом отроке в одном из своих посланий, описав его куда милее, чем удалось мне в повести моей. Восхваляя читателю послания смиренномудрие юноши, Аполлоний сообщает, что тот не был казнен тираном, коего удивил стойкостью своею, но уплыл в Малею и затем в Аркадии был в таком почете, какого не доставалось от сограждан даже спартамцам, стерпевшим порку.

КНИГА ВОСЬМАЯ

1. А теперь отправимся в Судебную палату послушать, как будет Аполлоний держать защитительную речь, — солнце уже высоко, и врата судилища распахнуты настежь для знатных особ. Император, по словам его же домашних, в тот день не прикоснулся к пище, будучи, вероятно, слишком занят приготовлением к суду, ибо в руках у него была какая-то книга, которую он и перелистывал, то впадая в ярость, то чуть успокаиваясь. Приходится вообразить, что гневался он на законы, от коих пошли правила судопроизводства.

2. Что до Аполлония, то он почитал предстоящую тяжбу не столько борьбою за жизнь свою, сколько ученым словопрением, и свидетельство тому мы обнаруживаем уже прежде начала суда. По дороге он спросил провожавшего его писаря, куда они идут, а когда тот сказал, что ведет его в судилище, снова спросил: «А с кем я буду судиться?» — «С кем же, как не с обвинителем! — отвечал писарь, — и судьей будет государь». — «Тогда кто же рассудит меня с государем? Я намерен уличить его в преступлении против философии». — «Да какое ему дело до философии, даже ежели и случилось ему чем-то ее обидеть?» — «Зато философии есть дело до императора, ибо требует она от правителя пристойности». Писарь, весьма довольный таким ответом, — впрочем, он уже и при первом знакомстве выказывал свое благорасположение к Аполлонию, — спросил: «А много ли воды утечет из часов за время твоей речи? Мне положено об этом знать до начала судебного разговора». — «Ежели позволят мне говорить столько, сколько потребно для правосудия, — возразил Аполлоний, — то клепсидре для счета и Тибра не хватит, а ежели придется лишь отвечать на вопросы, тогда времени уйдет столько, сколько надобно для дознания». — «Итак, ты изощрил в себе противные друг другу способности умея об одном и том же говорить хоть долго, хоть коротко!» — «Способности сии не противны, но сходны, ибо ежели кто довольно способен к одному, тот и в другом не оплошает. Есть и еще один род речей, в коем соразмерно сочетаются оба упомянутых способа, по не стану я числить его третьим, ибо он-то и первенствует в словесном искусстве. Что до меня, то я знаю и четвертый способ, для суда отменный, — молчать», — «Ну уж, от этого не будет толку ни тебе самому, ни всем, кому грозит беда!» — «А вот Сократу Афинскому, когда был он под судом, этот способ» оказался очень даже выгоден!» — «Какая тут выгода, когда из-за молчания своего он и умер?» — «Вовсе он не умер, это афиняне так думают».

3. Таково было времяпровождение Аполлония перед приемом с тираном. Наконец подошел он к судилищу и собирался уже войти, когда другой писарь сказал ему: «О тианец, взойди сюда без всего!» — «Это как же? — спросил Аполлоний. — Мыться мы тут будем или судиться?» — «Переданный тебе приказ не относится к одежде, — отвечал писарь, — но государь воспрещает тебе вносить с собою в Судебную палату нательные святыни, книжные свитки, а также какие бы то ни было писчие таблицы». — «Неужто воспрещается также иметь с собою и дубину для дураков, научивших его всем этим глупостям?» Услыхав это, обвинитель завопил: «Государь, колдун грозитя меня побить — научил-то тебя я!» — «Тогда ты превзошел меня в колдовстве, — возразил Аполлоний, — ибо я не сумел убедить императора, что я не колдун, а ты говоришь, что тебе удалось убедить его в противном». А пока обвинитель болтал свой вздор, неподалеку стоял один из Евфратовых отпущенников, якобы присланный Евфратом с донесением о беседах Аполлония в Ионии, а к стати и с деньгами в подарок обвинителю.

4. Вот такая перебранка вышла у них еще прежде суда, а теперь пора рассказать о судебных прениях. Судилище было изукрашено, словно для слушания праздничных речей, а сошлась в нем вся городская знать, ибо император в предстоящем дознании собирался при всем честном народе уличить Аполлония в преступном сообщничестве с опальными сенаторами. Однако же

Аполлоний выказал императору столь великое презрение, что и глазом не повел в его сторону, а когда обвинитель принялся бранить его за надменность и требовать, чтобы взглянул он на всечеловеческого бога, Аполлоний возвел очи к потолку и тем изобразил, что на Зевса он взирает, но тирана, приемлющего нечестивую лесть, полагает порочнее нечестивых льстецов. Тогда обвинитель закричал: «Пора мерить воду, государь, а то, ежели дозволишь ты ему говорить пространно, то он нас задушит своими разглагольствованиями! У меня тут список, где перечислены все статьи обвинения, — вот пусть и отвечает по каждой статье».

5. Император нашел этот совет превосходным и велел Аполлонию оправдываться в желательном для доносчика порядке, но изъял из обвинения некоторые разделы, полагая их недостойными прений, так что свел все обвинение к четырем статьям, каковые должны были, по его мнению, завести подсудимого в тупик и затруднить защиту. Итак, он спросил:

«На каком основании ты, Аполлоний, не одеваешься в общепринятую одежду, но наряжаешься на свой особенный лад?» — «Потому, — отвечал Аполлоний, — что одевает меня кормилица земля и бедным скотам я не в тягость». Тогда император снова спросил: «А по какой такой причине люди именуют тебя богом?» — «А по такой, что всякий человек, почитаемый добрым, отличается званием божества». Откуда усвоил Аполлоний вышеприведенное мнение, я объяснил ранее, в рассказе об индийских его похождениях. Третий вопрос императора был об Ефесской чуме. «По каким побуждениям и по каким приметам ты предсказал, что в Ефесе случится моровое поветрие?» — «Пища моя легче, потому и беду я учуял первым, а ежели хочешь, государь, поведаю я тебе и о причинах чумы». Однако же император, испугавшись, я полагаю, как бы Аполлоний не назвал причиной мора его злодейства и кровосмесительное его супружество, да и прочие непотребные его дела, отвечал: «Нет, эти твои рассуждения мне не надобны». Затем император обратился к четвертой статье обвинения — касательно сенаторов, и здесь не стал ломиться напрямик, но прежде сделал долгий перерыв, порядком поразмыслил, и когда, наконец, приступил к допросу, то казалось, будто он того и гляди изнеможет до бесчувственности. Это было против всех ожиданий, ибо слушатели предполагали, что государь, оставив всякое притворство и не убоявшись назвать сенаторов по именам, громогласно изольет гнев свои на пресловутое их жертвоприношение. Ничуть не бывало! — вместо этого он вкрадчиво спросил: «Скажи-ка мне: вот вышел ты в такой-то день из дому и отправился в некую усадьбу, а там принес в жертву отрока — зачем?» Аполлоний отвечал, словно укоряя мальчишку: «Ладно ты говоришь! Ну конечно — ежели ушел я из дому, то где мне быть, как не в деревне? А ежели так, то уж обязательно свершил я жертвоприношение, а ежели свершил я жертвоприношение, то как было мне не вкусить от жертвенного мяса? Однако же нельзя ли представить еще и достоверное свидетельство таковых моих деяний?» Эти слова были встречены рукоплесканиями, куда более громкими, чем дозволено в государевом судилище. Тут император заметил, что слушатели сочувствуют подсудимому, и, будучи к тому же впечатлен твердостью и разумностью возражений Аполлония, объявил: «Я снимаю с тебя обвинение, но ты останься здесь, покуда не переговорим мы наедине». В ответ Аполлоний со всею отвагою промолвил: «По твоей милости, государь, гибнут от многообразных бедствий города и повсюду на островах — ссыльные, на суше — стенания, в войске — трусость, в сенате — подозрительность! Ежели хочешь, дай и мне слово, а ежели нет — вели отнять у меня тело, ибо душу отнять нельзя — а впрочем, даже и тела ты у меня не отымешь —

«Но отступи, не убьешь ты меня, не причастен я смерти!»

— и, сказавши так, он исчез из судилища, что оказалось особенно уместно в сложившихся обстоятельствах. Намерения тирана были очевидны: он предполагал вести допрос не по существу дела, но с особым пристрастием, ибо, не убивши Аполлония, весьма от того возгордился — однако же Аполлоний вовсе не имел в виду ввязываться в дальнейшие словопрения и почитал наилучшим оборотом событий не таить долее природу свою, но явить

вполне, что никак невозможно полонить его помимо собственной его воли. Да притом и не оставалось у него причины бояться за сенаторов, о коих тиран и спросить-то не посмел, тем лишившись повода для убийства, — как же казнить людей, по суду ни в чем достоверно не уличенных? Вот и все, что разузнал я об этом деле.

6. У Аполлония была составлена речь, которую и собирался он произнести в отведенное правилами время, однако тиран все это время занял описанным допросом — так пусть хотя бы в повести моей найдется место слову Аполлония! Я отлично понимаю, что любителям праздновитийственных вывертов эта речь придется не по вкусу, ибо сочинена наперекор их правилам — слог не довольно соразмерен, словечки весьма крепкие, да и в выражениях грубость. Тем не менее, памятуя, что Аполлоний был мудрецом, я не могу признать, что было бы сообразно нраву его изощряться в сопоставлениях и противопоставлениях, обращая язык свой в бряцающую трещотку, — все это годится одним лишь витиям, да и тем не слишком надобно. Вот, к примеру, искусство судебного красноречия: выставляемое напоказ искусство это может повредить — нечего-де с умыслом заговаривать зубы присяжным! — зато неявная изощренность помогает выиграть дело, ибо опытный вития потому и опытен, что умеет сокрыть от судей искусство свое. Ну, а ежели ответ держит мудрец — ибо никогда не затеет тяжбу тот, кто и без суда может покарать обидчика! — то надобен ему слог, совсем не похожий на слог судебных говорунов, так что даже и приготовленной речи нельзя казаться заученною наизусть, по должно звучать богодухновенным словом и не без некоторой доли надменности, дабы никоим образом никого не разжалобить, — да и возможно ли мудрецу, не унижаясь до положения просителя, взывать к состраданию присяжных? Кто внимательно слушал меня и Аполлония, тот поймет, что речь его была именно речью мудреца, — вот она.

7. «Прение наше и для тебя, государь, и для меня имеет превеликую важность, ибо грозит тебе беда, какая не грозила никакому иному самодержцу — как бы не вышло перед всеми, что без всякого законного повода ополчился ты на философию! Да и мне досталось хуже, чем некогда Сократу Афинскому, которого обвиняли, будто почитает-де он и проповедует новых богов — но хоть его-то самого никто не называл и не признавал божеством! Однако же, невзирая на столь грозную для нас обоих опасность, не усомнюсь я дать тебе советы, в верности коих вполне убежден, — ибо из-за доносчика, стравившего нас в нынешнем нашем прении, у многих сложилось о тебе и обо мне ложное мнение. О тебе воображали, будто ты согласен внимать лишь голосу гнева своего, а потому даже и убить меня готов — иное дело, возможно ли вообще меня убить. Да и обо мне думали, что я изыщу способ как-нибудь избегнуть судилища, ибо способы удрать были, и верь мне, государь, что было их даже несчетное множество. Все эти сплетни меня достигали, однако же явился я сюда безо всякого предубеждения, отнюдь не порешив о тебе заранее, что ты-де и слушать-то меня не станешь, как положено по правилам, — совсем напротив! послушный законам, ожидаю я здесь законного приговора, но и тебе советую от закона не отступать, ибо по справедливости нельзя тебе быть предубежденным и судить меня, заранее пребывая в уверенности, будто нанес я тебе некий ущерб. Прослышь ты, что армянский царь, или вавилонский царь, или прочие подобные цари, у коих и конницы превеликое множество, и лучников не счесть, и земля золотом полна, и народу — уж это-то я знаю! — тьма-тьмушая, так вот прослышь ты, что этакий царь замышляет погубить тебя и державу твою, ты бы только посмеялся — да где ему до тебя! И, однако, ты веришь, будто учёный голодранец готов схватиться с римским самодержцем, а порукою тебе в том извет египетского доносчика — не от Афины же ты все это разузнал, хотя и говоришь, что она-де тебя опекает! Неужто — свидетель Зевс! — лесь и доносительство нынче дают негодьям такую силу? Во многих мелочах, вроде воспаления в глазу или лихорадки, или ежели пучит у тебя кишки, прибегаешь ты к помощи богов, кои честным врачеванием избавляют тебя от недугов, — так неужто не помогут тебе боги охранить державу твою и жизнь? Не от богов ждешь ты совета,

кого надобно тебе остерегаться и каким оружием сокрушить врагов, нет! сделались для тебя эгидою Афины и десницею Зевса доносчики, которые, по их словам, разбираются в твоих делах получше богов и которые надзирают за тобою во сне и наяву, да только снят ли они когда-нибудь, ежели вечный их труд — черпать подлую воду подлым решетом и сочинять Илиады облыжных доносов?

Пусть они содержат конюшни, и на форум их выкатывает упряжка белых жеребцов, пусть угощаются они с золота и серебра, пусть покупают себе в услужение многотысячных красавчиков, пусть прелюбодействуют до поры тайком, а потом — когда застанут их наконец в постели — женятся на этих своих потаскухах, пусть рукоплещет толпа их славным победам, когда казнишь ты какого-нибудь попавшегося им в лапы и без вины виноватого философа или сенатора — пусть все это так, но оно и понятно: мерзавцы распустились и забыли всякий страх перед законами и народным мнением. Однако они уже настолько возгордились надо всем человеческим, что желают присвоить себе и божественный промысел, а такого я стерпеть не могу, такое и слушать-то боязно! С твоего дозволения они и тебя самого, пожалуй, притянут в суд за оскорбление божественного величества, ибо когда уже не на кого будет им доносить, то очень даже возможно, что останется им сочинять доносы только на тебя. Я понимаю, что скорее упрекаю, нежели оправдываюсь, но да будет мне дано сказать слово в защиту законов, ибо ежели не согласишься ты слушаться законов, то и державе твоей придет конец.

Кто же поддержит поручительством своим эту мою защитительную речь? Призови я Зевса, под властью коего, сколько мне ведомо, прожил я жизнь, как тут же уличат меня в колдовстве и что свел-де я небеса на землю. А ежели так, то не лучше ли обратиться к мужу, коего многие — но только не я! — мнят ныне усопшим, а говорю я об отце твоём, который почитал меня как раз настолько, насколько ты почитаешь его, ибо тебя он сотворил, а мною возрос. Вот он-то и станет, государь, поручителем оправдания моего! Он знаком со мною куда лучше, чем ты, ибо, еще не восприяв державу, он побывал в Египте, дабы принести жертвы египетским богам и поговорить со мною о державе своей, а повстречавши меня, нестриженого и в той же одежде, что и теперь, отнюдь не стал он допытываться о наряде моем, в уверенности, что ежели мое, так непременно хорошее, и объявил, что явился именно ко мне, а после ушел он в радости, сказавши мне такое, чего никому другому не говорил, и услышавши такое, чего ни от кого другого не слышал. Замышлял он овладеть державою, и этот его замысел я весьма укрепил, меж тем как прочие уже старались отговорить его от помянутых намерений, хотя отговаривали безо всякой враждебности, которую мог бы ты вообразить, но — что правда, то правда! — побуждая родителя твоего отказаться от власти, они тем самым и у тебя отнимали право в будущем эту власть обрести. Так или сяк, а я убедил его не почитать себя недостойным войти в дверь, ежели стоит он на самом пороге, и убедил соделать вас наследниками державы, а он, похвалив благодетельность совета моего, сам высоко вознесся и сыновей вознес. Неужто, почитая меня колдуном, сделал бы он меня соучастником заботы своей? Тогда лучше было ему придти и сказать: «А ну-ка, заставь Судьбу и Зевса назначить меня тираном!», или: «А ну-ка, наворожи для меня подходящие знамения и яви-ка мне Солнце, восходящее на западе и заходящее на востоке!» Право, ежели почитал бы он меня искусным чародеем и хитроумными уловками старался бы заарканить державу, которую надлежало обрести доблестью, то я решил бы, что в правители он никак не годится! Притом говорил он со мною в храме и принародно, а для колдовских сборищ храм божий — место самое негодное, ибо святость противна чародейству, и колдуны делают свои дела под покровом ночи, да чтобы ночь была потемнее и чтобы доверчивому дурню нельзя было ничего ни разглядеть, ни учуять. Родитель твой вел со мною еще и частную беседу, однако же и тут с нами был Евфрат и Дион: один — враг из врагов, другой — друг из друзей, ибо никогда не отлучу я Диона от приязни моей. Неужто станет кто толковать о чародействе пред лицом столь ученых — или хотя бы притязующих на ученость —

мужей? Неужто кто не остережется явить подлость свою сразу друзьям и врагам? Да притом и разговоры наши отнюдь не касались колдовства: навряд ли ты думаешь, будто отец твой, взыскав державы, доверял колдунам более, чем себе самому, и добивался от меня, чтобы принудил я богов содействовать ему в достижении желаемого! Совсем напротив, он твердо решил взять власть еще прежде, чем пришел в Египет, а потому беседовал со мною о предметах куда более важных: о законах и о праведном богатстве, и о надлежащем благочестии, и о том, какие милости даруют боги правосудным правителям, — вот о чем желал узнать твой родитель, а колдовское ремесло такой науке противно и враждебно, ибо ежели усилится наука, то всякому колдовству придет конец.

Пора, государь, обратить внимание еще и на нижеследующее обстоятельство. Сколько ни есть искусств у людей и сколь ни многообразны назначения этих искусств, однако же все они — ради денег, хотя от иных денег больше, от иных меньше, а от иных едва хватает на пропитание. Таковы не только ремесленные искусства, но и все прочие, почитаемые умственными или околоумственными, — все кроме истинного любомудрия. К искусствам умственным я причисляю стихотворство, музыку, звездочетную науку, школьную премудрость и красноречие — только не судебное! — а к искусствам околоумственным отношу живопись, ваяние, гончарное дело, кораблевождение и земледелие, ежели сообразуется земледелец с поворотами года, — право же, названные искусства лишь немного уступают умственным. Однако есть еще всяческие поддельные науки и ворожба, каковую ты, государь, отнюдь не должен смешивать с волхвованием, ибо истинное волхвование достойно превеликого почета, хотя я и не могу пока решить, относится ли оно к числу искусств. А вот колдовское ремесло я именую лжеумственным, ибо колдуны утверждают мнимое, отрицают сущее и живы, по-моему, лишь заблуждениями обманутых простаков, ибо чародейная премудрость тверда глупостью тех, кто верит и платит чародеям, а сии искусники весьма охочи до денег и, ежели что измыслят, так уж всегда корысти ради, — потому-то выискивают они тех, кто побогаче, завлекая их обещаниями, будто могут-де добыть все, чего бы те не пожелали. Уж не приметил ли ты, государь, у меня лишних денег, а от того и решил, что я — опытный жулик? А ведь родитель твой почитал меня бессеребренником! Где тут у меня письмо от этого благородного и божественного мужа? Сейчас я докажу правдивость слов моих, ибо отец твой в нижеследующем послании хвалит меня, помимо прочего, еще и за бедность. «Самодержец Веспасиан Аполлонию-философу: радуйся! Когда бы все люди, Аполлоний, пожелали любомудрствовать по-твоему, то премного счастливы были бы и философия и бедность, ибо философия стала бы неподкупной, а бедность добровольной. Будь здоров!»

Итак, да будет мне заступником родитель твой! Превознося неподкупную мою философию и добровольную бедность, он, без сомнения, разумел происшествия в Египте, когда Евфрат и с ним множество притворных любомудров, явившись на поклон к самодержцу, без зазрения совести вымогали у него деньги, между тем как я не только не донимал его такими просьбами, а еще и разоблачил бесстыдство вымогателей. Сам-то я с юных лет брезговал деньгами, так что даже наследственное свое имение — а было оно весьма изрядным! — роздал братьям, родичам и неимущим, ибо уже тогда постиг всю брэнность богатства и потому, как говорится «от родимой печки», приучался ничего для себя не желать. Ходил я в Вавилон, ходил к закавказским индусам, ходил к индусам за Гифас и повсюду соблюдал те же правила, однако о странствиях своих я сейчас умолчу, а скажу лишь, что и в чужих краях не был охоч до денег. Пусть будет свидетелем тому этот вот египтянин — он винит меня, будто я свершал и замышлял такие и сякие злодейства, да только не говорит, много ли я этими злодействами заработал и о какой корысти радел! Неужто я кажусь ему дураком, который сам себя обижает, колдуя даром, пока прочие наживают колдовством пропасть денег? По-моему, это все равно, что торговое

объявление: «Заходите, простофили, я тут колдую и денег не беру! Кому дармовой ворожбы? Уйдете с прибытком, а мне останутся беды да судебные повестки!».

Но, отвлекаясь от подобных глупостей, спрошу-ка я лучше обвинителя, на которую статью его обвинения надобно мне прежде отвечать. А впрочем, стоит ли спрашивать? Сам-то он сначала говорил о моей одежде и еще о том, — свидетель Зевс! — что я ем и чего не ем. Защити меня здесь ты, о божественный Пифагор, ибо вменяемые мне в провинность правила установил ты, а я лишь истово восприял! Итак, государь, все, потребное человеку, родит земля, и потому всякому, кто желает согласия с живыми тварями, ничего, что не от земли, не надобно, ибо иные плоды он у кормилицы своей собирает, а иные пожинает в подобающее всякому овощу время, меж тем как у прочих людей с землею согласия нет, и потому ради пищи и одежи вострят они ножи на чад ее. Этих-то последних и порицают индийские брахманы, а от них тому же научились и нагие эфиопы, а уж отсюда позаимствовал правила свои и сам Пифагор — первый эллин, спознавшийся с египтянами. И вот Пифагор, воротивши земле одушевленных тварей, стал вкушать лишь плоды земные, именуя их беспорочными, ибо они сообразно питают тело и душу. Затем он объявил нечистой одежду из шерсти и кожи — а так одеваются весьма многие, — облекся в холстину и по тому же своему правилу обулся в тростниковые сандалии. От таковой чистоты были ему премногие выгоды, из коих наипервейшая — познание собственной души. Воистину, родился он в те времена, когда троянцы бились за Елену, и был прекраснейшим и вежественнейшим из всех детей Панфа, однако опочил столь юным, что даже Гомер оплакал смерть его. После переходил он из тела в тело по воле Адрастеи — душегонительницы и, наконец, снова вернулся в образ человеческий, явившись на свет сыном Мнесархида Самосского, соделавшись из дикаря мудрецом, из троянца — ионянином и достигнув столь великой непричастности к смерти, что не забыл даже и о том, как довелось ему побывать Евфорбом. Вот кто был пращуром мудрости моей — не сам я изобрел сию науку, но лишь получил ее в наследство от поименованного мужа! А я? Неужто сужу я тех, кто тешится красноперыми каплунами или фасийскою и пеонийскою дичиною, которую кормят на убой ради всеядного их чревоугодия? Неужто укорил я хоть кого за рыбную снедь, которая обходится сиятельным особам дороже, чем некогда обходились коринфские скакуны? Неужто я хоть раз позавидовал пурпурному плащу или мягкотканной и пестроцветной одежде? А вот меня — дивитесь, боги! — тянут в суд за невинные лакомства, за лук да за изюм! Даже и рубищу моему нет от изветчика покоя, и он догола раздеть меня готов, ибо такая-де одежда в превеликой цене у колдунов! А между тем, ежели оставить в стороне рассуждение об одушевленном и неодушевленном и соответственно о чистоте и нечистоте, неужто холст хоть чем-нибудь лучше шерсти? Шерсть добывается от кротчайшей и любезнейшей богам твари: скота сего и боги не стыдятся пасти, да еще — свидетель Зевс! — некогда сия тварь удостоилась златовидности то ли от богов* то ли от преданий людских. Ну, а лен сеют, где случится, ни в каком золоте тут и речи нет, однако же и от живой твари его не стригут, по каковой причине почитают его чистым индусы, а вслед за ними эфиопы — потому-то нам с Пифагором и пристало облекаться в холстину для бесед и молитв и жертвоприношений. Также и ночью почиваем мы под холщовым одеялом чистоты его ради, ибо воистину всякому, кто живет по тем же правилам, что и я, сновидения ниспосылают из всех своих знамений лишь неложные.

А теперь оправдаюсь касательно волос — тех, прежних, — ибо в обвинении значится, что волосы-де у меня нестрижены-нечесаны. Не меня тут должны корить египтяне, но завитых юнцов, кои златыми своими кудрями завлекают дружков и подружек и вместе развратничают! Пусть себе радуются и веселятся, пусть ухаживают изо всех сил за кудрями и умащают их благовониями, а мне завлекательность не пристала, ибо я страстен лишь бесстрашием, и вот мой ответ подобным хлыщам: «О жалкие негодяи! Не порочьте облыжным доношением дорийские заветы, ибо долговласие сие пошло от спартанцев, кои прилежали ему как раз в ту

пору, когда отменно преуспевали в битвах! Потому-то Леонид, царь спартанский, ходил долговласым ради мужества своего, внушая почтение друзьям, а врагам — страх, однако же не ему одному подражали спартанцы долговласием, но равно Ликургу и Ифиту. Да и мудрецу надобно оберегать власы свои от бритвы, дабы не сквернить железом вместилища, в коем обретаются источники всех чувствований и вдохновений, из коего рождается молитва и глагол, изъясняющий мудрость. Вот Эмпедокл некогда повязал власы свои красно-пурпурною повязкою и так щеголял по эллинским улицам, сочиняя вирши о том, что обратился-де из человека в бога, а у меня-то и космы нечесаны, и никаких таких песен петь о них мне надобности не было — и все же волокут меня в суд. Да и что толку говорить об Эмпедокле? Лучше бы воспевал он не себя, а свою удачу, ибо современники не писали на него доносов.

Впрочем, не стоит долее рассуждать о волосах, которые уже острижены, — тут злоба опередила дознание! Та же злоба вынуждает меня теперь отвечать на другое и весьма тяжкое обвинение, исполняющее ужасом не только тебя, государь, но и самого Зевса. Обвинитель говорит будто люди почитают меня богом и будто находятся среди них такие, которые принародно утверждают, что ошеломил-де я их перунами своими. Но право же, прежде чем уличать, следовало объяснить, какими уговорами и какими чудодейственными словами и делами понуждал я людей чтить во мне бога. Никогда не говорил я эллинам о прошлых и будущих воплощениях души моей, хотя мне они и ведомы, никогда не распускал о себе никаких таких слухов, никогда не прорицал и не пророчествовал, а уж без этого на божеский чин и притязать не стоит. Что-то не знаю я ни одного города, в коем был бы издан указ о соборных жертвах Аполлонию, хотя и стяжал я немалый почет у всех просителей, чего бы они не просили. А просили меня порою — исцелить недужных, порою — добавить святости таинствам и жертвоприношениям, порою — искоренить распутство, порою — укрепить законы, и наградою мне была лишь то, что люди становились лучше, чем прежде. Но неужто и этими своими делами я тебе не угодил? Ежели у волопаса в стаде порядок, то и у хозяина он в милости, и ежели попечением пастуха овцы тучнеют, то прибыль достается господину, да и пасечник бережет пчел ради того, чтобы не пришли в запустение хозяйские ульи, — вот так и я для твоей же выгоды исправлял городские дела, не допуская их придти в ничтожество. Пусть бы даже и почитали меня богом — и это заблуждение тебе на пользу, ибо тем усерднее внимали мне люди из опаски не угодить небожителю! Впрочем, таковых заблуждений они не питали, но верили, что человек несколько сродни божеству, а потому единственный из живых тварей познает богов и судит о собственной своей природе и о соучастии ее в божественной святости, ибо самый-де облик человеческий сходен с обликом божьим, как изъясняют нам живопись и ваяние, да и добродетели людские, без сомнения, от богов, и, стало быть, всякий, кто причастен к добродетели, богоподобен и свят.

Не стану утверждать, будто таковые воззрения от афинян: хотя афиняне и стали первыми прозывать людей праведниками, олимпийцами и прочими подобными именами, однако же их и нас научил этому Аполлон в Пифийском своем прорицалище, а было это так. Когда в упомянутый храм пришел из Спарты Ликург, незадолго перед тем составивший законоположение, посредством коего навел порядок у лакедемонян, то Аполлон приветственным глаголом подтвердил славу его и в самом начале вещания изрек, что колеблется, именовать ли ему гостя человеком или богом, а в дальнейшем пророчестве называл Ликурга богом, порешив так потому, что тот был добрый человек. Однако же никакого судебного дознания по сему поводу не состоялось, и не грозили спартанцы Ликургу никакими напастями за то, что он-де причислен к бессмертным, хотя он отнюдь не отрицал пифийского пророчества, с коим согласились и земляки его, — они-то, без сомнения, заранее были уверены, что пророчество точно таким и будет.

Теперь скажу касательно индусов и египтян. Египтяне облыжно винят индусов во многих прегрешениях, но особенно бранят их житейские правила. Впрочем, с учением о Творце всего сущего они согласны и даже сообщили его другим народам, хотя учение сие идет от индусов, а состоит в нижеследующем: есть Творец всякого первоначала и всего сущего, а побудительная причина такового творения в доброте Творца. А я, разделяя упомянутое мнение, утверждаю еще, что, поелику доброта сродни богу, то и в добрых людях заключена некая часть божества. Сотворенный мир прилежит творцу своему и разделяется на части небесную, морскую и земную — этим последним равно причастны люди, хотя доля каждого определяется случайностью. Однако же некий мир прилежит и доброму человеку, заключаясь в пределах мудрости его, — и ты сам согласишься, государь, что миру мудрости и владетель надобен богоподобный. Каково же устройство сего умного мира? Души взбалмошные в безумии своем хватаются за любой порядок, а потому законы у них в упадке, скромности нет, благочестие нечестиво, и жаждут они лишь празднословия и роскоши, из коих произрастает порочная праздность — злая советчица всякому делу. Души хмельные колеблются во все стороны, и никакая сила не усмирит их буйства, хотя бы упились они всеми зельями, кои почитаются снотворными, вроде как мандрагора. Итак, надобен человек для попечения о порядке в таковых душах, и человек этот есть явившийся от мудрости бог, ибо он один способен изгнать из людских душ сладострастные похоти, от коих они дичают и преступают общепринятые обычаи, и он же способен победить корыстолюбие, от коего они жалуются на нищету, ежели только богатства не текут к ним прямо в разинутую пасть. Быть может, такой человек и от убийства сумеет удержать, но смыть с убийцы нечистоту его невозможно ни мне, ни даже богу-Всетворцу.

Теперь, государь, пора ответить на обвинение касательно Ефеса и тамошнего исцеления, а египтянин пусть сам судит, есть ли тут что в пользу обвинения. Право же, обвинение такое, как если бы это у скифов или у кельтов где-то на Истре или на Рейне был город ничуть не хуже ионийского Ефеса, да притом еще и укрепленный против тебя мятежными варварами, и если бы погибал этот город от морового поветрия, а Аполлоний бы явился туда целителем! Впрочем, у мудреца и тут найдется оправдание, ежели только желает полководец одолеть врага мечом, а не заразою, — но мы-то с тобою, государь, никаким городам не хотим погибели, и уповательно не узрю я более такой напасти, чтобы недужные кончались даже во храмах! Однако же нет нам дела до дикарей и до их здравия, ибо они нам даже и не союзники, а злейшие враги, но неужто кому захочется отнять спасение у Ефеса? У Ефеса, чьи обитатели произошли от чистейшего аттического корня, у Ефеса, который процвел, превзойдя все города, сколько их ни есть в Ионии и в Лидии, который простерся в море, ибо земли, на коей был он заложен, ему не достало, который богат ученостью, полон философами и витиями, от коих и сила его, ибо не конницею могуч сей город, но несчетным множеством приверженных мудрости горожан, — так неужто найдется, по-твоему, хоть один мудрец, который бы не постарался для такого города елико возможно? Да притом, ежели помнит этот мудрец, как Демокрит избавил некогда Абдеру от чумы, да ежели знает о Софокле Афинском, который, сказывают, заговорил не ко времени повеявшие ветры, да еще слышал и об Эмпедокле, как остановил он грозовую тучу, дабы не разверзлась она над жителями Акраганта!

Обвинитель меня прерывает, — слышишь, государь? — и говорит, что винят-де меня не в спасении ефесян, но в том, что я заранее напрогнозировал им моровую язву, а это-де для мудрости непосильно и похоже на чудо, так что не явилась бы мне столь великая истина, не будь я колдуном и злодеем. Как тут оправдаться даже и Сократу, который сам объявлял, что познания его — от демона? Как оправдаться обоим ионянам — Фалесу и Анаксагору, — из коих один предсказал богатый урожай маслин, а другой — многие небесные напасти? Неужто пророчества их были колдовскими? По различным обвинениям приходилось им отвечать суду, однако же

никто и никогда не винил их в колдовстве за пророческий их дар — да над такими обвинениями только посмеялись бы! Даже в Фессалии, где о женщинах злословят, будто они хоть луну с неба утащить сумеют, никто не поверит подобным изветам на мудрецов.

Как же сумел я угадать грядущую на ефесян напасть? А вот как. Ты уже слышал, что не ем я обычную пищу, но кормлюсь по-своему легче и слаще иных чревоугодников, — об этом было говорено еще в самом начале. Таковая пища, государь, сохраняет чувствования в некоей несказанной прозрачности, не допуская их помутиться никакою нечистотою и позволяя разглядеть, словно в ясном зеркале, все сущее и грядущее. Потому-то и не станет мудрец дожидаться, пока дохнет заразою земля или — ежели погибель идет сверху — повеет гнильностью воздух; нет, узнает он беду еще за воротами — после богов, однако же прежде многих людей, ибо боги постигают грядущее, люди — сущее, а мудрецы — предстоящее. Что до причин мора, то о них, государь, ты допроси меня наедине — принародно о них говорить нельзя, тут дело похитрее. Вот и выходит, что только пища вроде моей дает чувствованиям превеликую остроту и силу предугадать наиважнейшие и предивные происшествия. Найти доказательства словам моим возможно как умозрительные, так и действительные, а из последних не худшим свидетельством будет именно то, что относится к ефесскому мору, ибо первопричину чумы, принявшую обличье нищего старика, я распознал и, распознавши, одолел, тем не просто прекратив болезнь, но совершенно ее искоренив. А кому я тогда молился, ясно по храму, воздвигнутому в Ефесе в память о названном происшествии, — это храм Геракла Оборонителя, и выбрал я сего бога в помощники за мудрость его и храбрость, ибо избавил он некогда от мора Элиду, смыв с земли пагубную гниль, накопившуюся от Авгиева тиранства.

Неужто, по-твоему, государь, хоть один честолубец, возмечтавший прослыть колдуном, уступит подвиг свой божеству? Откуда же добудет он поклонников искусству своему, ежели станет отсылать их на поклон к богу? Да и какой колдун станет молиться Гераклу? Все эти полоумные бедняги объясняют удачи свои рытьем ям да помощью преисподних богов, но уж Геракла никак невозможно причислить к таковым богам, ибо он чист и к людям милостив. Я молился ему некогда в Пелопоннесе, потому что разоряла в ту пору всю Коринфскую округу кровожадная нежить, пожиравшая пригожих молодцов, — и Геракл помог мне одолеть ее, не требуя взамен никаких особенных даров, но лишь медовую лепешку, да горсть ладана, да подвиг во спасение людей, ибо довольствовался он таковою наградою также и у Еврисфея. Не тяготись же, государь, слушая о Геракле, — воистину, для людей он милосердный спаситель, а потому и Афине любезен.

Однако же ты торопишь меня оправдаться касательно жертвоприношения — это вижу я по мановению десницы твоей, — а ежели так, то выслушай правдивый мой ответ. Воистину, все делал я ради спасения людей, но и ради этого ни разу не заклал я жертвы! Невозможно мне ни свершить заклятие, ни коснуться священной крови, ни даже молиться, взирая на нож или назначенную ему жертву. Уж не принимаешь ли ты меня, государь, за скифа? Не из дикарских стран я сюда явился и никогда я не знался ни с какими таврами и массагетами, а иначе и у них переменял бы жертвенные уставы. Да и с чего бы мне докатываться до подобного безрассудства? Уж столько рассуждал я о волхвовании и когда ему какая сила, уж настолько лучше всех людей постиг, что являют боги промысел свой благочестным мудрецам даже и безо всякого волхвования, — то зачем бы мне марать себя убийством, оскверняясь бесполезными и гнусными потрохами? От таких дел стал бы я нечист и отошел бы от меня глагол небесный!

Впрочем, и помимо ненависти моей к подобным жертвоприношениям, ежели порасспросить обвинителя о предыдущем его обвинении, то тут он сам окажется моим защитником. Говорит же он, будто я безо всяких жертвоприношений предсказал ефесянам мор, — а тогда что мне толку проливать кровь ради познаний, коими я и без того обладаю? Что мне толку волхвовать ради того, в чем заранее уверены и я и мой обвинитель? Право, ежели попал я под суд из-за

Нервы и его товарищей, то лишь повторю сказанное тебе в третьегоднейшем нашем разговоре, когда винил ты меня в этом же самом преступлении: я почитаю Нерву достойным любых должностей и всяческих похвал, подобающих доброй его славе, однако же бремя государственных забот ему непосильно, ибо тело его расслаблено недугом, от коего и разум его столь изнемог, что даже на домашние дела его не хватает, — потому-то и хвалит он тебя за крепость тела и ясность ума, а ничего тут необычного, по-моему, нет, ибо склонность восхвалять то, чего самому недостает, заложена в самой природе человеческой. Да и ко мне питает Нерва известное почтение: никогда я не видывал, чтобы он при мне смеялся и шутил, как то в обычае меж друзьями, но напротив, всегда говорит он со мною с превеликою учтивостью, будто отрок с отцом или учителем, а иной раз даже и краснеет. Притом он знает, сколь похвальна в глазах моих кротость, и от того слишком прилежно упражняет в себе сию добродетель, так что порою кажется мне его самоуничижение чрезмерным. Да неужто кто поверит, будто возмечтал о державе тот самый Нерва, который рад, когда хоть дома-то успеет управиться? Неужто дерзнул бы он обсуждать со мною великое, когда и от всякой малости робеет? Неужто стал бы он со мною делиться замыслами, коими — ежели думал он по-моему — ни с кем делиться невозможно? Да и сам-то я могу ли зваться мудрецом, ежели стану судить о его намерениях, доверяя волхвованию, а не мудрости? А что до Орфита и Руфа, то их я отлично знаю: люди они честные и разумные, хотя и лентяи, а ежели кто взводит на них напраслину, будто взыскуют они тиранствовать, так уж и не ведаю, про кого хуже врут, про них или про Нерву, с коим они якобы в сговоре, — да какие из них заговорщики? Проще поверить, будто Нерва ломится к власти!

Есть и другие обстоятельства, о коих подобало поразмыслить обвинителю прежде, чем призывать меня к ответу, а именно: какая мне корысть от помощи мятежникам? В обвинении не сказано, что получал я от них деньги, или что склонили они меня к преступным деяниям подарками. Остается рассмотреть, не притязал ли я на большее, отложивши притязания свои до того срока, когда заговорщики уповательно овладеют державою, — тут уж мог бы я требовать много, а получить еще того больше, да только возможно ли такое доказать? Вспомни, государь, собственное твое правление и времена твоих предшественников, то есть брата твоего и отца, а еще Нерона, при коем занимали они важные должности, — при этих императорах и прожил я у всех на виду почти всю жизнь, а прежде того путешествовал по Индии. Так вот, за тридцать восемь лет — а ровно столько прошло годов с той поры и до нынешнего времени — ни разу не переступал я царских порогов, разве что в Египте видался с родителем твоим, однако не был он еще в ту пору самодержцем, а в Египет явился, по его же словам, ради меня. Никогда не пресмыкался я перед государями для подлой корысти — хоть с ними самими говоря, хоть с народом о них, никогда не похвалялся, что получаю-де письма от императоров и сам им пишу, никогда не льстил владыкам в надежде на подарки. И все таки, ежели ты, поразмыслив о бедности и богатстве, спросил бы меня, к которому разряду я себя причисляю, я бы ответил: к богачам из богачей, ибо ничего мне не надобно, а это — точно как все сокровища Лидии и Пактола. Так неужто стану я, и от вашего-то семейства ничего ею бравший, хотя и почитал владычество ваше прочным, дожидаться подарков от тех, кто еще и не правит, но лишь со временем то ли овладеет, то ли не овладеет державою? Зачем замышлять мне смену правления, ежели не старался я ни о каких наградах, даже и от предержавших властей? Сколько может заработать философ, польстивши сильным мира сего, видно по Евфрату, — да что тут говорить, не одни деньги он заработал! Всякого добра у него хоть пруд пруди, так что он уже сговаривается с менялами, словно какой-нибудь лавочник или приказчик, или мытарь» или ростовщик, — ради купли-продажи он на все готов! Вот он-то всегда отирается у дверей вельмож, привратника там реже встретишь, чем его» так что эти самые привратники часто гонят его в тычки, словно прожорливого пса. Зато никакому философу он ни разу и медяка не подал, деньги у него в кубышке, а что осталось, тем он платит этому вот египтянину, востря язык, который лучше бы окоротить.

Впрочем, Евфрата я оставлю тебе, ибо ты, ежели противна тебе лесть, найдешь его еще гнуснее, чем сумел я описать, а ты дослушай лишь мое оправдание. Где тут следующая статья обвинения, чтобы мне отвечать? Вот тут, государь, обвинитель прямо-таки причитает над аркадским отроком, коего якобы прирезал я темной ночью — уж не знаю, не во сне ли? — и который назван сыном честных родителей, да притом еще и пригожим, ибо аркадяне и в нищете красивы, и он-де плакал и просил, а я его-де все равно прикончил и после, обагрив руки детскою кровью, молил богов открыть истину о грядущем. До сих пор винили только меня, а тут еще и на богов взводят напраслину, ибо далее сказано, будто боги молитве моей — этакой молитве! — вняли и даровали жертве моей благие приметы, отнюдь не покарав меня смертью за нечестие. Стоит ли говорить, государь, что обо всех этих гнусностях и слушать-то гнушно? Однако же, отвечая только за себя, спрошу еще: а кто этот аркадянин? Ежели взаправду род его не безвестен и звание его не рабское, то пора тебе любопытствовать, как зовутся родители его, и из какого он дома, и в каком из аркадских городов вскормлен, и от каких алтарей уволокли его сюда заклятия ради, — изветчик-то об этом ничего не говорит, хотя и горазд врать! Выходит, что винят меня в убийстве раба, ибо к какому званию, кроме рабского, подобает причислять того, у кого нет ни имени, ни рода, ни города, ни отеческого дома? Воистину так, ибо — клянусь богами! — повсюду безымянность. Ну, а тогда, где торговец, продавший раба? И где тот, кто купил его в Аркадии? Похоже, что отрок — из той породы, которая особенно хороша для гаданий по потрохам, но ежели так, то и куплен он за большие деньги, да еще кто-то нарочно плывал в Пелопоннес, чтобы доставить его из Аркадии сюда. Рабов — хоть из Понта, хоть из Лидии, хоть из Фригии — можно купить и тут, всякий видел, как гонят их сюда стадами, ибо эти и все прочие дикари всегда были в подчинении у чужеземцев и до сей поры не почитают рабство зазорным, а у фригийцев в обычае продавать даже и детей и родичей, отнюдь о том не сожалея. Но эллины еще любят свободу и никакой эллин ни за что не продаст соотечественника на чужбину, а потому охотникам за рабами и работорговцам в Элладу ходу нет, а уж тем паче в Аркадию, ибо аркадяне изо всех эллинов самые вольные и притом им самим надобно рабов побольше. В Аркадии обширные нивы и пастбища, да и лесов много — не только по склонам гор, но и повсюду в долинах, — вот и надобно аркадянам без счета пахарей и пастухов, и свинопасов, и козопасов, и волопасов, и погонщиков для быков и лошадей, а еще надобны им во множестве лесорубы, так что этому ремеслу обучают в Аркадии с малолетства. Но пусть бы страна у аркадян была не такова, пусть бы не различалась она от всех прочих стран, и пусть бы аркадяне продавали детей своих в рабство — какая польза для пресловутой моей мудрости в том, чтобы заклать именно аркадянина? Или аркадяне настолько умнее всех прочих эллинов, что даже и потроха у них изо всех человеческих потрохов самые многозначительные? Куда тем! Аркадяне — из неучей неучи и во всем прямые свиньи, так что не зря кормятся они желудями. Похоже, что в защите своей впал я в несвойственное мне витийство, принялся расписывать аркадские нравы и завел свою речь в Пелопоннес, а подобает ответить на обвинение так: никаких жертв я не приносил и не приношу! Даже жертвенной крови, уже пролившейся на алтарь, я не касаюсь, ибо таков завет Пифагора и сподвижников его, и такие же правила у нагих египтян, равно как и у индусов, от коих и повелись начала премудрости Пифагоровой. Тех, кто следует названным заветам, боги отнюдь не почитают неправедными, но дозволяют им жить до старости в телесном здравии, не зная недугов, непрестанно возрастая мудростью, не поддаваясь тиранству и ни в чём не ведая нужды. По моему, очень даже справедливо просить у богов милостей за чистые приношения! Право, я уверен, что боги держатся о жертвах такого же мнения, что и я, и что богатые ладаном земли расположили они на чистом краю вселенной как раз для того, чтобы не губили мы железом живых тварей и не кропили алтари кровью, но воскурjali бы богам благовония. А вот у обвинителя выходит, что позабыл я богов и себя самого и свершил жертвоприношение против всех своих правил — да и против всяких человеческих правил!

Названное в доносе время также опровергает возводимый на меня извет. Пусть, ежели в тот самый день, когда якобы свершил я преступление, итак, ежели в тот день был я в деревенском поместье, то и вправду заклал жертву, а ежели заклал, то и мяса отведал, — однако же спроси-ка меня, государь: а вдруг я в тот день и из Рима-то не уходил? Вот ты, о наилучший из государей, бывал в окрестностях Рима, однако не признаешь на этом основании, будто приносил человеческие жертвы! Да и обвинитель мой там бывал — так ведь и он не признается в человекоубийстве! И такое же можно сказать о тысячах людей — лучше уж выдворить их по месту жительства, чем предъявлять им обвинения, из коих явствует, что самое присутствие в Риме есть доказательство свершенного злодеяния. Уже то, что я пришел в Рим, очевидно опровергает мое участие в заговоре, ибо жить в городе, где повсюду глаза и повсюду уши, которые слышат, что есть и чего нет, не очень-то пристало заговорщикам, если только не торопятся они помереть, потому что в таких обстоятельствах люди разумные и осторожные даже дозволенными делами занимаются с опаскою.

Но скажи все-таки, обвинитель, что делал я в ту пресловутую ночь? Когда бы спросил ты об этом самого себя, коли уж явился задавать вопросы, то пришлось бы тебе ответить: я измышлял ябеды и обвинения против честных людей, старался погубить невинных и обмануть государя, дабы опозорился он ради моих успехов. Ну, а ежели спросишь ты меня, то как философ я отвечу, что радовался смеху Демокриту надо всеми людскими делами, а как человек скажу нижеследующее. Филиск Мелосский, четыре года бывший сотоварищем моим в любомудрии, был в то время болен, а я у него ночевал, ибо занемог он столь тяжко, что от болезни своей скончался. Свидетель Зевс, уж сколько я молился о чуде для спасения жизни его! Найдись хоть какие песнопения Орфеевы, дабы воротить мертвого, уж я бы их наизусть выучил! Да я бы, наверно, и под землю пошел за Филиском, будь туда ход, — до того был он мне любезен истовым своим любомудрием, коему был он привержен в согласии с уставами моими.

Все вышесказанное, государь, ты можешь услышать и от консуляра Телесина, ибо он также был при Филиске и ходил за ним в ту ночь не меньше моего. А ежели не доверяешь ты Телесину — как-никак он тоже из философов, — то призываю я свидетелями лекарей, а именно Селевка Кизикийского и Стратокла Сидонского, а ты спроси у них, правду ли я говорю. Да было при них тогда больше тридцати учеников — найдутся и из их числа свидетели; ну, а ежели стану я приглашать свидетелями еще и домочадцев Филиска, то ты решишь, будто я стараюсь затянуть тяжбу, ибо упомянутые домочадцы недавно отплыли из Рима в отечество свое, дабы воздать усопшему подобающие почести. Итак, выходите, свидетели, — для того вас сюда и звали.

(Свидетельские показания).

Из свидетельских показаний со всею очевидностью явствует, сколь далеко от истины до извета, ибо дело было не в предместье, а в городе, не на открытом месте, а в доме, не с Нервой, а с Филиском, и никого я не убивал, но молился о жизни и не ради державы, но ради любомудрия, и не приемника тебе я назначал, но старался спасти собрата.

При чем же тут аркадский отрок? Что за басни о каком-то заклянии? Зачем уговаривают тебя, будто басни эти правдивы? А между тем и небывалое сбудется, ежели присудишь ты ему быть! Как же порешишь ты, государь, с этим невероятным жертвоприношением? Что правда, то правда, бывали в старину волхвы, весьма искушенные в гаданиях по жертвам, — стоит назвать Мегистия Акарпанского, Александра Ликиянина или Силана Ампракийского: Мегистий был волхвом при спартанском царе Леониде, ликиянин — при Александре Македонском, а Силан — при том Кире, который домогался царства. Ежели и содержатся в человеческих потрохах некие наияснейшие и премудрые и правдивые приметы, то, пожалуй, в те времена подобные обряды были возможны, ибо первоприсутствовали на них цари, у коих хватало и кравчих, и пленников, да притом могли они невозбранно обойти закон, не опасаясь никаких доносов, ежели кого и

прирежут. Думаю, впрочем, что как мне, попавшему сейчас в беду именно по такому доносу, так и вышеупомянутым царям подобные жертвы были противны, и вот почему. Бессловесные твари влачатся на заклание в неведении смерти, так что и нутро у них остается невзбаламученным, ибо не знают они о предстоящих муках. Не то человек: вечно носит он в душе свою смерть, даже когда и бояться-то еще нечего, а тем более невозможно ему, видя смерть прямо пред собою, являть нутром своим какие-то там приметы. Нет, не годится человек в жертву!

Чтобы понять, насколько верны и согласны с природою мои умозаключения, прими, государь, во внимание нижеследующее. Вот печень, о коей опытные гадатели говорят, что она-де есть треножник их волхвования, — однако же, во-первых, чистая кровь содержится не в печени, но в сердце, каковое и гонит эту кровь по жилам через все тело, а во-вторых, поверх печени лежит желчный пузырь, возбуждаемый гневом и страхом, от чего желчь проникает внутрь печени. А именно, вскипая от раздражения и не довольствуясь собственным своим вместилищем, желчь выплескивается в печеночные протоки и так совершенно заливают гладкие доли, назначенные для гадания, а от страха желчь, напротив, сгущается и впитывает с гладких долей весь свет, ибо тогда убывает даже чистота крови, дающая печени свойственный ей лоск, потому что в упомянутых случаях кровь сообразно природе своей оттекает к предсердиям, струясь поверх желчной гущи. А тогда, государь, что толку в жертве, в коей и смысла-то не доищешься? А бессмысленность эта — от самой природы человеческой, ибо человек ведаёт свою смертность, и когда люди отходят, то смелые умирают во гневе, а трусливые в страхе. По таковой-то причине и волхвы — кроме вовсе уж непонятливых и диких — предпочитают приносить в жертву оводов и козлов, поелику скоты сии глупы и почти бесчувственны, а вот петухи и кабаны, и быки для волхвования не годятся из-за строптивого своего норова. Я понимаю, государь, что рассердил обвинителя, обретя в тебе столь мудрого и ученого слушателя, и кажется мне, что оправдание мое ты приемлешь, — ну, а ежели что-либо высказал я неясно, так можно тебе и переспросить.

Итак, я ответил на обвинения этого вот египтянина, однако полагаю, что невозможно обойти молчанием также и Евфрата с его изветами, а ты суди сам, государь, который из нас более философ. Он только и старается, как бы сочинить на меня какую-нибудь клевету, а я брезгую даже и ответить ему, он видит в тебе самовластного царя, а я законного правителя, он даёт тебе против меня меч, а я вручаю тебе для отпора ему слово.

Итак, Евфрат клеветает о речах, произнесенных мною в Ионии, утверждая, будто говорил я тебе во вред, а было вот что. Говорил я о Судьбе и Доле, а примеры подбирал из царских подвигов, ибо самодержавный ваш удел почитается среди людей величайшим. Рассуждал я о могуществе Судьбы и о том, что Судьбу с пути не своротишь и спряденное не распрядешь, а стало быть, ежели суждена кому-либо держава, коей еще владеет другой правитель, и ежели правитель этот убьёт сужденного своего преемника, дабы не отнял тот державу его, то во исполнение судьбы даже и убиенный воскреснет. В речах у нас принято кое-что преувеличивать для убеждения маловерных слушателей — ну, вроде как если бы я сказал: «Кому назначено сделаться плотником, тот и будет плотником, хотя бы отрубили ему обе руки, а кому назначено быть в Олимпии первым среди бегунов, тот и победит, хотя бы и со сломанною ногою, а кому судила Судьба быть метким стрелком, тот и будет стрелять без промаха, даже если и зрения лишится». Выбирая примеры о царях, я обращался, разумеется, к сказаниям о домах Акрисия и Лаия, и об Астиаге Мидийском, и о многих других, почитавших власть свою прочною: иные из них убили, как им мнилось, детей своих, иные других наследников — и все же потом мнимоубиенные по воле Судьбы явились из безвестности и поотнимали у царей их царства. Будь я склонен к лести, я сказал бы, что вспоминал и о тебе: о том, как осадил тебя некогда на этом холме Вителлий и как сгорел храм Зевса — сгорел на ближайшем к городу склоне! — и как Вителлий говорил, что

ежели ты не сбежишь, то дело сделано, а был ты в ту пору совсем юн, не то, что ныне, однако же Судьба судила иначе, и вот пропал Вителлин вместе со всеми своими расчетами, а ты сейчас вон где! Но не стану я строить лиру свою на льстивый лад, ибо полагаю его неуместным и неблагозвучным, — итак, я обрываю струну, а ты думай, что я о тебе ни разу и не вспомнил, но рассуждал только о Судьбе и Доле, при этом якобы проповедуя против тебя. Пусть так — но почти все боги терпят подобные рассуждения и даже Зевс не гневался, внимая словам о ликиянине: Горе! Я зрю Сарпедону.., да и прочему в этом роде касательно себя самого, например, будто объявляет он, что вручает-де сына своего Судьбе: да и в «Тяжбе душ» сочинитель, хотя по смерти и почтил единокровного Сарпедону Миноса златым жезлом, хотя и посадил его судьей на Аидонепском вече, однако от Судьбы его не избавил! С какой же стати ты, государь, гневаешься на слова, кои даже богам не в обиду, ибо и у них все навеки предопределено? Боги-то стихотворцев за такие речи не казнят! Воистину, подобает нам покорствоваться Судьбе, а ежели наступит в делах перемена, так не тяготиться ею, но верить слову Софокла:

... Старости не зная Одним богам, ниже не ведать смерти, А прочих в сеть поймал всевластный век.

Лучше не скажешь! Счастьем людским ворочает колесо, и всякому благополучию, государь, дан сроком единый день, а после все мое отходит к кому-то другому, а от этого другого еще к другому, от этого к тому — и вот так, что у нас есть, того у нас нет. Памятуя об этом, государь, перестань ссылать, перестань проливать кровь и дай волю философии, ибо истинная философия неуничижима! Утри слезы людские, ибо даже и в сей миг доносится к нам с моря отзвук премногих стенаний, а еще громче рыдают на суше, ибо каждому есть о чем плакать. Выросло здесь столько зла, что и не счесть, а виною тому языки доносчиков, и доносчики эти, государь, тебе клеветают на весь свет, а тебя по всему свету позорят».

8. Вот такая речь была заготовлена у Аполлония, а в конце ее я нашел те же самые слова, коими завершил он защиту свою в суде:

«Но отступи, не убьешь ты меня, не причастен я смерти!»

— и еще несколько стихов, предшествующих вышеприведенному. Итак, когда обвиняемый покинул судилище столь дивным и необъяснимым способом, то чувствования тирана оказались отнюдь не таковы, каковых можно было ожидать, ибо почти все полагали, что он заорет дурным голосом и велит объявить по беглецу всеимперский розыск, дабы поймать его при первой же возможности, — ничего подобного! — то ли он нарочно пошел наперекор общему мнению, то ли понял, наконец, что нет у него управы на Аполлония. Или он просто пренебрег описанным происшествием? Но нет, судя по последующим событиям, нельзя не увериться, что тиран испытывал не безразличие, а превеликое смущение.

9. И правда: после суда над Аполлонием слушалось еще одно дело — кажется, то была тяжба города с гражданином касательно наследства, — однако же у императора вылетели из головы не только имена сторон, но и самая причина тяжбы, ибо вопросы он задавал безо всякого смысла, да и возражал не по существу дела. Этим-то тиран и выдал свое изумление и замешательство, тем более, что льстецы еще прежде успели всех уговорить, будто ничего-де он не забудет и не упустит.

10. Вот так Аполлонию окоротил тирана, внушавшего ужас всем эллинам и варварам, и потешился над ним, словно над игрушкой премудрости своей. Судилище он покинул перед полуднем, а к закату был уже в Дикеархии, являсь к Деметрию и Дамиду, — потому-то и велел он прежде Дамиду не дожидаться суда, но идти в Дикеархию. Названным способом он, не

упреждая вернейшего из друзей о своих намерениях, заставил его, однако же, действовать в согласии с этими намерениями.

11. Между тем, Дамид добрался до Дикеархии лишь накануне. Он рассказал Деметрию о приготовлениях к суду и тот был напуган услышанным куда более, чем подобает тому, кто слушает о приключениях Аполлония, так что еще и на следующий день выспрашивал о подробностях — вот так и бродили они оба у моря, по тому самому берегу, о коем сказывается в сказках о Калипсо. Столь тягостен был для всех гнет тиранства Домицианова, что ни один из них и не надеялся на возвращение Аполлония, но из почтения к святости его оба делали, как было им прежде велено. Наконец, совершенно отчаявшись, они присели передохнуть в пещере нимф, а в пещере этой стоит белокаменный кувшин, заключающий в себе родник, и вода никогда не выплескивается через край, но и не опадает, ежели кто зачерпнет из кувшина. Там они и сидели, беседуя о свойствах упомянутого родника, однако же беседа, омрачаемая тревогою и унынием, шла не слишком бойко, пока не заговорили они снова о предварительном следствии.

12. И вот Дамид, разразившись рыданиями, воскликнул: «Боги! ужели никогда более не увидать нам благочестивого нашего товарища?» Услыхав такие слова, Аполлоний — а он к тому времени был уже в пещере — отвечал: «Увидите или, вернее сказать, увидели». — «Неужто ты живой? — спросил Деметрий. — Потому что, ежели ты мертвый, так мы станем плакать по тебе дальше!» — «Потрогай меня! — промолвил Аполлоний, протянувши ему руку, — и ежели я ускользну, тогда я и вправду призрак, явившийся к тебе от Ферсефонеи, — таких призраков преисподние боги посылают тем, кого вконец одолела скорбь. Но ежели, пойманный, останусь я на месте, тогда заставь и Дамида поверить, что я жив и не расстался с плотью». Тут же Дамид и Деметрий, оставив сомнения, сначала кинулись обнимать и целовать друга, а потом стали допытываться, как он защищался в суде; Деметрий полагал, что никакой защиты и не было, ибо иначе-де Аполлоний бы погиб, пусть и безо всякого приговора, а Дамид думал, что защита состоялась, да только очень уж скоро, — он и вообразить не мог, что суд вершился в этот самый день. «Я защищался, друзья мои, и выиграл дело, — отвечал им Аполлоний, — а случилось это сегодня, совсем недавно, ибо прения длились до полудня». — «Но как же ты успел одолеть столь долгий путь за столь краткое время?» — подивился Деметрий. «Не верхом на баране и не на воощеных перьях, а дальше думай, как хочешь — хоть бога давай мне в провожатые!» На это Деметрий возразил: «Я-то всегда не сомневался, что обо всех твоих словах и делах печется некий бог, коему ты обязан и нынешним твоим избавлением, однако скажи-ка лучше, как ты защищался, ежели защищался, и в чем состояло обвинение, и какой нрав у судьи, и о чем он тебя допрашивал, и с которыми твоими ответами согласился, а с которыми нет. Расскажи все, дабы мог я передать повесть твою Телесину, ибо Телесин не устает о тебе расспрашивать, и вот почему. Дней пятнадцать назад, когда мы с ним пировали в Антии, он задремал за столом и — пока подносили ему кубок — увидел сон, будто пламя волною разливается по земле и иных захлестывает сразу, иных настигает на бегу, и течет дальше, подобно воде, а тебя одного минует участь прочих людей, но плывешь ты, оставляя в огне борозду. После такого сна Телесин свершил возлияние богам в благодарность за доброе знамение, а меня принялся увещевать касательно тебя, чтобы надеялся я на лучшее». — «Не удивительно, что Телесин видел меня во сне, — отвечал Аполлоний, — ежели и наяву издавна обо мне вспоминал, а о суде вы услышите, но только не здесь — вечер поздний, и пора идти в город. За разговором и дорога веселее, так что пойдемте, а заодно потолкуем о любопытных для нас предметах, и я, конечно же, расскажу, что сегодня приключилось в судилище. Как обстояли дела до суда, вы оба знаете: ты, Дамид, всему очевидец, а ты, Деметрий, обо всем слышал, да к тому же — свидетель Зевс! — не раз и не два, ежели не забыл я, каков ты есть. А я расскажу о том, чего вы пока не ведаете, и начну с

вызова в суд и с приказа «взойти без всего». И так поведал он им обо всех своих речах, и о завершительном «не убьешь ты меня», и о том, как покинул он судилище.

13. Тут Деметрий воскликнул: «Я-то думал, что ты явился сюда, избавясь от беды, а твои беды только начинаются! Да он теперь объявит тебя вне закона и схватит, а деваться тебе будет некуда!» Однако же Аполлоний обнадежил перепуганного Деметрия, промолвив: «Вас бы так ловили, как меня он ловит! Я в точности знаю нынешние его чувствования: он всегда слушал одних льстецов и вот сейчас получил отпор, а возражения сокрушают тиранский нрав, хотя и злеет он от того пуще прежнего. Впрочем, пора мне отдохнуть — с начала тяжбы я еще не присел». Тогда заговорил Дамид: «Что до меня, Деметрий, то мое мнение о делах Аполлония было таково, чтобы и вовсе не ходить ему туда, откуда он нынче воротился, да и ты ему вроде бы советовал это же самое — что не надо-де по доброй воле пускаться навстречу тяготам и бедам. Но когда был он на моих глазах закован в железа, и я уже почитал дело его пропащим, он сказал мне, что может освободиться, едва того пожелает, а в доказательство вытащил ноги из кандалов — вот тут-то я в первый раз понял, что он за человек, а человек он святой и разумению нашему непостижимый. Да попади я теперь в беду, хуже прежней, — с ним мне никакая напасть не страшна! Однако же вечереет и пора нам отправляться под крышу, чтобы устроить его поудобнее». — «Я хочу только одного — спать! — воскликнул Аполлоний. — Все прочее мне безразлично, хоть бы и ничего больше не было». Сказавши так, он помолился Аполлону и отдельно Солнцу, а затем пошел в дом, где был на постое Деметрий. Там он вымыл ноги, велел спутникам Дамида поужинать — они глядели голодными, — бросился на кровать и, восславив дремоту строкою Гомера, крепко уснул, словно и не было у него никаких достойных внимания забот.

14. На рассвете Деметрий спросил, куда Аполлоний теперь денется: ночью ему мерещился топот копыт, и он решил, что за виновником тиранского гнева уже послана конная погоня. «Ни этот, ни иной тиран меня не догонят, — отвечал Аполлоний, — а плыть я намерен в Элладу». — «Опасная затея, — возразил Деметрий, — ибо слишком там все на виду! Сумеешь ли ты спрятаться на открытом месте от того, от кого и в темноте-то не убежать?» — «А мне нет нужды прятаться! Ежели, как выходит по-твоему, во власти тирана вся земля, то уж лучше умереть, на людях, чем жить притаясь». Сказавши так, Аполлоний оборотился к Дамиду и спросил: «Не знаешь ли, который корабль на Сицилию?» — «Знаю, — отвечал тот, — потому что мы тут живем у самого моря, и корабли объявляют прямо-таки у нас под дверьми. Корабль вот-вот отчалит, судя по тому, как галдят моряки и какая возня около якорей». — «Ежели так, — промолвил Аполлоний, — то давай, Дамид, взойдем на этот корабль и отправимся на Сицилию, а оттуда в Пелопоннес». — «Согласен — плывем!» — воскликнул Дамид.

15. Итак, они на прощание уговорили опечаленного Деметрия не тревожиться о них и мужественно полагаться на их мужество, а затем: отплыли на Сицилию — ветер был попутный, так что из Тавромения в Мессану они прибыли на третий день. Оттуда они посуху добрались до Сиракуз, а в начале осени отправились в Пелопоннес и, после шестидневного плавания, вошли в устье Алфея, из коего упомянутая река на-поет Адриатические и Сицилийское моря пресною водою. Сойдя на берег и порешивши, что лучше повернуть в Олимпию, они по прибытии поселились в святилище Зевса и не ходили оттуда дальше Скиллунта, однако же по всем эллинским странам сразу пошла громкая молва о том, что Аполлоний жив и пребывает в Олимпии. Поначалу эти толки казались пустыми, ибо когда дошел до эллинов слух о заключении Аполлония, то они уже не уповали на его спасение, да притом ходили еще слухи о казни его, будто то ли сожгли его на костре, то ли зацепили ключицы его крючьями и так размыкали живьем, то ли сбросили в пропасть, то ли утопили в море. И вот, едва подтвердились известия о возвращении Аполлония, сразу повалило к нему со всей Эллады столько пароду, сколько и на ристания не сходились: шли из Элиды и Спарты, шли из Коринфа, шли из-за Истма, так что и

афиняне, хотя и далеко им до Пелопоннеса, не отстали от прочих и также толпились у врат Нисы, а особенно добивались войти в храм афинские вельможи и молодые люди, съехавшиеся в Афины со всего света; и еще были в ту пору в Олимпии гости из Мегары, множество беотийцев и аргивян и знатнейшие граждане Фессалии и Фокиды. Иные сумели уже побеседовать с Аполлоном, дабы снова призвать у него мудрости, и остались в уверенности, что услышали много примечательного, а иные еще не дождались встречи и пребывали в страхе, что так и не доведется им послушать сего славного мужа. Когда Аполлония спрашивали, как сумел он избавиться от тиранского плена, то он, полагая ругательные речи неуместными, попросту говорил, что держал-де ответ и благополучно оправдался, однако же явившиеся во множестве италийцы повсюду разнесли рассказ о том, что было в судилище, так что эллины оказывали Аполлонию едва не божеские почести, а пуще всего почитали его святым потому, что отнюдь не тщеславился он подвигами своими.

16. Когда некий юнец из афинских гостей сказал, будто Афина весьма благоволит государю, Аполлоний возразил: «Уж в Олимпии-то уйми ты свою трещотку и не позорь богиню пред родителем ее». Тот, однако же, продолжал докучные свои речи, твердя, что богиня-де по справедливости благосклонствует императору, ибо он-де исполняет в Афинах должность эпони́ма. Тогда Аполлоний воскликнул: «Хоть бы он распорядился Панафинеями!». Вот так первым своим ответом он приструнил болтуна за дурное его мнение о богах, якобы милостивых к тиранам, а вторым ответом намекнул, что афиняне противоречат своему же указу о Гармодии и Аристокитоне, ибо хотя почтили они упомянутых мужей изваянием на вечевой площади за панафинеийский их подвиг, однако по-прежнему ублажают тиранов, назначая их себе в правители.

17. Дамид пришел посоветоваться о деньгах — после путевых издержек денег осталась самая малость. «Завтра я об этом позабочусь», — пообещал ему Аполлоний, а на следующий день, явившись в храм, сказал жрецу: «Дай мне тысячу драхм из Зевсовых денег, ежели не опасешься, что такой заем для него в тягость». — «Отнюдь, — отвечал жрец, — но скорее будет ему в тягость, ежели не возьмешь ты побольше».

18. Повстречавшись в Олимпии с фессалийцем по имени Исагорг Аполлоний спросил его: «Скажи мне, Исагор, какой смысл во всеторжестве?» — «Клянусь Зевсом, да такой праздник для богов усладительнее и милее всего, что ни есть у людей!» — «Но из чего этот праздник состоит? Скажи, как если бы я спросил тебя, из чего состоит кумир, а ты бы ответил, что он сработан из золота и слоновой кости». — «Что ты, Аполлоний, из какого же товара может быть сработано бестелесное?» «Из самого знатного и многообразного: тут и капища, и храмы, и — конечно же! — представления, и племена людские, частью ближние, частью дальние, а то и заморские. Да еще потребно для такого праздника множество ремесел и затей, и надобна истинная премудрость, так что не обойдется дело без стихотворцев и советников, и ученых бесед, да добавь ко всему этому ристания атлетические и мусические, как искони ведется на Пифийских играх». — «И все же сдается мне, Аполлоний, что соборный праздник не столь телесен, как сообщество граждан, и больше дивного в его сущности, ибо он собирает и соединяет славнейшее из славного и честнейшее из честного». — «А ежели так, Исагор, то станем ли мы вослед некоторым людям думать, будто невелико различие между этими вот мужами и кораблями или стенами? Или надобно нам придумать нечто иное?» — «Но ведь мы уже пришли, о тиапиец, к окончательному и верному решению — вот и станем ему следовать, ибо это будет справедливо». — «Нет, ежели поразмыслить по-моему, то решение наше не окончательное: сдается мне, что мужи нужны кораблям, а корабли мужам и что люди и помышлять не стали бы о море, не будь у них кораблей, и касательно стен то же самое — стены обороняют граждан, а граждане обороняют стены. Соответственно и всеторжество есть собрание людей, но также и самое место, где надлежит людям собираться, — и насколько стены

и корабли не явились бы на свет без труда рук человеческих, настолько же такие места руками человеческими преобразованы и лишены естественного своего состояния. Пригодными для собраний были они сочтены по причине природной благоустроенности, однако же, хотя загородки и навесы, и дома, и колодцы соделаны человеческим искусством, точно как стены и корабли, но вот Алфей и рощи, и поля для конных и прочих ристаний были здесь, без сомненья, прежде людей: река — для питья и мытья, пространная равнина — для скачек, долина протяженностью в стадий — как раз подходящего размера для ристателей, коим способно здесь и песок найти для присыпки, и гоняться взапуски, а здешние рощи — для венков победителям и для упражнений бегунам. Воистину, все это и пришло на ум Гераклу, когда прельстился он природными свойствами Олимпии и порешил, что место это подходит для праздников, вплоть до сей поры усердно здесь устрояемых».

19. Сорок дней проведя в Олимпии в премногих ученых беседах, Аполлоний объявил: «Я еще потолкую с вами, господа эллины, и побываю в ваших городах на праздниках, шествиях, таинствах, жертвоприношениях и возлияниях — просвещенный человек всюду пригодится! — а теперь пора мне отправляться в Лебадею, ибо не довелось мне еще спознаться с Трофонием, хотя и посетил я когда-то его храм». Сказавши так, он пустился в Беотию, однако же все почитатели его последовали за ним.

Лебадейская пещера посвящена Трофонию, сыну Аполлонову, а приближаться к ней дозволено не иначе, как ради пророчества. Из храма вход в пещеру не виден, ибо располагается несколько ниже по склону горы и весь огорожен железными столбами, а кто туда спускается, того словно бы затягивает вниз. Паломники облакаются в белые одежды и несут с собою медовые лепешки в подачку ползучим гадам, кои нападают на нисходящих. Иных паломников земля выводит наружу поблизости от этого места, а иных весьма далеко, ибо кое-кто вылезает на свет за Локридским или за Фокидским рубежом, но большинство все же остается в пределах Беотии. Итак, Аполлоний явился в храм и сказал: «Я желаю низойти в подземелье любомудрия ради». Жрецы воспротивились названному намерению и народу объявили, что не дозволят колдуну осквернить святилище, а самого Аполлония морочили разговорами о запретных и негодных для пророчества днях. В один из таковых дней беседовал он близ Геркинского родника о происхождении и свойствах прорицалища — единственного, где божество вещает устами вопрошающего, — а на закате вместе с молодыми своими спутниками спустился к пещере и, выворотив четыре столба, коими был заперт вход, низошел в подземелье, одетый в обычное свое рубище, словно отправлялся вести ученую беседу. Этим он настолько угодил Трофонию, что тот, представши перед жрецами, укорил их за обращение с гостем, а после велел им всем следовать за ним в Авлиду, ибо там-де предстоит Аполлонию выйти на свет и будет-де это куда как примечательнее, чем у прочих паломников. И правда: Аполлоний воротился из-под земли по прошествии семи дней — никому не доводилось прежде столь долго ходить за пророчеством, — и с собою принес книгу, каковая книга была наилучшим ответом на вопрос его, ибо в пещере спросил он бога: «Какое любомудрие почитаешь ты, Трофоний, чистейшим и совершеннейшим?», а в книге содержались поучения Пифагоровы, чья премудрость оказалась удостоверена сим вещим глаголом.

20. Упомянутая книга сохраняется в Антии, по каковой причине Антий — а стоит он на италийском берегу — привлекает ревнителей науки.

Не скрою, что о вышеописанном происшествии я слышал от жителей Лебадеи, но вот касательно книги — тут уж у меня имеется доказательство, ибо позднее книга эта была доставлена императору Адриану вместе с кое-какими, однако же не со всеми, письмами Аполлония и так осталась в антийском дворце, который император любил более прочих своих италийских дворцов.

21. Из Ионии явились к Аполлонию все его ученики — в Элладе их прозвали тиантями — и, соединясь с местными его почитателями, составили целую ватагу молодцов, примечательную как многочисленностью, так и ретивостью в науке. К витийству были они безразличны и весьма мало внимания уделяли наставникам красноречия, у коих все ученье в разговорах, но всецело предались любомудрию Аполлонию. Между тем сам Аполлоний уподобился Гигу и Крезу, о коих сказывают, что держали они казну незапертой, дабы сполна уделять от богатств своих неимущим, — вот так и он уделял от мудрости своей всякому взыскующему, позволяя вопрошать о чем угодно.

22. Однако же некоторые принялись его уличать, что воротит-де он нос от проезжающего начальства, да и слушателей своих склоняет к затворничеству; а когда кто-то съязвил, что гонит-де он в сторону свое стадо, едва за приметив площадного витию, то Аполлоний возразил: «Клянусь Зевсом, верно — незачем этим волкам грызть мою паству!» Что же хотел он этим сказать? А то, что видывал он, как упомянутые витии увлекают толпу и как выходят они из бедняков в богачи, и как рады они всякой распре, когда ожидается им от нее корысть, — вот потому-то и держит он молодых своих учеников подальше от подобных проходимцев, а ежели кто успел с ними спознаться, того наистрожайше вразумляет, словно отмывая от никчемной краски. Аполлоний издавна был не в ладах с судейскими говорунами, а после заточения в римской темнице, поглядев на погибавших там узников, сделался до того предубежден против сего ремесла, что полагал причиною всех злодейств не столько самое тиранию, сколько доносительство и показное красноречие.

23. Как раз в ту пору, когда наставлял Аполлоний эллинов, случилось в небесах знамение, а именно: солнечный круг оказался окружен венцом, каковой венец сходствовал с радугою, словно бы помрачившей сияние светила. Что описанное знамение предвещает перемену в государстве, было ясно для всех, и вот правитель Эллады, призвавши Аполлонию из Афин к себе в Беотию, сказал: «Ты, по слухам, весьма сведущ в божественном». — «Ты, наверно, слышал, что я и в человеческом сведущ», — отвечал Аполлоний. «Слышал и согласен». — «Ну, а ежели согласен, то и не любопытствуй сверх меры о божьем промысле — это тебе совет от мудрости человеческой». Тут правитель приступил к Аполлонию с расспросами, добываясь узнать, что у того на уме, ибо опасался, как бы не наступила вечная ночь, но Аполлоний промолвил лишь: «Гляди веселей — будет и после этой ночи свет!»

24. После описанного происшествия Аполлоний, уже довольно побыв в Элладе — а прожил он там два года, — уплыл в Ионию со всеми своими сотоварищами. В Ионии он по большей части любомудрствовал в Смирне и Ефесе, хотя посещал также и прочие города. Нигде не был он в тягость, но для всех был желанным гостем, а правому делу выходила от него превеликая польза.

25. Наконец соизволили боги прекратить начальство Доминицианово над людьми. Случилось так, что убил он Клемента, мужа вельможного, за коего сам ранее выдал сестру свою, а дня три или четыре спустя велел и ее убить, дабы последовала она за супругом. Тогда Стефан, отпущенник упомянутой матроны — это о нем возвещало небесное значение самыми очертаниями своими, — воспламеняясь негодованием то ли из-за убитого хозяина, то ли из-за всех вообще убитых, сравнился отвагою с вольными афинянами и покусился на жизнь тирана, а сделал так. Он подвязал к левому локтю меч, руку уложил в лубок, будто она сломана, и, подойдя к императору, выходившему из Судебной палаты, сказал: «Надобно нам, государь, поговорить наедине — ты узнаешь от меня кое-что весьма важное». Тиран был не прочь услышать новости и отвел просителя в особый покой, назначенный для государственных его занятий. Тут Стефан сказал: «Твой злейший враг Клемент вовсе не умер, хотя ты так думаешь, но прячется в известном мне месте и готовится на тебя напасть». Услыхав такое известие, император разразился громкою бранью, а между тем Стефан набросился на всполошившегося тирана и, выхватив из перевязанной руки меч, ударил его в шею — не до смерти, но для

последующего и то было на пользу. Домициану минуло уже пятьдесят четыре года, однако телом он был крепок, так что даже и раненый бросился в драку: повалил Стефана, прижал, глаза ему вышиб и скулы разбил днищем золотого кубка, приготовленного для священнодействий, да еще и призывал на помощь Афины. Тут стражники поняли, что с императором дело плохо, а потому вломилась и прикончили ополоумевшего и издыхающего тирана.

26. Приключилось все это в Риме, но Аполлоний прозрел свершенное из Ефеса. Около полудня — как раз когда во дворце случилось убийство — он беседовал близ Копейной рощи и вдруг вскрикнул, словно бы от испуга, а потом продолжал рассуждать не в обычную силу, но будто отвлекаемый от речи посторонней помехою, а потом и вовсе замолчал, точно как если бы его прервали, грозно воззрился на землю и наконец, отойдя на три или четыре шага от алтарей, громко возгласил: «Добивайте, добивайте тирана!» И сказал он это не так, как ежели углядел бы в некоем зеркале призрак истины, но как самовидец и соучастник деяния. Жители Ефеса — а слушать Аполлония собрался весь город — пребывали в совершенном изумлении. Между тем он, чуть помолчав и словно ожидая, пока рассеются его сомнения, возгласил: «Мужайтесь граждане, ибо сегодня убит тиран! Да что там сегодня — сейчас, клянусь Афиной, в тот самый миг, когда я обмолвился и онемел!» Обыватели решили, что он сошел с ума, — им и поверить хотелось и боязно было, как бы не вышло беды от слушания столь опасных речей. Тогда Аполлоний добавил: «Меня отнюдь не удивляет ваше недоверие, ибо даже в Риме пока неизвестно о случившемся — но нет! уже известно! новость распространяется, народ поверил, вот они пляшут от радости, вот пляшущих стало вдвое больше, вот уже вчетверо — весь город ликует! Дойдет новость и до вас, да только придется вам праздновать с опозданием, дождавшись объявления, — ну, а я сейчас же иду благодарить богов за то, что узрел».

27. Ефесяне все еще сомневались, но тут прибыли спешные гонцы с радостною вестью, тем свидетельствуя о премудрости Аполлония, ибо-воистину все — и самое тираноубийство, и день, когда оно свершилось, и полуденный час, и убийцы, к коим он взывал, — все оказалось точно таким, как явили ему боги посреди ученой его беседы.

По прошествии тридцати дней было доставлено к Аполлонию послание от Нервы, в коем тот извещал, что милостью богов и Аполлония вступил во владение Римской державою и что легче будет ему править, ежели поступит к нему Аполлоний в советники. Аполлоний ответил без промедления, однако же смысл ответа его был темен. Вот слова его: «Пребудем мы вместе, государь, многие веки, и в оное время ни нам, ни над нами никакой власти не будет». Наверно писал он, зная, что и ему самому недолго осталось жить среди людей, да и Нерве недолго править, ибо длилось правление его единый год и еще четыре месяца, а после сей смиренномудрый государь опочил.

28. Впрочем, не желая являть императору и доброму другу неучитивого равнодушия, Аполлоний затем написал Нерве снова — на сей раз уже и касательно государственных дел — и, позвавши Дамида, сказал: «В этом деле не обойтись без тебя, ибо я тут пишу государю о некоторых, не подлежащих разглашению, предметах, и тайна сия столь сокровенна, что в письмо это можно заглянуть лишь нам с тобою». Дамид говорит, что слишком поздно понял хитрость: слог послания был превосходен, касалось, оно весьма важных дел — и все-таки доставить его мог кто угодно. В чем же состояла хитрость Аполлония? Рассказывают, что всю свою жизнь частенько он приговаривал: «Живи тайком, а ежели не умеешь, так хоть помирай тайком!» Вот он и отослал Дамида, дабы отойти без свидетелей, а предлогом ему было письмо, из-за коего пришлось тому отправляться в Рим. Сам Дамид говорит, что хотя и не знал о намерениях Аполлония, однако же сильно страдал из-за предстоящей разлуки, меж тем как Аполлоний, отлично все знавший, ничего особенного ему не сказал, будто и не предстояло им никогда более не свидеться, — столь велика была его вера в то, что пребудет он вовек! — но лишь

посоветовал: «Не забывай меня, Дамид, даже когда придется тебе любомудрствовать в одиночку».

29. Вот этим рассказом и завершаются записки Дамида Ассирийского об Аполлонии Тианском. О том, как умер Аполлоний — ежели умер, — рассказывают всякое, но у Дамида об этом ничего не говорится. Тем не менее, мне нельзя умолчать об упомянутых толках, ибо надобно довести сию повесть до естественного её края. У Дамида ничего не сказано также и о годах Аполлония, а было ему по иным сведениям восемьдесят лет, по иным — за девяносто, а по иным — и за сто перевалило, хотя был он телом кренок и статен, красоты же ему с годами лишь прибавлялось. Право, есть некая прелесть и в морщинах, а у Аполлония в особенности, как это явствует из картин в Тианском храме и из рассказов, в коих старости Аполлония достаётся больше похвал, чем доставалось некогда юности Алкивиадовой.

30. По некоторым преданиям, опочил Аполлоний в Ефесе и ходили за ним две служанки, ибо отпущенники, коих упоминал я в начале моей повести, к этому времени уже умерли. Одной из названных служанок он дал вольную, и тут другая принялась его корить, зачем и ей нет такой же милости, но Аполлоний возразил: «Полезно тебе побывать вот у нее в рабстве, ибо с того начнется твое благоденствие». После его смерти служанка досталась во владение отпущенице, а та по неким не стоящим внимания причинам отдала ее внаймы лавочнику, а тот купил ее и, хотя она отнюдь не была миловидной, воспытал к ней страстью — и так этот богач взял ее в жены, и дети их родились законными.

По другим преданиям, Аполлоний преставился в Линде — вошел в храм Афины и там исчез. Однако же иные утверждают, что жизнь свою он окончил на Крите и что было это куда как удивительнее, нежели в рассказе о Линде. Жил он якобы на Крите, где восхищались им пуще прежнего, и однажды позднею ночью пришел в храм Диктинны, а названное святилище стерегут псы, коим положено охранять храмовые богатства. По мнению критян, эти псы не уступают свирепостью медведям и прочим подобным хищникам, но на Аполлония они даже не залаяли, и, сбежавшись, стали к нему ластиться, как не ластись и к давним знакомцам. Тогда храмовые служители схватили его и связали как колдуна и грабителя, объявив, будто подбросил он псам какую-то сладкую подачку. Около полуночи Аполлоний отряс с себя узы, и, кликнув тех самых служителей — дабы ничто не осталось тайным, — быстрым шагом поспешил к дверям святилища. Двери распахнулись настезь ему навстречу, но едва он вошел, снова захлопнулись, словно бы затворились, и послышалось изнутри девичье пенье, а песнь была такая: «Ввыспрь от земли, вдаль к небесам, гряди горе!», что означает: «Вознесись от земли к небу».

31. И еще после кончины своей проповедовал Аполлоний о бессмертии души, изъясняя истинность сего учения, однако же и предостерегая от чрезмерного любопытства к сему великому таинству, а было это так. Явился в Тиану некий юноша — охотник до споров, правдивому слову отнюдь не внемлющий. Аполлония уже не было среди людей, и народ дивился его кончине, однако же никто не осмелился и заикнуться, будто отошедший не бессмертен, а потому все только и толковали, что о душе, ибо местная молодежь была страстно привержена к наукам. Вступив в разговор, упомянутый юнец — а он и в бессмертие души совершенно не верил — объявил: «Слушайте, вы! Вот я уже десятый месяц без устали молюсь Аполлонию, да ниспошлет он мне слово о душе, а он до того помер, что, невзирая на мои молитвы, даже и не показался, а тем паче никак не удостоверил меня в бессмертии своем». Так он сказал, а на пятый день после того, порассуждав все о том же предмете, уснул не сходя с места. Из юных его собеседников иные сидели над книгами, иные твердили геометрию, царапая чертежи свои прямо на земле, — и вдруг спящий вскочил и еще в полудреме завопил, словно одержимый, обливаясь потом: «Я верю тебе!» Тут все приступили к нему, любопытствуя, что же с ним случилось, а он ответил: «Неужто вы и сами не видели премудрого Аполлония? Только что он был среди нас, прислушался к нашему разговору, а потом пропел предивные стихи о душе!»

— «Где же он? — спросили товарищи. — Отнюдь не являлся он к нам, хотя было бы нам это желаннее всех радостей человеческих!» На это юноша промолвил: «Похоже, что приходил он ко мне одному, дабы разубедить меня в моем неверии. Итак, внимайте божественному глаголу:

*Смерти не знает душа и, промыслу токмо подвластна,
Словно стреноженный конь на волю из тленного тела
Резво рвется она, отрясая постылые путы,
Дабы в родимый эфир воротиться от мук многотрудных.
Срок придет и поймешь, а ныне без толку толки:
Ты средь живых и жив — не в прок тебе эта наука!*

Сие откровение — словно пророческий треножник, воздвигнутый Аполлоном ради таинства души, дабы шли мы по сужденному судьбою пути в радостном сознании собственной нашей природы. Могилы Аполлония — ни подлинной, ни мнимой — мне видеть не довелось, хотя и обошел я множество стран, повсюду слыша предания о святости его. Что до Тианского храма, то воздвигнут он наподобие святилищ кесарских, ибо даже императоры не отказали разделить с Аполлоном подобающие им почести.

ПИСЬМА

1. К Евфрату

Я в дружбе с философами, но ни с софистами, ни с грамматиками, ни с прочим подобным сбродом я дружбы не веду, да и в будущем не намерен. Так что ежели ты не из их числа, то нижеследующие слова тебя не касаются, а ежели и ты таков — очень даже касаются. Усмири свои страсти и учись быть философом, а против истовых любомудров не зlobствуй, ибо уже близок ты к старости и смерти.

2. К нему же

Добродетель бывает природная, наживная, упражненная, и каждым из названных способов обрести ее похвально. Вот и проверь, осталась ли у тебя хоть какая добродетель, и перестань обучать суемудрию или по крайности учи своих знакомцев задаром — ты и так уже скопил мегабизовы богатства.

3. К нему же

Ты объездил все края от Сирии до Италии, выставляя себя напоказ в городах, именуемых кесарскими. Отправился ты, имея при себе лишь одежду да седую бороду по пояс, а сверх того ничего у тебя не было. Как же вышло, что нынче ты приплыл на корабле, битком набитом серебром и золотом, и всяческой рухлядью, пестрым тряпьем и прочими побрякушками, не говоря уже о спеси, бахвальстве и злонравии? Что это за товар и что за новый способ торговли? Зенон торговал лишь сушеными смоквами.

4. К нему же

Немногого было бы тебе довольно для дворни твоей, услужай она философу! Не пристало тебе и мечтать о том, чтобы заполучить больше необходимого, да и с бесчестием в придачу! Но раз уж случилось так, скорее постарайся поделиться хоть частью имения своего — ведь есть у тебя и отечество и друзья.

5. К нему же

Из Эпикуровых сочинений то, которое именуется «Об удовольствии», не нуждается более в оправданиях посетителей Сада или иных последователей упомянутого философа, ибо уже явился в Стое наиправдивейший его защитник. А ежели ты в задорной поперечности пренебрежешь Хрисипповым учением и уставом, то вот тебе слова из послания императора: «Евфрат урвал и снова урвал» — а Эпикур не стал бы дорываться!

6. К нему же

Я спрашивал богачей, ожесточаются ли они сердцем, и они отвечали: «А как же иначе?» Тогда я спрашивал о причине таковой неизбежности — и они винили богатство. Ну, а ты, горемыка, лишь недавно выскочил в богачи.

7. К нему же

Едва успел ты примчаться в Эги и разгрузить там корабль, как уже невтерпеж тебе назад в Италию, чтобы опять — по обыкновению своему — пресмыкаться перед ветхими и недужными,

перед старухами и сиротами, перед богачами, хлыщами, мидянами, гетами. Не зря говорится, что купец должен трясти всех подряд! А по мне — уж лучше обчистить солонку в храме Фемиды!

8. К нему же

Почему бы и тебе не написать что-нибудь? Хоть бы хватило у тебя и на это подлости — тут-то было бы тебе раздолье твердить привычные и в зубах навязшие изветы! «Аполлоний сроду не мылся!» Да, и к тому же в доме у него не прибрано, а ноги грязные. «Никто не видал, чтобы он хоть пальцем пошевелил!» Да, ибо в движении у него лишь душа. «Он весь зарос диким волосом!» Да, ибо он эллин и выглядит как эллин, а не как варвар. «Одет в дерюгу!» Да, ибо жрецу приличествует лишь чистейшее. «Он волхвует!» Да, ибо слишком многое нам неведомо, так что иначе невозможно провидеть будущее. «Философу не пристало заниматься подобными делами!» А вот богу пристало. «Он облегчает телесные муки и избавляет от боли!» Что ж, в этом можно винить и Асклепия. «Он ест один!» Да, потому что все остальные жрут. «Он говорит редко и мало!» Да, ибо не способен всегда молчать. «Он гнушается мяса и вообще всего животного». Да, ибо это помогает ему быть человеком. А ежели возразишь ты, Евфрат, что все это уже написал, тогда добавь еще и такие слова: «Представься случай, он принимал бы деньги, подарки и должности — совсем как я». Нет, не принял бы ни при каком случае. «Все-таки принял бы — не для себя, так для отечества». Город, не ведающий, чем владеет, — не отечество!»

9. К Диону

Лира и флейта веселят лучше слов, ибо они суть орудия наслаждения и управляются искусством, именуемым мусическим, а слово взыскует лишь истины. Да будет это для тебя правилом, коли уж взялся ты рассуждать о сем предмете.

10. К нему же

Кой-кто доискивается до причины, почему я перестал рассуждать в многолюдных собраниях. Да будет ведомо всем, кого это заботит, нижеследующее: никакое слово не приносит пользы, ежели сказано не с глаза на глаз, а, стало быть, всякий, кто беседует иначе, беседует лишь ради суетной славы.

11. К городскому совету Кесарии

Прежде всего и во всем надобны людям боги — это первое. Затем надобны им города, ибо надлежит почитать свое отечество на втором месте после богов, так что для всякого здравомысленного мужа городские дела важнее прочих. А ежели город — не просто город, но в Палестине величайший и все города превзошедший силою, законами, обычаями, бранной доблестью предков, а еще более мирными нравами, то такой город — а ваш-то именно таков — для меня, да и для всякого разумного человека, превосходнее и почтеннее остальных. Уже одно это, без сомнения, достаточный повод предпочесть ваш город множеству прочих. Но если к тому же город начинает воздавать почести одному единственному человеку — это целый-то город! — да притом пришлому, явившемуся издалека, то чем может ответить вам такой человек, чтобы ответ этот был вас достоин? Только тем, что ежели и вправду любим он богами по некоему природному их к себе расположению, то будет он молиться, дабы снизошла на ваш город всяческая благодать по молитве его — и я поистине не перестану молиться за вас, ибо возрадовался эллинским нравам, кои явились у вас в присущем им благолепии и чрез посредство всеобщего просвещения. Что же до Аноллониды сына Афродисиева, то сей юноша

духа накрепчайшего и достоин зваться вашим именем, а потому, уповая на добрую удачу, я постараюсь образовать его вам на пользу.

12. К городскому совету Селевкии

Город, столь прилежащий богам и достохвальным мужам, не одним своим счастьем счастлив, но и причастен совершенству тех, чью славу свидетельствует. Нетрудно начать счет милостям вашим — напротив, изо всех дел людских такое стало бы наипрекраснейшим! — а вот отблагодарить вас нелегко, ибо непосильно отыскать подобающую благодарность: поистине, никогда не станет первым по природе то, что по порядку поставлено вторым. Итак, надобно мне воззвать к богу с молитвою, да наградит он вас не только за великое могущество ваше, но и за величайшие благодеяния, в коих никто из людей не сумел вас превзойти. Также и пожелание ваше, дабы погостил я у вас, было для меня милостью, ибо и сам я молился, как бы мне у вас побывать. Послы ваши тем почтеннее для меня, что оба — Иероим и Зенои — сделались мне друзьями.

13. К тем же лицам

Стратон покинул людей, оставив земле все, что было в нем смертного, а ныне нам, еще терзаемым в здешней юдоли, иначе говоря — живым, надобно как-то позаботиться о делах его. По справедливости, пусть один сделает одно, другой другое, хоть теперь, хоть позднее, ибо прежде иные звались домочадцами его, иные — просто друзьями, и вот пришла пора подтвердить истинность таковых именованний для будущего. Что до меня, то желая в этом деле особенно для вас постараться, заберу я к себе и воспитаю на свой лад Александра, прижитого покойным от Селевкиды, а будь у него право собственности, так и денег дал бы ему, хотя то, что даю ныне, больше денег.

14. К Евфрату

Всегда и отовсюду донимают меня вопросами, почему это меня никогда не звали в Италию, а ежели звали, почему я не ездил — вроде как ты или кто еще. На первый вопрос я отвечать не собираюсь, ибо не вижу нужды кому-то знать о причинах, меня самого отнюдь не заботящих, а на второй вопрос возможно ли ответить иначе, как: «Скорей уж меня позовут, чем я поеду?» Будь здоров.

15. К нему же

Платон говорил, что у добродетели нет господина. Ну, а ежели кто ни во что не ставит сии слова и с ними не согласен, но, напротив, принимается торговать собою за деньги, тот сам себе творит многих господ.

16. К нему же

По-твоему, магами надобно звать любомудров Пифагорова толка, да заодно уж и Орфеева. А вот по-моему, магами пристало именовать философов какого угодно толка, ежели притязают они на святость и праведность.

17. К нему же

Магами персы именуют тех, кто прилежит святости, а стало быть, маг или служит богу, или по природе своей божествен, а ты — никакой не маг, зато безбожник!

18. К нему же

Естествоиспытатель Гераклит говорил, что неразумие присуще самой природе человеческой. Ежели это верно — а это верно! — то пора бы со стыда сгореть наглецу, дорвавшемуся до суетной славы.

19. К софисту Скопелиану

Всего имеется пять способов слагать слова, а именно: один слог для любомудров, другой для повествователей, а еще для судебных речей, и для писем, и для летописей. Среди названных способов первенствует опять же тот, который и так выделен особенною своею природою и силою, а вторым идет тот, который подражает наилучшему, ибо собственная его природа для совершенства недостаточна. Однако же наилучшее трудно обрести и трудно определить, так что всякому человеку присущ его собственный способ речи, особенно когда он более убедителен.

20. К Домициану

Ежели есть у тебя сила — а она у тебя есть, — то надлежит тебе обрести еще и здравомысленность, ибо будь у тебя здравомысленность без силы, то в такой же мере потребна была бы тебе сила. Всегда и всему надобна пара, как очам надобен свет, а свету очи.

21. К нему же

Лучше держаться подальше от варваров и не дорываться управлять ими, ибо несправедливо благодетельствовать каких-то дикарей.

22. К Лесбонакту

Да будет гражданин беден, а человек богат.

23. К Притону

Пифагор называл врачевание святейшим из искусств, а ежели врачевание столь свято, то надлежит более печься о душе, нежели о теле, ибо не будет никакая живая тварь в добром здравии, когда недужна лучшая ее часть.

24. К элланодикам и элидянам

Вы зовете меня присутствовать на Олимпийских играх и ради этого отправили ко мне послов. Я пошел бы поглядеть на красу телесного состязания, когда бы не удерживала меня забота о более великом состязании — состязании в добродетели.

25. К жителям Пелопоннеса

В Олимпии снова то же: сначала пошла меж вами вражда, а теперь и дружбе пришел конец.

26. К олимпийским жрецам

Богам не надобны жертвы, а ежели так, то что остается сделать человеку в угождение богам? По-моему, следует ему учиться уму-разуму, да по мере сил благодетельствовать тех, кто того достоин. Вот это и мило богам, а жертвы пусть приносят безбожники.

27. К дельфийским жрецам

Жрецы сквернят алтари кровью, а люди потом еще дивятся, почему это нет счастья их городам, меж тем как сами же накликают на себя великие напасти. Вот где невежество! Мудр был Гераклит, однако и ему не удалось убедить ефесян, что грязью грязь не отмыть.

28. К царю скифов

Замолксис был благородный человек и философ, ибо пошел он в ученики к Пифагору, а будь в те времена римлянин вроде нынешнего, то и с ним Замолксис по доброй воле водил бы дружбу. Итак, ежели для свободы надобны, по-твоему, прения и труды, то прослыви любомудром и станешь свободен.

29. К законодателю

Праздники суть причина болезней, ибо хотя и дают отдохновение от трудов, но способствуют пьянству и обжорству.

30. К римским градоначальникам

Ваше начальство верховное, но тогда, ежели умеете вы править, почему из-за вас приходят в ничтожество города? А ежели вы управлять не умеете, то прежде научитесь и тогда уж управляйте.

31. К прокураторам Азии

Что пользы рубить ветви сорных зарослей, оставляя корни их в земле?

32. К ефесским книжникам

Нет пользы городу в каменных истуканах, пестроцветных картинах, гуляниях и зрелищах, ежели недостает ему разума и закона, а разумение и закон не сводятся к вышеперечисленному, но лишь соседствуют.

33. К милетянам

Вашим детям надобны отцы, юношам — старцы, женам — мужи, мужам — правители, правителям — законы, законам — философы, философам — боги, богам — верность. Вы происходите от добрых предков, так воспротивьтесь же нынешнему беспорядку!

34. К мудрецам Мусея

Я побывал и в Аргосе, и в Фокиде, и в Локриде, и в Сикионе, и в Мегаре, и хотя в былые времена доводилось мне учить, но тут я вовсе это оставил. А ежели кто спросит, в чем причина, то вот мой ответ и вам и Музам: «Одичал я не потому, что слишком долго был вдали от Эллады, но потому, что слишком долго был в Элладе».

35. К Гестию

Добродетель и деньги у нас отнюдь не совместны, ибо умножение добродетели умаляет богатство, а упадок умножает. Неужто возможно содержать и то и другое в едином имении? Такое мыслимо разве что для глупцов, у коих и богатство почитается добродетелью! Итак, не позволяй здешним жителям выворачивать мои мнения наизнанку и не допускай, чтобы они думали, будто я богач, а не любомудр. Право же, ничего нет хуже, как ежели порешат, что и

странствую-то я в погоне за деньгами, — это при том, что кое-кто воротит нос от добродетели, хотя и желает себя увековечить.

36. К коринфянину Бассу

Халкидянин Пракситель совсем рехнулся, так что однажды ломился тут ко мне с мечом наголо, а послал-то его ты — ты, философ и судья Истмийских ристаний! — да еще и заплатил этому громиле за убийство, подсунув ему собственную жену. Мерзавец ты, Басс, — а уж сколько я тебе всякого добра сделал!

37. К нему же

Ежели кто в Коринфе спросит, отчего помер отец Басса, то все — хоть местные, хоть приезжие — ответят одинаково: «Отравлен ядом». — «А кто отравил?» Тут уж и соседи скажут: «Философ». И такой-то мерзавец еще посмел причитать, тащась за родительским гробом!

38. К жителям Сард

Не быть вам первыми в добродетели, ибо никакой добродетели у вас нет, а вот ежели приметесь вы добиваться первенства в злодействе, то уж тут ни один не отстанет! Откуда же пошла такая молва о жителях Сард? Да из самих Сард. Поистине, никто ни с кем в этом городе не водит дружбы, никто ни к кому не питает приязни, а потому не оспаривает даже и нелепых изветов.

39. К ним же

Постыдны даже названия ваших сословий — все эти Коддары и Ксириситавры. Вот первые имена, которые вы даете своим детям, да еще и радуетесь, когда они становятся их достойны!

40. К ним же

Коддары и Ксириситавры! Любопытно, как вы именуете своих жен и дочерей? Право, они из тех же самых сословий, да и в наглости вам но уступят.

41. К ним же

Вряд ли стоит надеяться, чтобы ваши холопы питали к вам приязнь: во-первых, потому что они холопы, а во-вторых, потому что почти все они из враждебного сословия. Право же, они породистые — совсем как вы!

42. К платоникам

Когда кто-нибудь дает Аполлонию деньги, то он в случае нужды их принимает, ежели почтет дающего достойным. Но платы за добродетель он не берет даже в нужде.

43. К мнимым мудрецам

Ежели кто называет себя моим последователем, то пусть еще скажет, что сидит безвыходно дома, избегает всяких омовений, не губит никакой живой твари, не ест убоины, чужд зависти, подлости, гнева, злобы и вражды, да притом зовется вольным и свободнорожденным. Надобно носить личину свою с осторожностью, дабы нравом, повадкою и лживыми речами подтвердить поддельную жизнь. Будьте здоровы.

44. К брату Гестиею

Стоит ли удивляться, что повсюду люди почитают меня богоравным, а то и богом, и только мое отечество вплоть до нынешнего дня меня не признает, хотя именно здесь я особенно потрудился для славы своей? Право, даже вам, моим братьям, как я замечаю, до сих пор невдомек, насколько я превосходнее большинства людей нравами и помыслами, — иначе неужто могли бы вы оговорить меня столь жестоким-оговором? Вот и приходится теперь напоминать вам об очевидных обстоятельствах которые и распоследнему невежде растолковывать было бы излишне, — а я обращаюсь к согражданам и к братьям! Впрочем, для вас не тайна, сколь прекрасно всю землю именовать отечеством и весь род людской — братьями и друзьями, ибо все люди суть чада единого бога и единой природы, а потому всем им присуще сходство в помыслах и чувствованиях — все равно, где и как случилось человеку родиться, так что будь он хоть эллином, хоть варваром, он всегда остается человеком. Однако же, поистине, существует еще и безрассудное родство, влекущее родное к родному. Вот и Одиссей у Гомера, как сказывают, предпочел возвращение на Итаку бессмертию, которое сулила ему богиня. Сам я наблюдаю действие этого закона даже среди бессловесных тварей, ибо ни одна птица не ищет ночлега иначе как в своем гнезде, и рыбы, ежели удастся им ускользнуть из сетей, вновь погружаются в глубину, да и зверю ни голод, ни пресыщение не помешают воротиться в родимую нору. В числе прочих тварей произвела природа и человека, а потому, хотя бы он и слыл мудрецом и хотя бы с избытком доставляла ему земля все прочие блага, но не может она произвольно явить очам его могилы предков.

45. К нему же

Ежели всего на свете почтеннее любомудрие и ежели сам я истово ему привержен, то нет оснований подозревать, будто могу я ненавидеть братьев, да еще и по такому низменному и ничтожному поводу. Очевидно, что подозрения эти возникли из-за денег — тех самых денег, коими брезговать учился я еще прежде, чем приняться за науки, а стало быть, разумнее предположить, что прекращение нашей переписки вызвано какой-то иной причиной. Действительно, я остерегался писать тебе правду, дабы не показаться хвастуном, но остерегался и лгать, ибо не желал приbedняться, — то и другое было бы равно докучным для братьев и друзей. Все же теперь я довожу до твоего сведения нижеследующее: заручась божественным согласием, я намерен, встретившись ненадолго со своими родосскими друзьями, отправиться к вам на исходе весны.

46. К Гордию

Говорят, что Гестией тобою одурачен, хоть ты и был ему другом. Берегись, Гордий, как бы не пришлось тебе познакомиться с мужем не измышленным, но сущим! Обними за меня своего сына Аристоклида, который, надеюсь, вырос не слишком на тебя похожим. Впрочем, в юности и тебя не в чем было упрекнуть.

47. К городскому совету Тианы

Вы велите мне воротиться, и я повинуюсь, ибо наивысшее отличие для гражданина, когда родной город призывает его, дабы почитать. Все время, что я странствовал по чужбине, я странствовал, не считите за дерзость, ради вас, дабы стяжать вам хвалу и славу, а также благосклонность и дружбу знаменитых городов и именитых мужей. И хотя вы достойны куда более высокого и блистательного признания, однако же одного меня и природных моих свойств достало лишь на то, чего я и постарался достигнуть со всем возможным усердием. Будьте здоровы.

48. К Диотиму

Ты сам себя сбил с толку, решив, будто мне что-то надобно то ли от тебя, хотя у меня отродясь не бывало с тобою никаких счетов, то ли от кого-либо другого из тебе подобных, хотя и с ними я дела не имею. Да и немного пришлось потратиться на все твое избавление! Доставь мне удовольствие, воздержись от расходов, — только так не нарушишь ты моих привычек, ибо именно такой мой нрав, именно таково мое расположение к землякам, позволю себе сказать более — ко всему роду человеческому, и это могут подтвердить прочие наши соотечественники, которые всякий раз, как оказывались в нужде, бывали мною одарены, но у которых никогда я ничего не требовал взамен. Поэтому не досадуй, ежели мой человек, которого я поделом выбрал, ибо поначалу он все же кое-что принял, без промедлений вернул взятое твоему другу Лисию, который и мне друг, — он поступил так потому, что не был знаком ни с кем из оставленных тобою людей. Стоит ли удивляться, что обо мне ходит и будет ходить двусмысленная молва? Обо всяком, кто хоть как-то сумел возвыситься, неизбежно будут существовать противоречивые мнения. Так и о Пифагоре, и об Орфее и о Платоне, и о Сократе не только рассказывали, но и писали весьма противоречиво, да что там! — даже в суждениях о боге нет единомыслия. Однако же люди честные, словно по какому то прирожденному влечению, предпочитают истину, подлые же поступят наоборот, и над ними — я разумею худших — впору посмеяться. По справедливости, самое время сейчас напомнить, что обо мне и боги возвестили как о муже божественном, и возвещали они это не только многим людям по отдельности, но также и принародно. Впрочем, тягостно говорить о самом себе чересчур пространно и высокопарно, а потому желаю тебе доброго здоровья.

49. К Ферикиану

Я был весьма обрадован присланным тобою письмом, содержащим столько родственных чувств и семейных воспоминаний, так что теперь не сомневаюсь, что ты искренне жаждешь увидеть меня и показаться мне. Итак, я прибуду к вам как можно скорее, а потому оставайся дома. При встрече ты подробно поговоришь со мною, ежели и тебя это заботит, о прочих наших родичах и друзьях.

50. К Евфрату

Премудрый Пифагор тоже был из божественного племени! А вот ты все еще, по-моему, весьма далек от любознательности и от неложной науки — иначе не стал бы ты ни оговаривать самого Пифагора, ни упорствовать в ненависти к кому-либо из его последователей. Тебе следует заняться чем-нибудь другим, ибо в философии ты дал промашку, преуспев в ней не более, чем Пандар, когда вопреки клятве метил в Менелая.

51. К нему же

Кое-кто бранит тебя, зачем ты взял деньги у императора, и это вполне понятно, ежели не успел ты объяснить, что взимаешь за свою науку мзду, елико возможно частую и елико возможно щедрую, да притом и ото всех, кто согласился поверить, будто ты и впрямь философ.

52. К нему же

Если спросил бы кто пифагорейца, выйдет ли от учения его польза и какая, я ответил бы так: «Ты научишься законодательству, геометрии, звездочетной премудрости, арифметике, гармонии, музыке, врачеванию, всякому божественному волхвованию и еще того лучше — благородству, щедрости, великодушию, постоянству и лепоте речей. А еще усвоишь знание — а не только мнение — о богах и постигнешь демонов не только верою, но и наяву, и будешь в дружбе с

теми и другими. Вдобавок достанутся тебе независимость, усердие, скромность, умеренность в нуждах, сметливость, расторопность, благодушие, пригожесть, здоровье, бодрость, бессмертие». Ну, а от тебя, Евфрат, что достанется твоим приспешникам? Не иначе как твои собственные добродетели — да только какие?

53. Клавдий к городскому Совету Тианы

Аполлоний, ваш согражданин и философ-пифагореец, объехал всю Элладу, доставив много пользы нашему юношеству. Удостоив его почестями, кои приличествуют добрым мужам, истинно преуспевшим в любомудрии, мы пожелали также выразить вам посредством этого послания наше благорасположение. Будьте здоровы.

54. Аполлоний к римским правителям

Кое-кто из вас печется о пристанях, кое-кто о местах для гуляний, кое-кто — о стенах и зданиях, но ни до детей, ни до юношей, ни до женщин, обитающих в городах, нет дела ни вам самим, ни вашим законам. А иначе сколь прекрасно было бы жить под вашею властью!

55. Аполлоний к брату

По закону естества все возросшее преходяще, а стало быть, каждому суждена старость, за коей следует небытие. Итак, не сокрушайся сверх меры о супруге, почившей во цвете лет, и коли уж зашла у нас речь о смерти, то не думай, будто лучше жить, нежели умереть, — право же, всякий, у кого довольно здравого смысла, предпочтет смерть. Братствуй же тому, кто попросту именуется философом, а особо — пифагорейцем и Аполлонием, и приведи в прежний порядок свои домашние дела! Когда бы порицал я хоть что-нибудь в твоей покойной жене, то и новый твой брак будил бы во мне привычные опасения, однако усопшая была столь благочестива, столь предана супругу и от того столь достойна всяческой приязни, что уповательно и будущая твоя супруга явит сходные добродетели — а возможно, что, побуждаемая чтимой памятью о своей предшественнице, постарается она даже и превзойти её в добродетели. Никак нельзя тебе закрывать глаза и на нынешние обстоятельства твоих братьев: у старшего до сих пор нет потомства, а у младшего, ежели и есть надежда обзавестись детьми, то лишь в отдаленном будущем, — вот и выходит, что родилось нас трое, а сами мы и одного не родили. Тут равная опасность как для отечества нашего, так и для рода. Ежели мы лучше нашего отца, — хотя мы хуже уже тем, что он-то сделался отцом, — итак, ежели мы лучше, то неужто нельзя надеяться, что от нас произойдут еще лучшие? Пусть родятся те, кому сможем мы передать наше имя, как промыслили некогда наши предки! Слезы мешают мне писать далее, да я и не предполагал написать ничего важнее уже написанного.

56. К жителям Сард

Переpravясь через Галис, Крез лишился Лидийского царства, был полонен живьем, заключен в оковы, возведен на костер, но тут узрел, как уже занявшееся пламя гаснет — и так спасся, ибо явлен был ему от бога почет. Что же дальше? А то, что этот ваш предок и вместе царь, незаслуженно претерпев столь многие беды, преломил хлеб со своим врагом, сделавшись ему благожелательным советчиком и верным другом. А вы-то даже и к собственным родителям и детям, к друзьям, родичам и соплеменникам непримиримы, несправедливы и жестоки, да притом безбожны и нечестивы. Вы еще не переправились через Галис, не встретились ни с единым обитателем запредельных стран, а уже полны злобы. И вам-то земля дарит свои плоды! Земля несправедна.

57. К ученым сочинителям

Свет есть присутствие огня, ибо иначе как от огня не может он произойти, а сам огонь есть страдание, ибо рождается от сожигаемого, между тем как свет достигает очей своим сиянием, не принуждая их, но лишь убеждая. Вот так и слово порою подобно огню и страданию, а порою — сиянию и свету, и это наилучшее слово да будет мною изречено, ежели не чрезмерна такая молитва.

58. К Валерию

Никакой смерти нет, кроме как по видимости, и равно нет никакого рождения, кроме как по видимости, а причина в том, что поворот из бытия в природу почитается рождением, а из природы в бытие — соответственно смертью, однако же взаправду никто никогда не рождается и не гибнет, но лишь становится прежде явным и после незримым — одно состояние происходит от сгущения вещества, второе от истончения бытия, а сущность всегда одна и та же, различаясь единственно движением и покоем. Таковое различие есть необходимое условие всякой перемены, однако же проистекает отнюдь не от внешних обстоятельств, но от слияния частей в целое и от расчленения целого на части, ибо все сущее едино. А ежели кто-нибудь спросит: «Что же это такое — то зримое, то незримое, являющееся сразу так и сяк?», то вот объяснение. Указанное свойство присуще всем на свете вещам: исполняясь полнотой, они становятся явными, ибо изображаются в густоте, а после вновь делаются невидимы, едва иссякнут из-за истончения вещества, насильно исторгнутого и излитого из вечного своего вместилища, каковое вместилище пребывает безначальным и непреходящим.

Почему же рядом со столь непреложной истиной находится место заблуждениям? А вот почему. Иные люди полагают, будто сами совершили то, что в действительности претерпели, не ведая, что рожденное рождается через родителей, но не от родителей, — точно как растущее на земле производится отнюдь не землю. У всякой явленной вещи нет присущего ей состояния, но лучше сказать, что всякая явленная вещь присуща единому, а говоря об этом едином, можно ли назвать его вернее, чем первобытием? Оно-то и творит, и претерпевает, рождая все для всех через все, оно-то и есть вечносущее божество, уделяющее именам и лицам их особенные свойства себе в убыток.

Впрочем, это еще не самое главное, нижеследующее куда важнее. Иной скорбит, когда от перемены места, но не естества, рождается из человека бог, меж тем как по правде не оплакивать пристало тебе смерть, а чтить и святить. Наилучшее и пристойнейшее благочестие — препоручить богу того, кто и так уже там, и начальствовать над вверенными тебе людьми, как начальствовал ты прежде. Стыдно будет, ежели облегчением тебе станет не мысль, но время — время утишает тоску даже и у подлого люда! Превыше всего облеченная правом власть, а для такой власти годится лишь тот, кто прежде совладал с самим собою. Да и прилично ли противиться свершению промысла божьего? Ежели есть у сущего порядок — а порядок есть! — и ежели порядком этим ведает бог, то праведный не восхочет противиться благу, ибо перечить порядку — своекорыстно, но согласится он со стечением обстоятельств. Итак, вперед к исцелению: суди и утешай страждущих и тем осуши слезы, ибо не свое общему, но общее своему надобно тебе предпочесть. И вот тому достойнейшее доказательство: оплакал ты сына своего вместе со всем народом! Вознагради же скорбящих вместе с тобою, а скорее вознаградишь ты их, унявши скорбь, нежели сидя взаперти. Неужто нет у тебя друзей? У тебя сын. «Это мертвый-то?» — возразит какой-нибудь умник. Нет, не мертвый, ибо сущее не гибнет, но потому оно и сущее, что пребудет вовек. Иначе вышло бы, будто рождается несуществующее, ибо возможно ли рождение сущего, не обреченного гибели? Гляди, кто-нибудь скажет, что ты несправедлив и нечестив, — несправедлив к сыну и нечестив к богу, а к сыну еще того

нечестивее. Хочешь узнать, какова есть смерть? Вели убить меня за эти вот слова и ежели не позабудешь сказанного мною — тотчас же сам утвердишь правоту мою!

У тебя вдоволь времени, жена у тебя разумная и любящая, ты вполне здоров, а остальное добудь у самого себя. Некий римлянин из тех, что были в старину, убил родного сына, дабы соблюсти в державе закон и порядок, — увенчал и убил. Ты правишь пятьюдесятью городами и ты знатнейший из римлян, однако же в нынешнем твоём расположении тебе и дома-то толком не управиться — что уж говорить о городах и народах! Будь при тебе Аполлоний, он и Фабуллу сумел бы утешить в её скорби.

59. Гарм, царь Вавилонский, к Неогинду, царю индусов

Не будь ты сверх меры суетен, не стал бы ты мешаться судьёю в чужие дела и, правя над индусами, судить вавилонян! Однако же вот посягаешь ты на державу мою — унижаешь меня косноязычными посланиями, да ещё и подослал сюда этих своих чиновников, скрывая корыстные помыслы под личиною человеколюбия. Ничего ты не добьёшься и никого не заморочишь!

60. К Евфрату

Халкидянин Пракситель совсем рехнулся. В Коринфе его видели у моих дверей при мече, а вместе с ним был твой приятель. Где же повод к таковому злоумышлению? Право, никогда не угонял я твоих тельцов» ибо беспредельные нас разделяют Горы, покрытые лесом, и шумные волны морские — вот как далека моя философия от твоей!

61. К Лесбонакту

Анахарсис Скифский был мудрец, а ежели был он скиф, так и это мудрости его не в убыток.

62. Спартанцы к Аполлонию

Пересылаем тебе прилагаемый список почетной грамоты, заверенный нарочно для тебя государственной печатью.

Спартанский указ по приговору старейшин и по представлению Тиндарея. Постановлено властью правителей и властью народа: да соделается Аполлоний-пифагореец полномочным гражданином с правом землевладения и домовладения, да будет воздвигнута добродетели его ради медное изваяние с приличествующей надписью, ибо таковым способом почитали добрых мужей и пращурь наши, именуя чадами Ликурговыми всех, кто живет в ладу с богами.

63. Аполлоний к эфорам и народу спартанскому

Поглядел я на ваших мужей: безбородых с безволосыми икрами, с белыми ляжками, разряженных в тонкорунные и мягкотканые одежды, обутых на ионийский лад, да притом униженных перстнями и увешанных ожерельями, — что-то не сумел я признать в них так называемых послов! А вы-то мне писали о спартанцах.

64. К ним же

Вы снова и снова зовете меня на помощь для исправления законов и молодежи, а вот Солонов город меня не зовет — постыдитесь Ликурга!

65. К ефесянам, обретающимся в святилище Артемиды

Вы привыкли ко всяческим праздникам и привыкли величать кесарей. Самое ваше пристрастие угощать и угощаться вам не в укоризну, а укорить вас надобно за то, что вы днюете и ночуете в обители богини, — иначе не толклись бы там никакие воры, грабители, охотники за рабами и все прочие негодяи и святотатцы. Право же, ваш храм обратился в разбойничье логово!

66. К ним же

Пришел к вам из Эллады прирожденный элин, хотя не афинянин и не мегарянин, но званием куда познатнее, и намерен теперь пожить по соседству с вашею богинею. Итак, поселите меня там, где не будет надобности в очищении, тем паче что я всегда сижу взаперти.

67. К ним же

Ваш храм настехь открыт для жертвователей, просителей, песнопевцев, беглецов, элинов, варваров, граждан, рабов — закон свят сверх меры! Я бы даже разглядел святыни Зевса и Лето, когда бы их непрестанно не заслоняла толпа.

68. К милетянам

Землетрясение сотрясло вашу землю, как то не раз случалось и с прочими городами, однако же те, пострадавши от неотвратимой напасти, не только не злобились друг на друга, но испытывали взаимную жалость. Одни вы восстали на богов с огнем и мечом — на тех самых богов, в коих людям всегда нужда, хоть в беде, хоть прежде беды. Да притом того самого богоизбранного мудреца, который не раз при всех честных элинах упреждал вас о напасти и предсказывал грядущее землетрясение, вы теперь — когда бог вас наконец потрянул — каждодневно вините в свершившемся. О всеобщее невежество! И вашим-то пращуром почитается Фалес!

69. К траллиянам

Множество народу идет ко мне отовсюду, тут и старые и молодые, и у всякого свое дело, а я наблюдаю их нравы и повадку со всею возможною пронизательностью, вникая также, каково расположение гостя к своему отечеству — благонамеренное или наоборот. Вплоть до сего дня я отнюдь не имел в виду предпочесть вам, траллиянам, ни лидян, ни ахейн, ни ионян, ни даже обитателей древней Эллады, ни фуриян или граждан Кротона и Тарента, ни прочих их земляков, именуемых счастливыми италийцами, ни кого-либо еще. Тогда почему же, принимая вас у себя, и будучи притом из вашего племени, не поселяюсь я вместе со столь славными мужами? Об этом я скажу в другой раз, а пока пользуюсь, случаем похвалить ваших предводителей, кои намного превосходят доблестью и красноречием всех прочих, а наипаче тех, у кого довелось им сейчас побывать.

70. К жителям Сауса

Вы ведете род от афинян, как говорит Платон в «Тимее», и афиняне принесли к вам из Аттики общую для них и для вас богиню, у вас именуемую Нейт, а у них Афиною. Однако же ныне они более не элины, а почему — это я сейчас объясню вам. Не осталось у афинян ни старцев, ни мудрецов, ибо ни у одного из них так и не выросла настоящая борода, хотя и вовсе без бороды никто из них не ходит. У ворот их отирается льстец, за воротами шныряет доносчик, у Длинных стен бродит сводник, а в Пирее и в Мунихии толкутся лизоблюды. Даже Суния нет у богини!

71. К ионянам

Вы думаете, будто пристало вам именоваться элинами, ибо вы эллинского племени и переселились сюда из Эллады. Однако же отличаются элины не только своеобразными нравами и образом жизни, но также обличем и нарядом. Меж тем у вас и имен-то прежних почти не осталось — даже эти приметы предков вы отринули в скороспелом своем процветании. Право, праотцам вашим не пристало допускать вас в семейные склепы, ибо не узнать им ныне своих потомков, кои носили прежде имена героев, флотоводцев и законодателей, а теперь зовутся по всяким Лукуллам, Фабрициям и прочим блаженным луканам. Что до меня, то лучше бы мне называться Мимнермом!

72. К Гестию

Отец наш Аполлоний имел в своем роду трех Менодотов, а ты ни с того, ни с сего хочешь называться Лукрецием или Луперком. От которого же из них ты ведешь свою родословную? Позорно для тебя будет носить имя того, чьим званием ты не обладаешь.

73. К нему же

По воле божией я пребываю ныне вдали от отечества, но разум мой непрестанно отягчен делами нашего города. Судьба погоняет к кончине тех, кто некогда добыл себе первенство копьем, и вслед за ними власть достанется юнцам, а там, глядишь, и молокососам, так что есть опасность, как бы от столь незрелого правления не зашатался город. Впрочем, тебе бояться нечего — мы-то свое уж отжили.

74. К стоикам

В юности Басс жил впроголодь, хотя у отца его имелись изрядные средства. И вот сначала он удрал в Мегару с одним из своих так называемых обожателей, который к стати и сводничал — им обоим надобны были деньги на дорогу и на прокормление, — а уж оттуда направился в Сирию. Там-то мальчишка и достался Евфрату, да и всем прочим, кои в ту пору были не менее Евфрата охочи до нашего красавчика, так что успели от приязни к нему понаделать кой-каких глупостей.

75. К жителям Сард

Сыну Алиатта не достало силы и удачи оборонить столицу свою, хотя был он царем и Крезом, ну, а вы-то на какого льва понадеялись, затеявши столь яростную распрю? Усобицею увлечены все: дети и юноши, мужи и старцы, даже девы и жены, и можно подумать, будто городом владеет не Деметра, но Ериннии! Богиня ваша человеколюбива, откуда же у вас столько злости?

76. К ним же

Старозаветному любомудру пристало стремиться в древний и великий город, так что я и сам охотно посетил бы вас, не дожидаясь приглашений, — зовут-то меня и многие другие, — будь у меня хоть малейшая надежда воротить вам природное добронравие и благочестие. Уж я бы сделал, сколько могу, ибо — как древле сказано — распря хуже войны.

77. К ученикам

Все что я сказал, я сказал отнюдь не ради Евфрата, но единственно любомудрия ради. Нечего и думать, будто уstraшен я мечом Праксителя или Лисиевым ядом, — все это тоже от Евфрата.

78. К Иарху и сотоварищам его в мудрости

. . . Нет, клянусь Танталовою водою, коей вы причастили меня.

79. К Евфрату

Не может удовольствоваться собою душа, ежели по вразумлению ее не удовольствуется собою тело.

80. К нему же

Лучшие из людей немногословны, да и болтуны не болтали бы столько, когда бы многоречивостью своею доучали себе не менее, чем прочим.

81. К ученикам

Симолид говорил, что ни разу не сожалел, промолчавши, а вот о словах своих сожалел часто.

82. К ним же

Многословие оступается часто, молчание никогда.

83. К Делию

Лгать подло, благородство — в правде.

84. К ученикам

Не думайте, будто советы мои легкомысленны. Воистину, сам я кормлюсь ячменным хлебом и прочим в этом роде — вот и вам советую то же.

85. К Идомене

Я возжелал довольствоваться имеющимся отнюдь не для того, чтобы жить попроще и подешевле, но для того, чтобы явить отвагу свою.

86. К Македону

Ярость расцветает безумием.

87. К Аристоклу

Гнев есть страсть, однако же, не смиряемый и не исцеляемый, оборачивается он страданием телесным.

88. К Сатиру

Почти все люди собственным ошибкам защитники, а чужим — обвинители.

89. К Данаю

Ежели дело делается, то и в упадок не приходит.

90. К Диону

Небытие — ничто, бытие — мука.

91. К братьям

Никому не завидуйте, ибо добрые добро свое заслужили, а злодеям и в достатке живется худо.

92. К Дионисию

Прекрасно прежде испытаний постигнуть преимущества покоя.

93. К Нумению

Не скорбеть нам пристало об утрате милых друзей, но помнить, что с этими друзьями прожили мы лучшую часть жизни.

94. К Феэтету

Утешай скорбящего чужими бедами.

95. К Корнелиану

Счастливец жизнь коротка, несчастливцу — длинна.

96. К Демократу

Тот, кто без удержу гневается из-за пустяковой ошибки, не дает ошибившемуся уразуметь, когда провинился он больше, а когда меньше.

97. К Лику

Не стыдно быть нищим от рождения, но стыдно, ежели причиной нищеты сделалось бесчестие.



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ок. 570 – 500 гг. до н. э.	Пифагор на Самосе и в южной Италии.
ок. 480 – 420 гг. до н. э.	Пифагореец Эмпедокл в Сицилии.
388 г. до н. э.	Платон основывает Академию в Афинах, Аристотель и Гераклид Понтийский – его ученики,
ок. 300 г. до н. э.	Аристоксен Тарентский, ученик Аристотеля, выпускает в свет «Жизни Философов».
146 г. до н. э.	Греция становится римской провинцией.
27 г. до н. э. – 14 г. н. э.	Октавиан Август, первый римский император,
ок. 1 г. до н. э. – 1 г.	Родился Аполлоний в Тиане.
17 г.	Каппадокия становится римской провинцией.
54 – 68 гг.	Император Нерон.
62 г.	Тигеллин назначен префектом Претория.
435 г.	Изгнание Мусония Руфа.
66 г.	Консульство Телесина, поездка Нерона в Грецию.
67 г.	Нерон затевает строительство канала через Истм.
68 г.	Мятеж Виндекса, самоубийство Нерона, к власти приходит Гальба.
69 г.	Убийство Гальбы, борьба за власть между Отопом и Вителлием, самоубийство Отона, убийство Вителлин.
69 – 79 гг.	Император Веспасиан.
70 г.	Взятие Титом Иерусалима.
79 – 81 гг.	Император Тит.
81 – 96 гг.	Император Домициан.
89 г.	Начало гонения на философов и прорицателей.
95 г.	Изгнание философов из Италии, убийство Клементы.
ок. 97 г.	Прекращаются известия об Аполлонии Тианском.
96 – 192 гг.	Династия Антонинов: Нерва (96 – 98), Траян (98 – 117), Адриан (117 – 138), Антоний Пий (138 – 161), Марк Аврелий (161 – 180), Коммод (180 – 192).
ок. 170 г.	Родился Флавий Филострат.
193 – 235 гг.	Династия Северов: Септимий Север (193 – 211), Гета (211 – 212) и Каракалла (211 – 217), Гелиогабал (217 – 222), Александр Север (222 – 235).

ок. 205 – 217 гг.	Филострат при дворе Юлии Домны, он создает «Жизнь Аполлония Тианского»
219 г.	Гелиогабал пытается ввести имперский культ Солнца.
244 – 270 гг.	Плотин возглавляет в Риме неоплатоническую школу.
247 г.	Празднование тысячелетия Рима, около этого времени умирает Флавий Филострат.
270 – 301 гг.	Порфирий во главе неоплатонической школы, его ученик – Ямвлих.
272 г.	Император Аврелиан осаждает Тиану, ему является Аполлоний.
274 г.	Аврелиан строит в Риме храм Непобедимого Солнца.
313 г.	Миланский эдикт императора Константина: разрешение христианской проповеди.
325 г.	Никейский собор и фактическое признание христианства государственной религией.
ок. 300 – 330 гг.	Ямвлих пишет книгу «О жизни пифагорейской» и учит неоплатонической теургии.
ок. 325 – 340 гг.	Евсевий пишет свой трактат против Гиеракла.
361 – 363 гг.	Император Юлиан (Отступник) пытается бороться с христианством, теург Максим его советник.
ок. 430 г.	Плутарх Афинский возглавляет в Афинах неоплатоническую Академию, которая становится последним убежищем теургов.
529 г.	Заккрытие Академии, бегство Дамаския в Персию.

